Мы из СМЕРШа

«Смерть шпионам!»

Виктор БАРАНОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Первый роман о военных контрразведчиках, написанный ветераном СМЕРШа на собственном опыте, предельно жестко и откровенно, без умолчаний и мифов, без прикрас.

Лишь сами смершевцы знают, как не похожа их профессия на идеализированный образ непобедимых сталинских «волкодавов», прославленных книгами и фильмами вроде «Момента истины» («В августе сорок четвертого»), и что на самом деле все было совсем не так. Лишь заглянув «за кулисы» Главного управления контрразведки «Смерть шпионам!», понимаешь, что эффектные «силовые задержания» с «качанием маятника вразножку», «финт-игрой» и стрельбой с обеих рук «по-македонски» – далеко не главное в профессии особиста. Лишь ветераны СМЕРШа могут рассказать всю правду о своей тяжкой, кровавой, нередко грязной, но необходимой работе и о том, как трудно остаться на этой службе человеком, а не покорным винтиком беспощадной репрессивной Системы, действующей по принципу «Бей своих, чтоб чужие боялись!».

- Виктор Баранов
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI
  - Глава XVII
  - Глава XVIII
  - Глава XIX
  - Глава XX
  - Глава XXI
  - Глава XXII

- Глава XXIII
- Глава XXIV
- Глава XXV
- Глава XXVI
- Глава XXVII
- Глава XXVIII
- Глава XXIX
- ВМЕСТО ЭПИЛОГА

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

Виктор Баранов
Мы из СМЕРШа. «Смерть шпионам!»

Глава I
ЧП В ДИВИЗИИ

Ранним февральским вьюжным утром немцы выкрали с боевой позиции двух наших снайперов-девушек. В тот день еще затемно пошел сильный снег и началась почти не прекращающаяся метель. О случившемся доложили начальству. Комдив вызвал начальника штаба, полковника Лепина, и появился приказ: расследовать и наказать виновных! Исчезновение любого военнослужащего действующей армии, особенно с переднего края, считалось чрезвычайным происшествием; и об этом докладывалось командованию дивизии, армии, фронта, а иной раз доходило до сводок Генштабу и ГлавПУ[1].

Сам по себе такой случай не заслуживал бы внимания. Что может значить исчезновение двух солдат на фоне гигантских потерь, 1943, – победного, но и самого тяжелого по людским потерям года, когда эшелоны везли сотни тысяч раненых в города Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири, где увечными фронтовиками были забиты больницы, школы и все другое, что только можно было приспособить под госпитали.

Но как повелось в те времена, такие ЧП могли подвергнуть сомнению донесения комдива, комполка, комбата о боеготовности части, неприступности занятого рубежа, непрестанно проводимой боевой и политической подготовки, а также (святая святых!) высокой политической бдительности личного состава, о чем упоминалось во многих приказах Верховного!

Политработники-фронтовики с ими же подобранным партийно-комсомольским активом, состоявшим из агитаторов, их заместителей, помощников ротных и взводных, грамотных и энергичных комсомольцев, распространителей и чтецов дивизионного боевого листка – все они, получив в использование такой факт, могли обыграть его как острую приправу к скучным догмам политпросвещения для нагнетания и без того тревожной фронтовой обстановки. И до следующего ЧП будут мусолить этот случай для воспитания у окопных масс (опять ее!) высокой бдительности, а заодно и наушничества, укрепления чувства преданности и состояния благонадежности незримой, но непоколебимой Системе.

Полковой особист из «Смерша»[2], лейтенант Кулешов, знакомясь с резолюцией начальства, понял одно: расследовать по

оперативной части придется ему и никому более – снайперский взвод был приписан к личному составу его полка.

Но лейтенант страдал от зубной боли, ему хотелось залечь в блиндаже, укрыться, забыться от терзавшей с вечера боли и поэтому все кругом казалось ему мерзким и неудобным. Однако он вспомнил, что непосредственный начальник – капитан Сазонов – был строг и придирчив, особенно по части исчезновения личного состава с переднего края. И всплыл в его памяти рассказ начальника, как тот, еще будучи тоже полковым особистом, провел дознание по исчезновению из боевого охранения ефрейтора Красикова, бывшего колхозного бригадира, и установил, что ефрейтор дал уснуть своим напарникам – двум бойцам, а сам исчез с винтовкой. Как рассказывал Сазонов, была поздняя осень и он вместе с полковым разведчиком-следопытом установил по следам на заиндевевшей от первого морозца траве, что беглец драпанул в сторону противника, о чем и был составлен протокол, и дознаватели подписались под схемой-картой местности. Но не прошло и месяца, как ефрейтор был задержан где-то в тылу и осужден как дезертир. Прислали в полк и копию допроса, где Красиков указал, чтобы его не искали, и что он намеренно пошел к немецким позициям, а потом, обмотав ступни ног травой, вернулся к охранению и ушел в тыл.

Сазонов получил нагоняй от руководства, и ему пришлось писать объяснение, а потом на оперативных совещаниях часто склоняли его фамилию – до самого взятия Смоленска, когда при бомбежке погиб весь штаб дивизии, в том числе и Особый отдел с начальником, его заместителем, Зиной-секретаршей, двумя солдатами из комендантского взвода. Тогда неожиданно начальником Отдела был назначен капитан Сазонов. И, как было известно Кулешову, он ожидал майорского звания, проявлял всяческое рвение по службе, нудил и зудел по всякому поводу осипшим по разным причинам (в том числе и от употребления стограммовой «наркомовской» фронтовой) тенорком, а за любовь к пению в состоянии подпития в узком кругу офицеров штаба дивизии он получил незлобивую кличку Кенар. Но об этом он не ведал и если бы узнал, то, наверное, не обиделся бы: петь и слушать пение было его страстью. Пройдет время, и Сазонов сам вспомнит о канарейках и о родном Торжке, где он когда-то их слушал из открытого окна казенной квартиры директора школы.

К месту происшествия лейтенант Кулешов шел одетый в видавшие виды телогрейку, ватные штаны, громадные кирзовые сапоги, ничем не отличаясь от экипировки солдат, если бы не командирский широкий ремень поверх телогрейки с неизменным «ТТ» в потертой кобуре, новенькая цигейковая шапка-ушанка и

через плечо щегольский, настоящей кожи планшет довоенного образца с узким кожаным ремешком. Такова была мода офицера-фронтовика третьего года войны.

Он шел с двумя полковыми офицерами-дознавателями, такими же молодыми, как и он, и очень похожими на него по одежде, но без новеньких шапок и кожаных планшетов. У каждого кобура пистолета не по-уставному с правой, а «по-фрицевски», с левой стороны, ближе к центру живота. Это был особый шик, так носили свое личное оружие офицеры с передовой. Там никто не делал замечания, как и с какого боку носить свой «шпалер». Группа Кулешова остановилась на опушке молодого ельника. Особист присел на подломленную елочку, прямо в снег, посмотрел на трофейные часы: скоро должен был подойти и Сазонов.

В полку все знали, что особистом Кулешов стал недавно, а вообще-то был старожилом части; прибыл с дивизией с Калининского фронта, был легко ранен осколком мины, после Смоленска – командир взвода роты управления в соседнем полку и неожиданно был произведен в особисты – редкий случай для этой службы. В своем полку его уже знали, были у него и друзья, и командир роты стал уважительно величать его по отчеству, уважая за сдержанность и скромность в общении с разношерстным составом роты.

И вот неожиданный приказ, да еще и после двухнедельных сборов, где такие, как он, вчерашние взводные «ваньки» с чувством жгучего любопытства слушали то, что называлось работой органов. Может, где-то и капитально готовили «смершевцев», но громадные шестерни действующей армии перетирали сотни и тысячи средних командиров. Возможно, «особняки» (так звали их солдаты) не шли в боевых порядках пехоты и мало кто из них знал, что такое траншейный бой, но ведь были и бомбежки, артминометные обстрелы, мины на бесчисленных дорогах и тропинках переднего края, да еще много разных напастей, поджидавших человека в этой долгой войне.

Потерю взводного командира можно было восполнить бывалым сержантом, но полкового контрразведчика заменить просто другим командиром было невозможно! Это была другая епархия – свои правила, и приказы, и инструкции. Вот это, пожалуй, и усвоил лучше всего на спецсборах лейтенант Кулешов.

От того, что взводный стал особистом, было много пользы, но были и неудобства. В полку он знал многих, его тоже знали, но многие вчерашние друзья с тайной завистью говорили, что его кто-то «двинул» в «Смерш» по протекции, некоторые стали заискивающе улыбаться при встречах и только двое из них,

Щелгунов и Петюх, перестали замечать Сергея и демонстративно отворачивались от его взгляда.

Начальник Особого отдела дивизии капитан Сазонов появился неожиданно из низинки, густо заросшей красноталом, со своим связным, небольшого роста крепышом, и чуть поотставшим заместителем, майором Бондаревым. О Сазонове говорили разное: он был старожилом дивизии, кадровым особистом, призванным в начале войны из запаса, где учительствовал в райцентре. А вот его заместитель, пришедший из политотдела недавно расформированного корпуса, ранее работал в областном исполкоме, в каком-то особом секторе по охране государственных тайн, чем необычайно гордился среди окружения и говорил об этом, понижая голос до шепота, с большими паузами, стараясь произвести впечатление на собеседников.

Оба начальника были одеты в белые, но уже залапанные полушубки с полевыми погонами. Кулешов доложил Сазонову по форме, а потом по-неуставному, прихватив щеку рукой: «Товарищ капитан, мочи нет терпеть, боль адская». Капитан посмотрел на него с досадой и с нажимом в голосе отчитал за нерасторопность в расследовании, чуть ли не обвинив его в том, что он повинен в случившемся. Лейтенант смолчал, зная, что оправдываться бесполезно, и, для проформы вытянув руки вдоль ватных брюк, стоял, хмуро глядя себе под ноги. Через час, когда осмотр закончился и были от руки набросаны схема и кроки местности, Сазонов как старший по должности учительским, бесстрастным тоном сказал: «Ну, кажется, ясно – уволокли наших баб отсюда: когда пошел снег, а «фрицы» (тогда только входившее на фронте в моду словечко) тут как тут: проникли в лаз, набросили петли на ноги, вытащили и… ходу на свою сторону!» И, повернувшись в сторону лейтенанта, добавил: «Ты, Кулешов, возьми объяснение у взводного Васькова, как и когда он этих девок назначил в наряд, и представь служебную записку о расследовании. Если потребуется, допроси, постращай статьей 95 УК[3], если будут запираться!» Бондарев молчал, он просто не знал, что в этих случаях должен говорить он как заместитель, но ему хотелось по привычке политработника что-то сказать о потере бдительности, коварстве и вероломстве гитлеровцев и о многом другом, что было изложено в последнем Приказе Верховного Главнокомандующего к двадцать шестой годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Друзья мои, вы не знаете, чем был тогда приказ Верховного для политработника! И, пожалуй, это больше, чем Откровение Иоанна последней главы Нового Завета для фанатичного

католика из глухой итальянской, французской или испанской провинции, беззаветно верящего в предсказание ужасного будущего для оставшегося человечества! Ссылка на приказ у политработника того времени была всегда готова к действию, как винтовка или малая саперная лопатка для бойца! В приказах (это был хлеб для многочисленной армии ГлавПУ) политработники черпали радость и вдохновение: они, и только они, познавшие победную теорию марксизма, могут вещать, толковать и объяснять слова и мысли Вождя, нести их в массы, как им казалось, жаждущие принять их с ликованием.

Служба в политотделе корпуса научила Бондарева ценить Приказы Верховного: часами они вдохновенно разбирали политический смысл почти каждого слова, конспектировали целые страницы развития новой сталинской стратегии по скупому, почти телеграфному тексту отдельных абзацев, выражали восхищение краткостью и выразительностью языка, умилялись ясностью поставленных задач, расшифровывали Им недосказанное!

Боевые друзья Бондарева по политотделу вместе с его начальником, полковником Храмцовым Федором Ивановичем, не дожидаясь основных разъяснений по приказу из ГлавПУ, поспешно несли в армейскую среду слово Вождя, наспех, не боясь пересола, присочиняли к нему все, что можно, начиная от классовой борьбы, укрепления рядов родной ВКП(б) и ее резерва – беззаветно преданного делу Ленина—Сталина комсомола – и многое другое по части воспитания у личного состава преданности, стойкости и отваги в борьбе с фашизмом, и еще той словесной шелупени, которая в избытке рождается у лиц, профессионально занимающихся политической работой. И когда уже иссякло политотдельское красноречие и их кустарные заготовки и армейский люд, одуревший от бесконечных повторений о гениальности Вождя, откровенно зевал и спал, – к этому времени из Москвы фельдсвязью ГлавПУ рассылал по всем фронтам, внутренним военным округам и флотам отпечатанные на хорошей бумаге методические указания, приложения и разъяснения к Приказу, и начиналось его повторное обсуждение. Эти указания и методички были разработаны квалифицированно, там все было указано: где, что, когда и в каких условиях разъяснять: Его полководческую гениальность, государственную мудрость, дар предвидения и многое другое! Так в недрах ГлавПУ рождался сказ о десяти сталинских ударах. И опять, по второму разу, согласно указанию сверху пополнялась деталями боевая деятельность соединений и частей, обрастала героическими фактами с некоторыми преувеличениями по части уничтожения

гитлеровских войск, захваченных трофеев. Правда, иногда были робкие признания в попытках невыполнения приказов отдельными командирами, недостатках вождения войск в наступательных боях, взаимодействия с другими частями, но, в основном, по рекомендации тех же главпуровцев, это все объяснялось недостатком политической подготовленности, недоработкой партийных органов во фронтовых условиях.

Честно отрабатывая свой хлеб, фронтовой легион политработников молчаливо соглашался с выводами и рекомендациями недосягаемого ГлавПУ. Согласно его установке политсостав Западного фронта должен был возобновлять изучение краткого курса ВКП(б). И если это было невозможно в наступательных боях летне-осеннего периода, то для политработников, уже находившихся в обороне, начиналась горячая пора: пополнение партийных рядов, политическая учеба по расширенной программе, выпуск газеты, сборы ротных агитаторов, комсомольская работа и многое другое, что вызывало у строевых командиров глухое раздражение. Но скрытые рычаги управления позволяли направить личный состав в проторенную колею бесчисленных политических мероприятий и, как говорили в политотделе, «под завязку загрузить» личный состав идеологически.

Вот такие мысли о работе с Приказами Верховного и недавней политотдельской жизни посетили в этот момент Бондарева, и он вдруг понял, что по своему опыту работы и по старшинству звания здесь только он является единственным политически ответственным лицом. И глядя в спину капитана Сазонова, он мысленно уже искал убедительные факты для будущего доноса на своего начальника.

Глава II
МАСТЕР ДОНОСОВ

Доносы он писал давно – и всегда на своих начальников, сослуживцев и даже родственников. Он любил это увлекательное, но опасное занятие. И когда камень, брошенный им, достигал цели, он был несказанно рад, но через некоторое время зуд доносительства снова овладевал им, и он писал и писал. Все это началось в суровое, но незабываемое время его молодости, в годы борьбы с нэпманами, кулаками, вредителями-спецами. Газеты того времени, надсаживаясь от каждодневных разоблачений организаций, групп, одиночек – всех тех, кто хотел вредить советской власти, печатали заметки сель– и рабкоров о происках недобитых врагов, их маскировке под попутчиков – строителей рабоче-крестьянского государства.

Учащийся сельхозтехникума в Смоленске Алеша Бондарев тогда понял и осознал, что в этой кутерьме можно помочь власти и соблюсти свой интерес. Он хорошо помнил свой первый донос. После окончания техникума в 1930 году его послали работать техником в город Драгобуж на льняной завод, где он удачно сочинил анонимное письмо в ОГПУ на своего коллегу Николая Ивановича Стулова о его старорежимных высказываниях, что, мол, новая власть требует много, а платит мало (!), и что он, Стулов, не принял две партии льна, ссылаясь на его плохое качество; поэтому завод не выполнил план четвертого квартала.

Вскоре Стулова вызвали в район, потом отстранили от работы, а где-то через месяц он был выслан с семьей на Урал. Бондарев завидовал Николаю Ивановичу: у него была приветливая, миловидная жена и два сына-подростка, большой и теплый дом с хозяйством на окраине поселка. Но письмо в ОГПУ он написал не поэтому. Просто из любопытства – поверят ли власти безымянному тетрадному листу с намеренно искаженным почерком. Не ожидал – поверили! Правда, в поселке люди говорили, что якобы у Стулова брат раньше служил в царской полиции в Вологде, вот поэтому его как социально опасный элемент и выслали. Но начинающий доносчик знал, что у того не было никаких братьев, и теперь был уверен, что его «загрудный камушек» помог технологу уехать под конвоем на Урал.

Далее Алексей Михайлович уже стал совершенствовать свою работу в зависимости от обстоятельств: сочинял свои опусы от имени честных тружеников, сочувствующих партии, борцов за ленинскую правду и даже женщин, готовых рассказать о

вредительстве у них на производстве. Его вдохновляла, грела и успокаивала сама идея безнаказанного доносительства, и постепенно он сам стал верить, что делает все правильно, а то, что сгущал краски, шулерствовал с фактами, – на то есть соответствующие органы, и они должны разобраться. Разрабатывая технику доноса, Бондарев подолгу сидел над своим произведением, любовно прилаживая все, что могло обвинить, очернить человека.

Только один раз получилась у него ошибочка, которая чуть не стоила ему карьеры, а может быть, и свободы. Крутое тогда было времечко: заканчивался 1938 год, и он, работая уже в секторе по охране гостайн, невзлюбил вновь назначенного заведующего отделом агитпропа – Романова. Все раздражало его в нем: и его складная фигура, хорошо посаженная голова с волнистыми светлыми волосами, всегда опрятная одежда, но самое главное – умение говорить ярко, просто, доходчиво. Поговаривали, что он пришел якобы ненадолго – его намерены послать на учебу в Москву, – и что он является приемным сыном члена ЦК партии, известного партийца с самой гражданской, выходца из этих мест. Алексей Михайлович не поверил этим слухам и здорово ошибся. Романов оказался крепким орешком и собрать на него какие-нибудь «компроматы» было нелегко. Пришлось здорово потрудиться, и за полгода он собрал, как ему казалось по прошлым «камушкам», крепкий материал, что не замедлит сказаться на судьбе его «подопечного»! Он уже предвкушал, что вот-вот и свершится то, что было им задумано: любовно выпестованное дитя пойдет гулять в верхах, обрастая грозными резолюциями, указаниями, вернется в обком и вот тут-то и начнется!.. Бондарев уже потирал руки, но прошли все сроки возврата доноса – было тихо, томительно, нудно шло время, и ему уже хотелось кричать: «Чего вы медлите? ведь там все указано, все расписано?!» Он задыхался от злости и никак не мог понять, как это так: он потратил почти полгода, собирая все до мелочей, ходил на лекции советского и партийного актива, где выступал Романов, писал ему записки с каверзными вопросами, вел конспекты его выступлений, но зацепиться было не за что – все было по-советски и по-партийному правильно!

Очень везло этому главному агитатору обкома. Ему симпатизировало начальство, его обожали все секретарши и машинистки за его ясные, орехового цвета глаза, чистое, молодое одухотворенное лицо, холостяцкое положение, но он сумел себя поставить так, что ничто не прилипало к нему. Где бы он ни был, он вел себя просто, с достоинством и даже обкомовские старожилы, ревностно относившиеся к пришлым – чужакам,

проявляли уважение, называя его по имени и отчеству. Так постепенно он вписался в обкомовский круг, стал привычной фигурой бесчисленных президиумов, конференций и прочих мероприятий. Хоть и везучий был Романов, но однажды и он допустил промашку. В одном из своих выступлений, попав в привычную колею оценок международного положения, заимствованных из различных журналов политиздатовской кухни, передовиц центральных газет и, как правило, с большим опозданием их осмысления в провинции, он, воздав должное проискам международного империализма, по привычке добавил несколько осуждающих фраз о его передовом отряде – германском фашизме. Вот тут-то он и попался! Как это он не заметил, что уже полгода как исчезли с передовиц крупных и мелких газет обличения фашизма, приутихли страсти о его подготовке к войне, не было привычных репортажей о борьбе рабочего класса Германии и его вожде – пламенном коммунисте, томящемся в застенках, Эрнсте Тельмане.

И вдруг через какое-то время в передовой «Правды» черным по белому: происки империалистов готовятся в Лондоне и Париже, за спиной СССР они натравливают на него другие государства. Наш герой сразу же усек: германский фашизм не наш враг, значит, Романов допустил политический ляпсус – зачислил в число врагов и Германию! Алексей Михайлович обрадовался этой промашке и тут же в своем доносе развил мысль, что заведующий отделом преднамеренно публично извращает факты внешней политики партии и правительства. Когда он закончил писать и прочитал написанное, то, по его разумению, получалось, что Романов – это скрытый враг из числа последователей троцкистско-зиновьевского блока! Тщательно переписав текст от руки печатными буквами, он засунул его в конверт и, радостно вздохнув, опустил в ящик. Теперь осталось только ждать. Он ждал, но нетерпение охватывало его, как охотника в засаде! И вдруг он случайно узнает от сотрудницы учетного сектора обкома, старой девы Татьяны Васильевны, которая как-то симпатизировала ему, что из Москвы, из самого ЦК партии приехал инструктор и ведет расследование по анонимному письму на Романова. Бондарев похолодел, страх поразил его полностью. Ему сразу же захотелось куда-то бежать, скрыться от всех, затаиться. Мысли путались, его преследовало видение: он арестован, его сажают в тюрьму и отправляют в какой-то лагерь в Сибири, – он холодел от этих мыслей, все валилось из рук и только усилием воли он заставлял себя держаться на работе по-прежнему бодрым и молодцеватым. Но и окружающие замечали в нем растерянность и необычную для него

нервозность в поведении. Первым это обнаружил его начальник. Однажды, глядя куда-то поверх головы Бондарева своими чуть косоватыми глазами, он сказал: «Что это у тебя случилось, ты посмотри на себя, – какой-то вздрюченный, не нравишься ты мне! Поди, Клавка твоя про амурные делишки узнала, а?! Признавайся сразу, не боись. Строгача влепим за аморалку, и все дела!» И, довольный своей шуткой, захохотал. А Бондарев, изобразив на лице изумление, чуть не со слезами на глазах стал доказывать свою супружескую верность, и чем больше он говорил и оправдывался, тем его начальник все больше подтрунивал над ним, получая удовольствие от того, что его подчиненный принял всерьез его шутку. На этом они и расстались. Короткая беседа с начальником помогла Бондареву посмотреть на себя со стороны, и он, как человек неглупый, сумел переломить себя, стремясь внешне ничем не проявлять своей трусости и малодушия. Иной раз, после бессонной ночи, ему хотелось пойти и рассказать о своем поступке, но он твердо знал, что честное признание вины и откровенность в его партийной среде считались признаком слабости, проявлением неспособности принадлежать к руководящему звену и вызвали бы открытое презрение даже у беспартийного хозяйственного актива.

Местные «энкавэдэшники» в помощь цековскому инструктору выделили пожилого, опытного криминалиста, который уже через неделю беседовал с Бондаревым. Помертвевший от страха Бондарев был уже готов повиниться и сознаться. Но вдруг его «мучителю» (так мысленно окрестил он седоусого следователя) позвонил по телефону начальник, и тот торопливо, пряча бумаги в портфель, буркнул Бондареву, чтобы он пришел завтра на час раньше. Эта отсрочка, пожалуй, и решила его судьбу. Ни завтра, ни послезавтра никто больше не вызывал его и только потом он узнал, что в тот день был арестован и начальник управления НКВД, и пятеро его сотрудников, в том числе и тот седоусый, за «нарушения» соцзаконности. Потом срочная надобность в установлении анонима отпала, бумаги куда-то затерялись вместе с участниками поиска, а затем и сам Романов был отозван в Москву на военно-политическую работу и для укрепления поредевшего от беспрестанных «чисток» центрального аппарата ГлавПУРККА. Но Бондарев долго еще не мог забыть тех ужасных дней, и ему чудилось, что Романов знал о его авторстве от сотрудников НКВД, и, только когда тот уехал, Алексей Михайлович отошел, успокоился, но долго не мог забыть этого происшествия.

И теперь, идя позади Сазонова, он пытался собрать воедино промахи и недостатки своего начальника и изложить их

письменно, но тут же отогнал эти опасные мысли.

Не прошли они еще ста метров по целине рыхлого снега, по той же низинке, откуда и пришли, как вдруг раздался недолгий свист мины и идущий перед ним Сазонов со связным солдатом уже лежали у его ног, а он, еще не понимая, что их заставило упасть, стоял в недоумении. Никто не успел крикнуть ему, как вдруг тугая подушка горячего воздуха толкнула его в грудь, в лицо, бросила его на тропинку. Сверкнувший молнией красный огонь с черным дымом и одновременный удар по барабанным перепонкам – вот что было первым его ощущением от разорвавшейся примерно в полусотне метров мины. Что-то мягкое и сырое сильно ударило в лицо, и он в ужасе от близкого взрыва, оглушенный, обезумевший, вскочил на ноги, но его начальник успел с силой дернуть его сзади за полу, и снова был горячий удар взрывной волны, и сильный подскок земли под телом, и опять оглушающий взрыв. Алексей Михайлович, уже обезумевший от разрывов мины, пытался вскочить и бежать, но каждый раз Сазонов пресекал эти попытки, дико матерясь, и, когда четвертая или пятая мина прошлись в шахматном порядке по низине, связной солдат и Сазонов вскочили, как по единой команде, и рванули обратно, в сторону переднего края. Минуты через четыре бешеного бега по нетоптанной целине они упали на дно большой заснеженной ямы.

Минометный обстрел длился еще несколько минут, и они уже только прислушивались к разрывам, не высовываясь из укрытия. При близких разрывах Бондарев вздрагивал, втягивая голову в плечи, в то время как его связной солдат старательно и невозмутимо перематывал обмотки. Он весь трясся, его охватывал страх: почему немцы открыли огонь (может, это наступление?) и почему его начальник со связным бросились в сторону передовой?! Он уже представлял себя в плену, как расстреляют его, узнав, что он «особист-смершевец», и теперь жалел уже, что он здесь старший по званию и должен подчиняться своему начальнику-капитанишке. У него зародилось подозрение, что Сазонов намеренно увлек его к передовой, и, хотя здесь не было посвиста мин, оглушающих взрывов и противного чесночного запаха их гремучей начинки, зато до противника рукой подать. Пока они сидели в яме, он, потеряв и память, и способность соображать, подчиняемый только страху, пытался выскочить из укрытия, и каждый раз начальник без церемоний, ловким ударом сбивал его с ног, наваливаясь на него всем телом, однако только при помощи связного удавалось удержать подчиненного.

Когда кончился обстрел, Сазонов отпустил его и добродушно, но с заметным пренебрежением в голосе бросил ему: «Ты хоть бы

мордохенцию свою умыл, она у тебя вся в грязи». Холодный снег окончательно привел его в чувство, и только сейчас он осознал свое малодушие и трусость – ему было мучительно стыдно перед своим начальником и этим толстым солдатом за свою минутную слабость. Словно угадывая его мысли, Сазонов сказал: «Ты, майор, наверное, давненько не был под обстрелом, опыта у тебя маловато, здесь самое главное – найти любое укрытие, а потом уже определиться, что дальше делать!..» И, как бы поясняя свое поведение при обстреле, он подробно стал излагать, чего хотел достичь противник. «Понимаешь, – называя Бондарева по отчеству, – Михалыч, ведь немцы все рассчитали заранее: и наш приход на снайперскую позицию, и куда, и откуда мы будем подходить и уходить, а их наблюдатель – вон, видишь, на той стороне речки высотка, километра два отсюда, – он все докладывал, и батарея у них там же. Одного они только не учли – земля в низине сырая, болотная, вот осколки все больше в болоте застряли, а если бы грунт потверже, то мы бы в живых после первой мины не остались».

Но Бондарев уже почти не слышал своего начальника. Как человек излишне самолюбивый и злопамятный, он был покороблен панибратским обращением к нему «Михалыч». Он – майор, старший офицер, и пусть его начальник соблюдает военный этикет – вот о чем думал сейчас Алексей Михайлович. И неважно, что несколько минут назад тот спас ему жизнь, он не чувствовал благодарности к своему спасителю, сейчас его угнетало одно – его, старшего по званию, назвали, как деревенского деда, – «Михалыч». Он опять шел позади Сазонова, и его раздражало все: и сипловатый тенорок капитана, и толстая морда связного, как ему казалось, прятавшего улыбку презрения к необстрелянному майору.

По дороге они встретились с группой Кулешова; те несли кого-то на плащ-палатке. Лейтенант подошел к Сазонову и стал докладывать о случившемся, но Бондарев с визгом в голосе, задыхаясь от злости, почти кричал ему: «Отставить, товарищ лейтенант, вы что, устава не знаете, почему не спросите разрешения у старшего по званию?» Сазонов с любопытством посмотрел на своего зама и с досадой крякнул. Лейтенант, потоптавшись на месте, по-уставному повернувшись в сторону Бондарева, но не поворачивая головы, глухим голосом пробормотал: «Товарищ майор, разрешите обратиться к капитану Сазонову». Все в лейтенанте говорило, что он не согласен с замечанием майора. А тому хотелось сделать еще замечание за его выправку и насчет его нарушений в одежде, но, вспомнив свой позор, он сварливо ответил: «Обращайтесь». Кулешов доложил,

что при обстреле был убит лейтенант Черемных, один из офицеров-дознавателей. «Куда его ударило?» – спросил Сазонов. «Осколком маленьким вот тут, за ухом». Лейтенант отвернул край плащ-палатки: лицо убитого с широко открытыми глазами выражало удивление и было настолько живым, что Сазонов искренне, от души, скороговоркой, но с большим сочувствием спросил своим осипшим голосом: «Как же тебя угораздило, младший лейтенант...», а тот, не удостоив ответом капитана, смотрел открытыми глазами в серые, снежные облака, похожие на плохо постиранное медсанбатовское белье. «Товарищ капитан, – просительным тоном начал Кулешов, – до расположения полка четыре километра, сами видите, снег глубокий, да нас всего трое, тяжело будет нести, может, здесь и захороним?» Сазонов прикинул – все было правильно, и снег глубокий, и их всего трое, и кивнул головой. Лейтенант с облегчением вздохнул и стал распоряжаться. Потом они все молча стояли перед маленьким холмиком свежей земли, а связной солдат Сазонова саперной лопаткой вбил загнутыми краями в затесанную березовую балясину звездочку, снятую с шапки погибшего, и старательно печатными буквами, под диктовку другого младшего лейтенанта стал выводить химическим карандашом: «Здесь похоронен мл. л-т Черемных А.Ф., убитый 25 февраля 1944 года». И после казенных, но железных слов: «смерть фашистским оккупантам», совсем по-граждански – «прощай, Толя, я тебя не забуду. Твой друг, мл. л-т Дима Чуприн». Все понимали, что по весне могила размоется талыми водами, осядет, а потом зарастет крупной сорной травой, и надпись на затесе расплывется и исчезнет так же бесследно, как исчез этот живой молодой офицер на этом белом снегу. И никто не придет к его могиле, не присядет на удобную скамеечку, вспоминая мальчика Толика. Только его мать, еще молодая женщина, будет стонать и безутешно плакать каждый раз, вынимая военкоматовское извещение... «Ваш сын имярек геройски погиб, защищая...» и другие казенные слова, отпечатанные громадным тиражом в государственной типографии.

Дима Чуприн держал в руках потертую дерматиновую командирскую сумку, куда были сложены документы его друга, два письма с фотографией какой-то девчушки с челочкой, перочинный нож, носовой платок. Пистолет «ТТ» с кобурой и поясным ремнем Чуприн держал под мышкой. Небогат был убитый свои имуществом, но там, в ротном блиндаже у него осталась щегольская шинель настоящего английского сукна цвета хаки, мягкого и тонкого на ощупь, доставшаяся ему в обмен на трофейные часы «Омега» от начальника вещевой службы полка.

Все офицеры батальона ходили смотреть на Толино приобретение, а он, такой счастливый, в десятый раз одевая чуть-чуть широковатую в поясе шинель-красавицу, говорил: «Вот только встанем в оборону, наш Мартемьянович ушьет мне талию и будет порядок в танковых частях». Шинель английского сукна была недосягаемой мечтой почти каждого офицера действующей армии, но в то время, как в них щеголяли офицеры штаба, фронта, армии, в дивизии они были редкостью, ну а уж в полках о них только говорили, приписывая невиданные качества заморскому сукну – оно-де и не мнется, и не грязнится. Все это было, конечно, ерундой: грязь одинаково приставала и к серому, и к «аглицкому», но у нашего серого было превосходство в том, что благодаря его грубошерстности грязь хорошо отминалась, а шинель даже после дождя не теряла формы. Это был секрет царских, изруганных в наше время мануфактур, приумноженный требовательностью армейских приемщиков службы тыла. Но английское сукно было другого цвета – приятного и благородного на вид. Над его оттенком долго работали английские мастера, пока не был выработан устойчивый, горохово-табачный цвет, одобренный даже королевским двором.

Вчерашние счетоводы, завхозы, студенты, сельская интеллигенция, а с ними предвоенные выпускники ремесленных училищ, ставшие офицерами, тоже были подвержены моде; неумолимая тяга к красивому и новому расцвела, как только ратная фортуна уверенно улыбнулась в лето сорок третьего и продолжала улыбаться осенью... Вот здесь и подоспела запоздалая союзническая помощь: где-то по ущельям и горам, начиная от Персидского залива, через Иран пролегла тонкая, но постоянно действующая нить – дорога. Если заглянуть в тентованные кузова новеньких «студебеккеров», «фордов», «шевроле», «доджей», там было все, начиная от шоколада до слитков олова, никеля, зенитных установок и многого другого, в чем нуждался ненасытный фронт. День и ночь, не зная отдыха, гнали водители по перевалам к азербайджанской Джульфе, где уже маячили зеленые фуражки наших пограничников. Да, это была помощь, но на такую многомиллионную, всеядную армию, пожиравшую все, что создавал человек, этого было очень мало. Но без этого было бы еще хуже!

На пути к штабу дивизии почти все молчали, и только впереди идущие – мордастый связной и другой солдат – о чем-то говорили и беспечно смеялись, не оглядываясь на идущих сзади офицеров. Бондарев угрюмо сопел и все переживал свой позор, и ему казалось, что впереди идущие солдаты говорят только о том, как он спраздновал труса. И, придя в свой блиндаж, Бондарев тут

же отчитал своего связного, совсем пожилого солдата, за то, что он курил в его отсеке, и Сазонов долго еще слышал его кудахтанье за двумя перегородками. Блиндаж Особого отдела строили со знанием дела и с учетом специфики работы; один общий и два запасных входа и выхода на тот случай, когда особо проверенная агентура приходила на инструкции к капитану и при выходе не сталкивалась бы с другими посетителями.

В распоряжении Сазонова было еще отделение солдат, которых по давней традиции отбирали на службу из различных частей дивизии. В основном это были молодые, здоровые парни, после усиленной их проверки с запросами по месту жительства и изучения поведения и надежности через осведомителей, на что уходило по несколько месяцев. В результате многие из них отсеивались: у одних были репрессированы близкие родственники, на других получали сведения о нечестности, нерадивости по службе, неуживчивости. Эти тоже отпадали. Служить в охранном отделении «Смерш» было трудно, но почетно; солдаты напускали на себя таинственность и важность! Бывших друзей из своих рот в гости не приглашали, сами ни к кому не ходили, держались своей землянки неподалеку от командирского блиндажа и несли караульную службу, охраняя по ночам отдельский блиндаж, где располагались их начальник, его заместитель и канцелярия отдела, где командовал не по годам строгий и молчаливый сержант Калмыков. Он ведал перепиской всего отдела, вел регистрацию исходящих, входящих, держал на контроле исполнение различных запросов, отправлял в назначенные дни почту и целыми днями стучал на пишущей машинке.

Сазонов, заступив в должность, и не думал, что в его хозяйстве столько бумаг. У него голова пошла кругом, когда ознакомился с делопроизводством. Пугало, что все отправляемые и получаемые бумаги были с грифом «сов. секретно». Вот здесь-то и выручил его начальник штаба дивизии Лепин: он предложил ему взять сержанта Калмыкова на должность секретаря отдела. Капитан сначала сомневался, сможет ли Калмыков справиться с канцелярией, но после того, как он прошел стажировку в особом отделе соседней дивизии, у Сазонова отпали сомнения. Через десяток дней все секретарские учеты уже работали и Сазонов был уже спокоен за свои бумаги и канцелярию.

Немногословный, всегда подтянутый сержант был педантом в своей работе и обращался со всеми вежливо, но был настойчив в выполнении сроков переписки, требователен к исполнению бумаг и прочей отчетности, которая, несмотря на фронтовые условия, преследовала и смершевскую службу. Карательная машина

посылала сверху распоряжения, приказы, директивы, указания, требуя их надлежащего выполнения, одновременно ведя контроль за их исполнением. Вся эта бумажная карусель захватывала низы в свои объятия, надежно удерживала ее и закручивала свои правила игры для выполнения главных задач – все слышать, знать обо всем и беспощадно карать без предупреждений, чтобы было неповадно другим!

Сержант Калмыков за короткое время каким-то внутренним чутьем угадывал главные потоки в своей канцелярии. Вместо одного учета входящих документов из вышестоящих органов он сделал три в зависимости от сроков исполнения, завел несколько учетов по выполнению указаний внутри отдела, соорудил небольшую картотеку по учету работы агентуры и перспективных осведомителей, участвующих в проверке и разработке лиц, подозреваемых во враждебных действиях. Целыми днями он листал приказы, распоряжения, делал из них выписки, потом печатал на машинке. И так день за днем он восстанавливал и заводил учеты бумаг, которые растворились вместе с телами сотрудников Особого отдела и их очень тихой секретаршей Зиной в громадной воронке от немецкой «пятисотки». Да и останков нашлось тогда мало: несколько сыроватых с остатками плоти, чуть закопченных взрывом костей, искореженная дверца сейфа – вот, пожалуй, и все, что осталось от дивизионного «Смерша». Новоиспеченный начальник был доволен сержантом, видя с какой дотошностью тот вел дела его отдела.

Глава III
ТЕХНИКА ДОНОСИТЕЛЬСТВА

Вот и сейчас при входе капитана сержант Калмыков быстро поднялся и по-уставному четко доложил о том, что распоряжений от начальства не поступало, а в 18.00 – сбор начальников служб у командира дивизии. И тут Сазонов вспомнил, что на этом совещании он будет представлять Бондарева как своего заместителя, и поморщился от воспоминаний о том, как тот вел себя эти первые двадцать дней совместной службы, – и о сегодняшнем случае, когда майор «оттянул» Кулешова; в «смершевской» службе не были приняты строго уставные обращения между офицерами, и голое солдафонство не приживалось в их среде.

Как человек с простым, без всяких затей покладистым характером и практическим умом, Сазонов чувствовал, что его зам хочет поставить себя выше его, излагая отдельные прописные истины поучительным тоном и с таким видом, что только он якобы посвящен в тайну, почему союзники до сих пор не открывают второй фронт, и почему финны склонны к перемирию, и как будет реагировать на эти события Гитлер. И он, молча выслушивая эти примитивные рассуждения, вроде бы соглашался с Бондаревым, а тот, входя в роль штатного пропагандиста, самодовольно, с чувством превосходства над своим начальником в вопросах большой политики начинал рассуждать о том, что капитан теперь всегда может опереться на него, и что с его политическими знаниями считался чуть ли не сам командир корпуса, и что после прочитанной им лекции комкор всегда приглашал его на чай. Доверчивый от природы, не посвященный в корпусную политотдельскую службу, Сазонов принимал эти байки за чистую правду, а его зам, поощряемый молчаливым вниманием начальника, плел ему разные небылицы о боевых друзьях-фронтовиках, офицерах, которые души в нем не чаяли, все искали его дружбы, а его начальник полковник Храмцов плакал у него на плече, когда расформировали корпус, и говорил о том, какое ему выпало счастье, что Алексей Михайлович служил у него, и что он всегда будет этим гордиться.

Если бы Дмитрий Васильевич знал, что Бондарев никогда не читал лекций в штабе корпуса и никогда командир корпуса не приглашал его на чай, что он был просто инструктором политотдела, занимался отчетностью по партработе в частях дивизий, утрясал вопросы инструкций по приему в партию,

проверял поступившие сведения, готовил отчетные данные для полковника Храмцова, которого он презирал всем своим существом и уже дважды на него анонимно сообщал в политуправление фронта о систематических пьянках, устраиваемых заместителем комкора и его начальником под видом проверок боеготовности дивизий и отдельных частей, входивших в состав корпуса! Нет, Сазонов об этом и не догадывался, но ощущал, что Бондарев, не имеющий особистской практики, хочет навязать ему себя в роли дядьки-наставника по политическим вопросам. «Ну и хрен с ним, пусть долдонит, лишь бы не вмешивался в оперативные дела», – закончил мысль о своем заместителе капитан Сазонов.

Часа через два оба они в наступающей темноте вышли из блиндажа и, вдыхая свежий предвесенний воздух синеющих сумерек, пошли по утоптанной дороге к штабу дивизии. Оба молчали. Дмитрий Васильевич думал о предстоящей проверке своего отдела представителями Особого отдела армии. Он не знал, кто приедет, но, судя по содержанию переписки и отдельным претензиям, был уверен, что проверяющие, как всегда, будут копать по общим вопросам: ослаблению агентурно-оперативной работы во вверенных частях дивизии, слабой проверке первичных материалов, поступающих от секретных осведомителей, недостаточной раскрываемости фактов подрыва боеспособности в подразделениях дивизии.

Вчерашний полковой особист без опыта работы в дивизии, он мысленно готовил себя к экзамену проверки и сам себя успокаивал: если снимут, то меньше полка на обслуживание не дадут, вот только бы быстрее майора получить, а там будет видно.

Бондарев, чуть поотстав, шел за своим начальником и был погружен в свои мысли. Вот он – майор и находится под командованием капитана, политически безграмотного, а еще задолго до войны Бондарев был уже на ответственной работе в облисполкоме и общался с такими людьми, о которых этот «капитанишка» и помыслить не мог! Он вспомнил, как последняя партмобилизация весной сорок второго года вытряхнула из уютных и теплых углов значительную часть партийного и советского аппаратов и как зампред облисполкома Иванушкин, выступая перед мобилизованными партийцами, говорил насквозь фальшивым голосом, что завидует своим товарищам, уходящим на фронт на укрепление политических и партийных кадров нашей доблестной Красной Армии, и призывал их не жалеть жизни для защиты дела Ленина—Сталина!

Вот и сейчас он, завидуя Иванушкину, мысленно отпустил в

его адрес тираду: ну, не гад ли, всего лишь на год старше, а сейчас небось спит со своей дурехой в тепле и никогда не узнает, как Алексей Михайлович сегодня чуть жизни не лишился. И вспомнив про минометный обстрел и свой позор, он неприязненно посмотрел в спину Сазонову и снова стал в уме перечислять его недостатки. Обращается он ко всем просто, без командирского тона. Вот, например, к тому же Калмыкову. Ну что он нашел в нем такого, чтобы беседовать с ним по целому часу, ведь простой писаришка, дал бы ему команду и пусть выполняет, а он с ним чай пьет, часами говорит и обращается у нему запанибрата: ты, говорит, Саша, не забудь направить запрос в Свердловск. Да разве так говорят с подчиненными, да еще с сержантом! Вспомнил, как Сазонов говорил с этим, как его, лейтенантом Кулешовым: «...ты давай, Сережа, займись проверкой сигнала».

Бондарев, хотя и не был кадровым военным, но, находясь в кругу разных по званию людей, понял, что строгое обращение по уставу с младшими по званию принимается высоким начальством как требовательность, дисциплинированность, как неотъемлемые качества любого армейского командира и политработника. Панибратство осуждалось начальством, и он как старший офицер, ужасно гордясь своим званием, при первом своем знакомстве с Сазоновым рассказал, что это звание он получил досрочно за выполнение какого-то важного поручения, но, не обладая воображением, не стал распространяться, какого именно, ссылаясь на строгую секретность этого задания, и почти шепотом добавил: «...только комкор, да в штабе армии знают об этом...» Он и сам не знал, почему ему присвоили майора после переаттестации на новые офицерские звания в марте сорок третьего, при введении погон. В той суете и чехарде с новыми званиями многие потеряли, а другие, наоборот, незаслуженно перескочили через ступеньку своих званий. Его аттестовали сначала на должность замполита полка по партработе, которая была по званию не выше капитана, но в это время формировался резервный корпус СВГК[4], и он был назначен на должность старшего инструктора корпусного политотдела по оргработе и получил майора. С чувством превосходства он сравнивал свои успехи по службе с партмобилизованными земляками, направленными в распоряжение одной и той же армии, и ему казалось, что только он, один из всех, был достоин этого высокого звания, и не догадывался, что полковник Храмцов, на которого он посылал анонимки, был причастен к его повышению. Федор Иванович в то время лично занимался формированием своего политотдела. Получив списки и объективки кандидатов на

должности и штатное расписание на отдел, он рассуждал при этом так: какой я буду начальник отдела, если у меня в подчинении только два майора, не считая зама-подполковника. Нет, решил он, и согласно штатам послал на переаттестацию еще на двух капитанов и остался доволен комплектованием – теперь и отдел выглядел более солидным. А кандидатов в майоры он выбрал старым писарским способом: четыре одинаковые бумажки с фамилиями кандидатов свернуты в трубочки и брошены в шапку, и с заместителем они вытянули по две. Полковник Храмцов был старым солдатом и фаталистом в душе; верил, что судьбу не объедешь на хромой кобыле! Вот судьба и подарила ему подчиненного в лице Бондарева.

Долго не мог он поверить, что доносы, как предположительно было установлено, направлялись из его близкого окружения. И с тех пор он стал смотреть на своих подчиненных более внимательно. Стремясь обнаружить доносчика, он в сотый раз рассматривал пересланный ему анонимный текст, написанный наполовину печатными от руки буквами и скорописью и неожиданно для себя обратил внимание на две буквы в тексте. Там, где эта трусливая ручонка с подлой душой, как считал Федор Иванович, выводила печатный текст, то буква «д» исполнялась скорописью как буква «б», но с верхней закорючкой в левую сторону и с прописными буквами «ш» и «т». Эта же ручонка подчеркивала их сверху или снизу. Так, нигде не обучаясь ремеслу отождествления личности по почерку, он неожиданно для себя нашел устойчивые признаки в почерке анонима и стал внимательнее читать рукописные материалы своих сотрудников, сравнивая их с оригиналом доноса.

Бондарева подвели условия действующей армии – остаться одному не представлялось возможности ни в политотделе, ни в наспех сколоченном холодном сарайчике с двухъярусными койками. Поэтому он писал свой донос второпях, опасаясь, что кто-нибудь случайно накроет его с поличным. Приходилось писать урывками, переходя от печатных букв на скоропись, а переписывать текст было опасно. Если бы кто-то, Святой Дух или дьявол, спросил бы новоиспеченного майора, зачем он пишет, он стал бы оправдываться, что хотел искоренить порок, предупредить начальство, что это может закончиться плохо и что этот сигнал помог бы его начальнику избавиться от порока. Но даже на Страшном суде он не признался бы, что лелеял мысль, а вдруг сигнал «воспримут» – тогда полковник Храмцов освобождает должность, на его место – заместитель, а он, Бондарев, становится замом начальника политотдела, и эта мысль грела его по ночам в холодном сарайчике и будила по

утрам радостью возможных перемен в его жизни. Конечно, он не брал в расчет тех, других трех – тоже майоров, на повышение он выбрал себя потому, что считал себя более достойным, чем они. И по практике прошлых доносов он надеялся, что результаты рассмотрения обязательно будут и начальство это так не оставит, и закрывая глаза, он видел себя уже подполковником, а потом и... Он почти не вспоминал свою оплошность с Романовым, след которого затерялся где-то вдали от него. Однажды Алексей Михайлович в политотдельской переписке встретил эту фамилию с должностью члена военного совета и званием генерал-лейтенанта одной из армий Калининского фронта, но подумал, мало ли однофамильцев. Он и не предполагал, что тот станет генералом.

Так шли они в сумерках февральской ночи по петляющей среди деревьев накатанной дороге, и, пересекая полосу редколесья, раздалось громкое, заполошным голосом: «Стой, кто идет, стой, стрелять буду!» И неожиданный выстрел, пуля циркнула над их головами, Бондарев с размаху ткнулся в обочину дороги, а Сазонов забористым матом покрыл стрелявшего, но тот без предупреждения выстрелил еще раз, и снова испуганный голос прокричал: «Ложись, а то застрелю...» Дмитрий Васильевич, уже лежа, начал криком вести переговоры, но тот, стоявший в редколесье, продолжал стрелять. Потом наступила тишина. Они лежали на обочине дороги, и капитан своим охрипшим тенорком прокричал, что требует к себе старшего, но встать уже не решился, рискуя получить пулю. Томительно шло время, но вот впереди послышались голоса: «Ну, чего ты стрельбу открыл...» – другой испуганный, оправдываясь звонким голосом: «Кричу «стой», а они идут на меня, а я же, товарищ сержант, плохо вижу от куриной слепоты, вот и стал стрелять...» Потом они встали, подошли, и Бондарев дал волю своему возмущению за этот страх и испуг от неожиданного выстрела, беспомощного лежания на снегу, почти с визгом в голосе требовал назвать фамилию их начальника и немедленного наказания патрульного, все повторяя, что он этого без последствий не оставит! Сержант молча слушал разнос майора, а потом уже виноватым голосом стал оправдываться, что в парный патруль назначили молодых, из необстрелянного пополнения. Напарник, как старший, ушел за харчами в роту, ну а этот, что с него взять: дрожит как осиновый лист, да еще куриная слепота навалилась на него, – вот он со страху и стал пулять. «Скажите спасибо, что я ему винтовку, а не автомат дал, вот тогда могло быть несчастье». Сазонов уже остыл от злости и посоветовал сержанту подбирать в наряд здоровых солдат. Сержант согласился с ним, но с сомнением в голосе

сказал: «Да где ж их взять, здоровых?! Вон присылают к нам молодежь, а они через одного дистрофики – в тылу совсем отощал народ...» – и замолчал, вспомнив, наверное, и свой собственный дом, своих домашних и их нелегкое житье.

Бондарев опять порывался отчитывать сержанта, но капитан скороговоркой начал: «Ну, майор, хватит тебе кипятиться, видишь, обошлось все по-хорошему?!» Но тут его заместитель чуть не задохнулся от возмущения: «Как вы, капитан, смеете указывать мне, майору, как вести себя, не надо забывать – в нашей армии есть уставы и наставления; и вы должны соблюдать субординацию. Или в вашем отделе ее не соблюдают? Сейчас вы не потребовали наказать патрульного, а завтра он уложит в снег полковника». – «А потом даже генерала, – скороговоркой добавил Сазонов и, сохранив насмешливый тон, продолжил, – ну а потом маршала, а потом...» – «А потом, ну, говорите, кто за маршалом, Верховный, да? – взвился, брызгая слюной, Бондарев. – Вы это хотели сказать?» – «Это вы сами сказали, товарищ майор, и меня на слове не ловите. И не забывайте, что хотя вы и майор, но я ваш начальник, и прекратите козырять, что вы майор, мне это уже начинает надоедать...» – добавил с твердостью в голосе и решительным шагом пошел впереди Бондарева. Тот не ожидал такого решительного тона и так и остался стоять с открытым ртом, желая возразить, но передумал и, пробормотав что-то про себя, двинулся вслед за ним.

Глава IV
ДИВИЗИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Совещание начальников служб дивизии проходило в большой штабной палатке с железной бочкой, переделанной под печь. Здесь собрались офицеры разных званий и разного возраста: вот малорослый, щуплый на вид, но с громким голосом – зам по тылу дивизии, подполковник Будылев, в далеком прошлом участник гражданской войны; высокий и статный – начальник связи, майор Гранкин; рядом с ним, как всегда, неразлучно стоял комбат связи Кузьмин, а там, в глубине, вокруг печки, офицеры службы тыла, химзащиты, саперно-инженерной, артиллерийской и разных других служб – Сазонов не знал их лично, но о многих наслышан был по сообщениям осведомления и агентуры. Большинство из них и не догадывались, что их фамилии, встречи на редких застольях, промахи по службе и разговорчики вольного толка оседали в Особом отделе, недремлющее око, а точнее сказать, длинные уши которого, установленные при рождении власти и промытые кровью Большого террора в середине тридцатых годов, с помощью секретного осведомления, атмосферы добровольного наушничества стремились узнать все и обо всем.

Дмитрий Васильевич не задумывался, когда от него требовали все большего по количеству осведомления, выявления лиц, стремившихся прямо или косвенно подорвать боеспособность частей и подразделений дивизии. Он полагал, что эта установка, полученная сверху, была правильной, но это было до того времени, пока его жизнь и работа не поставили перед ним много неразрешенных вопросов.

Будучи уже начальником самостоятельного органа военной контрразведки, он убеждался, что, выполняя приказ по сбору сведений среди личного состава, он не мог избегнуть ошибок при их оценке. Чем больше было информации, тем сложнее и длиннее оказывался путь ее проверки на достоверность и объективность.

Много подвохов ожидало особиста при сборе и оценке поступающих от секретного осведомления сведений. Нередки были случаи, когда секретная информация оказывалась заведомо ложной, иногда корыстно заинтересованной или ошибочной, и попробуй тут с ходу отделить правду от слухов и сплетен.

Хуже всего было, когда в агентурно-осведомительную сеть проникал человек, желавший воспользоваться всесилием контрразведки в своих целях; предлагал свои услуги, стремясь кого-то утопить, очернить или отомстить, навредить кому-то,

делая это от зависти, в корыстных интересах, от беспричинной вредности ко всем ближним, гадкости, бездушия и неверия в добро.

Осведомление в подразделениях дивизии формировалось по принципу «чем больше, тем лучше». Особист полка не смог бы физически справиться с помощью существовавшего количества агентов и осведомителей. Поэтому в батальонах, ротах создавались резидентуры и на роль резидента подбирались старшина или сержант – волевые, энергичные люди, обладающие жизненным опытом и умением заставить осведомление сообщать все, что интересовало офицера-контрразведчика.

А что собой представляли источники информации в окопных условиях действующей армии? По инструкции Особых отделов каждый негласный сотрудник должен был уметь писать свои сообщения – это было установленным правилом. Неважно, что осведомитель не владел пером, но если он был наблюдателен, обладал даром «разговорить» собеседника и выудить при этом сведения, интересующие контрразведку, то в таких случаях сам оперативник или его сподвижник-резидент со слов негласного сотрудника составлял сообщение от имени третьего лица.

Всеобъемлющая информация утомляла особистов, разбухали литерные дела, заведенные на батальоны, полки и отдельные части дивизии; рука порой не поднималась принимать сообщения о краже полотенец, мыла, злоупотреблениях старшин, помкомвзводов, воровстве и мелком жульничестве в ротных кухнях и многом другом, что принижало основное предназначение особистов – борьбу со шпионами! А были ли они в действующей армии – об этом никто никогда не говорил, и Сазонов за всю свою службу в отделе никогда не слышал о разоблачении шпионов в армии, и ни одна ориентировка Главного управления их службы об этом не поведала. Зато было очень много сообщений о поимке в прифронтовой полосе и даже в глубоком тылу заброшенной немецкой агентуры. Читая скупые на слова приказы главной «смершевской» ставки, Дмитрий Васильевич и его коллеги по работе могли только догадываться, какие возможности имел фашистский абвер[5] и другие охранные службы по части приобретения лазутчиков – громадные лагеря советских военнопленных, измученных голодом, где эта серая, в основном крестьянская, масса готова была за лишнюю пайку хлеба согласиться на все: стать шпионом, диверсантом, чертом, дьяволом, – лишь бы поесть досыта! Кто из них задумывался о том, что нарушил присягу, изменил Родине, стал предателем, врагом своей страны, – его терзал голод, он опухал, болел цингой, терпел издевательства охраны. Он видел, как день за

днем исчезала плоть тела, а вместе с ней таяла от беспросветного существования душа. Голод занимал все мысли! Он был главным мучителем; он охватил все его существо – и плоть, и кровь, и разум и ежедневно, ежечасно твердил: я хочу есть, я хочу есть! Сильные духом сохраняли спокойствие, уходили в память прошлого, стойко принимали ужас лагерного быта. Ну а тем, кто был послабее и думал только о еде, – им было плохо. За лишнюю порцию баланды – хоть к черту в зубы, лишь хотя бы раз поесть досыта.

Вот таких двух Сазонов запомнил тогда, еще на Калининском фронте. Их перехватило боевое охранение, когда они под утро переходили линию фронта. Из рассказов очевидцев было ясно, что они, не шибко таясь, прямо перли на наши позиции.

Высокий солдат из комендантского взвода в обмотках черного цвета, охранявший этих двоих, громким радостным голосом объявил Сазонову: «Товарищ лейтенант госбезопасности, вот видите, шпиенов фашистских поймали...» Дмитрий Васильевич видел, как они тревожно вздрогнули, подняв головы, глядя на подходившего к ним командира. Один из них, с длинным носом, виноватым голосом начал: «Да какие мы шпиены, мы же военнопленные, только беда с нами приключилась, из лагеря хотелось уйти – вот мы с Петяней подались к немцам. Да если бы мы были шпиенами, рази мы пошли бы белым днем через фронт?!» – и замолчал, обреченно опустив голову на охваченные руками колени.

К вечеру оба шпиона были допрошены порознь. Из их показаний было установлено, что оба, не выдержав лагерного режима, добровольно записались к вербовщику (с его слов, на «трудную» работу) и были вывезены из лагеря. Потом десять дней их обучали сбору военных сведений, пообещали после выполнения задания по три тысячи оккупационных марок, новое обмундирование и казенное питание. После этого они подписали листок, где указывалось: в случае невыполнения задания и перехода на сторону большевистского режима они будут при задержании расстреляны. С этим они легко согласились, и, еще находясь на передовой у немцев, перед переходом фронта договорились между собой, что, как только перейдут фронт, так сразу сдадутся властям и все расскажут. Два дня Сазонов провел в допросах. Арестованные как на духу поведали обо всем, что творилось в Мячковском лагере на территории соседней области и подробно рассказали о своем вынужденном предательстве, о заданиях, какие они получали, сообщили все известные им фамилии немцев, обучавших их нехитрому ремеслу сбора информации в прифронтовой зоне и еще много других сведений

по этому абверовскому хозяйству, где, как блины, пекли агентов из наших военнопленных, бросая их десятками через фронт.

Дмитрий Васильевич за несколько дней свыкся с ними, и будучи человеком от природы доброжелательным, он сочувствовал им, жалея их. Он понимал, что те были шпионами только по форме: оба оттуда, от немцев, оба добровольно записались на службу, учились шпионить и ели вражеский хлеб. Но, по существу, какими, к черту, они были шпионами, если сразу договорились сдаться и надеялись, что их помилуют, если они во всем повинятся. Оба плакали, вспоминая, сколько лиха они там хватили, у немцев, просили дать оружие и послать на передовую. Будь его воля, он бы так и сделал!

Их расстреляли через день и, как рассказал ему командир комендантской роты, старший лейтенант Жулько, обычно приводивший приговор в исполнение, перед расстрелом вели себя тихо и покорно, и только тот длинноносый, постарше возрастом, утешал своего напарника: «Не скули, видишь, какие они, все одним миром мазаны: что фашисты, что коммунисты – никакой жалости к простому человеку – шлепнуть и точка». Так и закончилась незадачливая жизнь двух простых, малограмотных парней в тот серый осенний день.

«Ты понимаешь, товарищ Сазонов, – говорил с возмущением Жулько, – вот ведь вражина какая, сравнил нас с фашистами, да за это я его бы еще раз расстрелял!» Еще в прошлые времена Сазонов питал неприязнь к Жулько после полученного от осведомителя донесения из его роты. Однажды за выпивкой главный исполнитель приговоров трибунала пожаловался, что вот другим дают награды, а он выполняет нелегкую работу, воюет с самого начала войны и уже одних смертных приговоров исполнил за это время больше сотни – и причем ни одного побега! И сейчас, глядя на сидящего впереди него Жулько с черным лоснящимся затылком и вислыми широкими плечами, Дмитрий Васильевич подумал: «От такого не вырвешься» – и мысленно представил себе всех, кого расстрелял Жулько; перед ним стояла рота полного состава своих – старых и молодых, и русских, и татар, и азербайджанцев, и украинцев и многих других, кто попал в жернова войны, струсил в наступлении, дезертировал из части от отчаяния и страха, неумело стреляя в себя, рубя пальцы и делая многое другое, чтобы избежать фронта и вернуться домой. Но не тут-то было – трибунал дивизии работал, как хорошо отлаженный пулемет: сыпал очередями беспощадных приговоров, с простым, но надежным, как затвор мосинской винтовки образца 1896/31 гг., следствием, без всякой обязательной по закону защиты и состязательности в судебном разбирательстве, и, подобно гвоздям

в гроб «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!..» – было венцом скорого суда над одиноким, беспомощным, потерявшим веру в себя человеком! А потом их всех, трясущихся от неизвестности и страха или отупевших от случившегося, солдаты из комендантской роты, связав им руки проволокой, вели на расстрел, а Жулько, еще не награжденный за свою «работу», уже кричал вслед мертвым от страха жертвам: «По изменникам Родины... пли!»

Сазонов знал все это в деталях: и следствие, и беспощадный трибунал, и его скорый суд, но в душе он был все-таки не согласен с расстрелом тех двоих – на шпионов и диверсантов они не тянули. Однако, когда он позвонил капитану Гуськову, бывшему начальнику Особого отдела дивизии, и заикнулся о ходатайстве на смягчение приговора, тот покрыл его таким изощренным матом, какой тот обычно употреблял при сильном возбуждении и недовольстве. И только позже он в материалах дела нашел копию спецсообщения в Особый отдел армии, где Гуськов, умело обходя острые углы, изложил эту историю по-другому: «Сообщаю, что при переходе линии фронта на участке 20-й стрелковой дивизии нами были захвачены два немецко-фашистских агента, завербованных из числа наших военнопленных. В результате умело проведенных оперативно-следственных мероприятий арестованные были изобличены в принадлежности к абверовскому отделу в г. Мячкове, где они были завербованы и прошли курс обучения по военно-тактической разведке для сбора сведений о частях Советской армии в прифронтовой полосе. После выполнения задания им был определен участок для обратного перехода и пароль для связи, а также обещана значительная денежная сумма...».

Материалы дела были переданы в Военный трибунал 20-й стрелковой дивизии. («Полученные сведения о мячковской шпионско-диверсионной школе направлены в Ваш адрес за № ... от .... октября 1942 года».) Всего лишь на одном печатном листе уложилась история о двух бывших солдатах Красной Армии, еще неизвестно, по чьей вине угодивших в плен к противнику, раскаявшихся в своем поступке и надеявшихся на снисхождение своей же, родной плоть от плоти, рабоче-крестьянской армии, но не дождавшись его, они были уложены в стылую осеннюю землю, и ни креста, ни звездочки, ни колышка и даже ни холмика, только сверху ровная, вспаханная земля, и больше ничего.

От других в отделе Сазонов слышал, что Гуськов – мастер по «липовым» делам еще с тридцатых годов, и, прочитав спецсообщение, убедился, что его начальник ловко обыграл обстоятельства задержания двух «шпионов» и выдал это за

результат работы руководимого им отдела. Хотя, по совести говоря, Дмитрий Васильевич не ожидал такой развязки, ведь на самом деле те двое добровольно сдались и все рассказали без утайки! Наказания они заслуживали, но не смерти же! Послать бы их в штрафную, на «передок», а то сразу – к стенке! Обида, бессилие и чувство собственной вины за тех двоих, доверившихся ему, охватили его память, и он уже почти не слышал хода совещания и весь был в прошлом. Где-то в глубине души, наверное от предков, проживавших на древней тверской земле не одну сотню лет, богобоязненных, незлобивых, работящих, сохранилось чутье к правде и справедливости. Оно давало о себе знать, несмотря на пропаганду беспощадности к врагам, восхваление жестокости к ним как здоровое начало. Даже в начале войны, когда на газетах вместо привычного «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» появилось «Смерть немецким оккупантам!», он не раз вспоминал, как те же газеты галдели о пролетарской солидарности, насильной мобилизации вчерашних рабочих и крестьян Германии, об их неминуемом недовольстве, перерастающем в революцию; свержении фашистского режима. И вдруг этот жесткий лозунг отрезвил сразу многих – значит, никаких надежд на сознательный, высококультурный германский рабочий класс нечего возлагать, значит, они теперь все оккупанты и им всем смерть, и даже тем, кто был насильно мобилизован Гитлером! Как-то все это не вязалось с предыдущими рассуждениями: классовой сознательностью, солидарностью общих интересов трудового народа и прочим розовым туманом, который развеялся, как дым солдатского костра, не оставив никаких надежд на то, что фашизм будет уничтожен своим пролетариатом. Но, несмотря на громадный пресс всеобщей вселенской беспощадности к фашистам-оккупантам, Сазонов не мог поверить, что все немцы – фашисты, и где-то в глубине души еще верил в романтический порыв всеобщей классовой сознательности.

Каждодневный, ежечасный идеологический пресс, общий настрой сослуживцев, прошедших фильтр проверки, не затронули его душевных струн – сострадать всем, кто был в безвыходном, беспомощном состоянии, всем слабым и тем, кому не на что было надеяться!

Это чувство мешало его службе, и Гуськов, его бывший шеф – циник и матерщинник, не раз говорил ему: «Чего их жалеть, пусть они сами себя пожалеют. И тебе, Сазонов, с такой жалостью надо бы не в нашей «чекушке» служить, а где-нибудь при младенцах… Хотя, правильно, ты ведь в органы из школы пришел, и, может быть, твое слюнтяйство там и было нужно, а здесь у нас пощады

нет… Одним словом, пролетарский меч. Разумеешь?!»

Гуськов презирал всех: своих начальников – за то, что они были его начальниками, а не он над ними; своих подчиненных – за то, что они, как он считал, все были бездельники, лодыри и неумехи; Сазонова он презирал за высшее педагогическое образование, отсутствие чекистской хватки и жесткости при расследовании дел. Он и обращался частенько к нему: «стюдент», «педагог», вкладывая в эти слова все свое пренебрежение не только к существу слова, но и к самому Дмитрию Васильевичу за его грамотную речь и умение логически рассуждать. Однажды, находясь в хорошем настроении, он рассказал чекистскую байку:

«Вот, видишь, телеграфный столб во дворе. Так вот, ты должен на него завести агентурную разработку и как следует, по-чекистски, обосновать, чтобы было оперативно, грамотно, – и, прикуривая папиросу, с чувством превосходства глядел на Сазонова: – Ну, чего молчишь, педагог, нечего тебе сказать? Вот что значит, у тебя еще нашей смекалки не хватает. Учись у старших! Вот смотри, я тебе сейчас все обосную чин-чином! Во-первых, видишь, он стоит один, сука рваная, значит, сторонится людей, коллектива, а это значит – сам себе на уме и ведет себя осторожно – подозрительно! Усек? Слушай дальше. Этот подозрительный тип, если сторонится всех, значит, никому не доверяет и боится, что за ним следят, и он к себе никого не подпускает. А теперь ты к нему ближе подойди и сразу услышишь – гудит. Ну, а если гудит – это уже законченный враг! Нет, это еще не все. Вон, видишь, и чашечки у него вниз – значит, не пьет, не хочет он, гад, случайно по пьянке свою вражью настроению выказывать для своего окружения… И еще, смотри: видишь, у него подпорка, пасынком называется у связистов. А это значит – он уже вербовать сообщников начал!» – и, довольный своим превосходством, он пыхнул папироской и сказал: – Вот видишь, я тебе и с начальным образованием все обосновал, как полагается, и завтра его уже можно арестовывать! А ты вот с высшим, сидел мекал, бекал и не знал, с чего начать! Вот и значит, что в нашем деле практика, можно сказать, больше, чем образование… Ну, и что оно тебе дало? Ну, запылил ты мозги образованием, стал ты этим сопливым мальчикам про свои фигли-мигли рассусоливать, а жизнь-то, она из практики состоит…»

Но здесь Дмитрий Васильевич, решившись заступиться за образование, уверенно начал:

«Ну, а как же тогда Владимир Ильич ведь говорил, что нужно учиться, учиться и……»

«Да, да, правильно, – согласился Гуськов, – но в нашем чекистском деле работать надо, а учиться потом, когда всех

врагов пересажаем, а знаешь, их еще сколько! Вот мы в Ульяновске сутками из кабинетов не выходили – вкалывали. Без выходных, без разных расходных, только и знали аресты и допросы, и опять аресты, а потом оказалось, что Ежов – сука и враг народа! А я ему верил, а потом комиссии понаехали, нашли нарушения соцзаконности, я едва отвертелся, на низовку меня турнули, в оперчекистский отдел Омского управления лагерей, а вот мой дружок – сержант госбезопасности Кадрин не уберегся и под трибунал вместе со всем руководством области как врагами народа… – и мрачно добавил: – В расход пустили, никто из них не отвертелся. Там же, в подвале управления: руки проволокой, потом головой в брезент и дырка в затылок. Это уже было в тридцать девятом, когда Лаврентий Павлович пришли в НКВД», – добавил он со смешанным чувством обиды и смирения.

Часто будет вспоминать Сазонов Гуськова, своего первого начальника, упокой его косточки смоленская земля. Нет, не перенял он у него ярую злость цепного пса и неуемную страсть карать и карать! Его шеф почти не видел и не замечал в окружающих чистоты и добра. Он презирал всех и не верил никому. Рассказы его зачастую начинались с фразы: «Вот был у меня начальник Власов, ну и сволочь, скажу тебе, невероятная…» Иногда он менял эпитеты, но сущность характеристики своих коллег он оставлял в тех же неизменных рамках. Так, вспоминая о службе в Мариинских лагерях, он мог начать с фразы: «Николай Иванович – мой сослуживец, ну и негодяй был, у меня десятку занял перед финской, так и не отдал!..» Гуськов никогда не вспоминал ни о родителях, ни о семье, жившей где-то под Омском. По службе Гуськов был так же нетерпим – подозревал, что его все обманывают, с подозрением относился к добрым по отношению к нему поступкам со стороны окружающих и любое бескорыстное проявление внимания принимал за какую-то каверзу, подкапывание под его карьеру! Даже внешне он не вызывал симпатии: худой и костистый, не говорил, а отрывисто рубил короткими фразами, как будто вымещал зло и презрение за свою жизнь и нелегкую службу. Не прочитавший ни одной книги, он не скрывал этого и говорил: «Я засыпаю с первой строчки и поэтому читать не могу, и вообще – это пустое дело!» Составление отчетов, документов он органически не переносил и приспособил для этого своего зама – тихого и молчаливого, которого он выбрал из числа оперуполномоченных его отдела в начале формирования дивизии.

Сазонову претило все, что было в Гуськове, и как педагог он ощущал его натуру, обреченную на неисправимое существование. И даже с каким-то облегчением он принял весть о его гибели.

Наступившая вокруг тишина прервала его воспоминания о прошлом; совещание началось. Комдив – полковник Богунец, капитаном начавший войну, с легким южным «хаканьем» коротко и внятно изложил боевую задачу дивизии: держать оборону до особого приказа.

По сложившейся традиции Дмитрий Васильевич выступал последним. И по школьной привычке он взял паузу для установления тишины, но этого не требовалось: его имя и должность всегда вызывали у окружающих жгучее любопытство и подсознательный страх. Спокойным тоном представив Бондарева, продолжил свое сообщение в унисон с выступавшими о боеготовности личного состава служб дивизии в обороне, повышении требовательности к дисциплине, караульной службе и, понизив голос, сообщил как нечто главное, что противник поставил перед нами свои отборные части и (далее учительским тоном), «как установлено нашей разведкой, противник активно изучает наш передний край для проникновения в наш тыл с разведывательными и диверсионными целями».

Честно говоря, Сазонов сгустил краски о замыслах врага. Но, как уже давно повелось в его особистской службе, он должен был облекать свою информацию во флер таинственности и секретности, ссылаясь на документальные данные зафронтовых источников и разведдонесений партизанского центра. Хотя ни теми, ни другими он давно не располагал. К этому вранью его приучили с первых дней службы, и он шел по проторенной колее, убеждая себя, что этим он никому вреда не приносит, а пользу извлекает большую, особенно в части повышения бдительности офицерского состава дивизии, что будет отмечено в донесении начальника политотдела подполковника Маркина, сидящего здесь же, рядом с комдивом. Но все ожидали малого кровопускания, когда Сазонов перейдет к перечислению примеров разгильдяйства, отсутствия требовательности и рачительности в частях служб дивизии. Многие из сидящих заерзали на скамейках, думая о мелких грешках, недоработках с личным составом. Артснабженец капитан Федоров, изобразив испуганное лицо и поводя головой из стороны в сторону, прошептал: «…помянем царя Давида и всю кротость его!..» Обычно на таких совещаниях только начальнику Особого отдела, как повелось с давних пор, разрешалось выплеснуть факты и «фактики», собранные осведомлением. Но существовал железный партийный принцип – «если есть хоть пять процентов правды, об этом надо говорить громко», и не беда, что девяносто пять – это вымысел информатора, никого не интересовало, что этим враньем унижались честь и достоинство, и у тех, легко ранимых,

получивших незаслуженную обиду прилюдно, она долго не проходила, терзала их. Все знали, что жаловаться на особистов нигде не принято и даже в мыслях ни у кого из офицеров этого не возникало. Никто из них не потребует объективного расследования и никто не взыщет за облыжность, прямой оговор и не потребует удовлетворения чести. Все это осталось в прошлом, презираемом, старом мире! И в новой, народной армии сразу отказались от понятия чести и, уж конечно, от сатисфакции, считая это предрассудками ненавистной пролетариату голубой крови.

Может быть, это и действительно предрассудки, которые уже были почти забыты. О них, поруганных, никто здесь уже не помнил, кроме как начальник штаба дивизии полковник Лепин; бывший выпускник Московского юнкерского Михельсоновского училища, что у Покровских ворот, чудом уцелевший в германской, гражданской и в той смертельной круговерти, пронесшейся по стране с начала тридцатых, – он помнил, что честь офицера в свое время была как невеста в белом: недотрога, без единого пятнышка; такой она была для многих его однополчан – кадровых офицеров русской императорской армии. Она была путеводной звездой в армейской среде для многих: умных и глупых, богатых и бедных, – и ее поругание, оскорбление значило тогда для них больше, чем смерть. Все армейские ритуалы, от построения части до торжественных парадов, были хорошо продуманной системой воинского воспитания – они освящали, утверждали, укрепляли воинскую часть, гордость за свою службу, свой полк, свою роту, и все это, вместе взятое, было его личной честью. Он помнил актовый зал училища: колонны, пилястры, в простенках – батальные картины и рядом с двуглавым орлом золотыми буквами для будущих офицеров от Великого князя Константина Константиновича, начальника учебных заведений Российской армии: «Помните, ваше богатство – честь и достоинство».

Как питомец кадетского корпуса, он с десяти лет знал, что такое воинская служба. Выпускник тринадцатого, последнего мирного года, он был влюблен в свою службу, никогда не тяготился ею и с грустью вспоминал свою юнкерскую юность. Ему всегда везло на начальников. Он помнил их всех, начиная с первого – командира батальона. Никто из них ни разу не унизил его бранью, но и он закрепил в себе стержень уважительности к подчиненным. Да, был требователен и как штабной офицер придирчив к мелочам, но никогда не опускался до крика и мата. Спокойный, выдержанный, но в то же время взыскательный тон, без унижающей площадной брани, действовал на многих гораздо

сильнее и глубже, оставляя у них невидимый след какой-то положительной душевности, напоминавшей им о чем-то высоком, чистом, недосягаемом, возможно, полученном в семье, школе, в быту с людьми, сохранившими в себе искру добра и уважения. Этот заряд и нес в себе Лепин. От него, всегда подтянутого, с хорошей выправкой, исходила какая-то сила надежности, порядочности, справедливости и доверия! Он незаметно смягчил нрав третьего по счету комдива, повысил и укрепил своим постоянным примером его выдержку.

Штабные офицеры полков дивизии откровенно копировали Лепина. Такие, как он, – образованные, честные, они согласились служить большевикам по разным причинам: одни по принуждению, другие добровольно, но все они в массе признали новую власть, и у них – профессионалов, не было разногласий с нею, она нуждалась в них, но над ними всегда витало чувство какой-то непонятной вины перед нею и отчуждение перед другими краскомами – выходцами из народа, вчерашними солдатами, унтер-офицерами. Эти, по вновь привитой классовой сознательности, тихо ненавидели «белую кость» от зависти, за то, что те были образованны и своей выправкой за версту показывали свое бывшее офицерство.

Гражданская война продолжалась в тех воспетых пиитами классовых боях и умело направлялась комиссарами всех рангов на непримиримость, враждебность, не оставляя камня на камне от прошлого бытия. Искоренялось все старорежимное, переписывалась заново история, и ее победители с превосходством своего пролетарского презрения к поверженному строю и его бывшим представителям смотрели на них, как на ненужный хлам, и открыто их презирали. Многие строевые военспецы среднего звена, окруженные почти открытой враждебностью новых краскомов с их проработками на открытых партсобраниях, мелкими интригами, косыми взглядами на их прошлое, постепенно выживались из армии и уходили с досадой и горечью, тяжело расставаясь со своей профессией, ставшей теперь вдруг ненужной для новой власти. Ах, если бы только недоброжелательность к ним – «бывшим». Началось худшее! Где-то там, на недосягаемой партийной вершине пять или шесть человек, не страдая от припадков совести, решили, что при строительстве социализма «в отдельно взятой стране» при капиталистическом окружении диктатура пролетариата должна первой нанести удар по социально опасным элементам, куда была зачислена, в основном, вся грамотная категория лиц старой России, начиная от членов противостоящих партий всех оттенков – от меков[6] до анархистов, от полицейских до служителей

тюрем, чиновников суда, прокуратуры царского времени. Не были забыты и господа офицеры. Так в январе 1930 года появился циркуляр ОГПУ, где предписывалось взять под наблюдение, а в отдельных случаях и в активную агентурную разработку всех лиц, представляющих социальную опасность; при малейших признаках контрреволюционной деятельности – немедленно их арестовать и организовать над ними суды через «тройки», успешно включившиеся в первые волны террора. Никто из бывших офицеров не мог предполагать и теперь не поверил бы, что если он в прошлом был офицером, честно и добросовестно нес тяготы и лишения, рисковал жизнью на германской, а потом на гражданской, теперь по ОГПУшной закрытой директиве будет объявлен врагом народа, а местные органы дадут команду: при малейшем оказании сопротивления или попытке к бегству – применять оружие без предупреждения. Сколько среди них было беззаветно храбрых, отважных, презирающих смерть, ходивших впереди солдат в штыковую. Да, да, это были офицеры русской армии, и теперь, когда в прошлом фронтовиков-окопников вталкивали в переполненную камеру, они, бледные и растерянные, пытались овладеть собой, надеясь, что в ближайшее время все выяснится – правда восторжествует, но напрасно! И в свой последний час, когда уже клацал затвор винтовки, многие из них презирали себя за бессилие и доверчивость, проклиная новую власть! Они жили старыми представлениями о власти и законах тех далеких времен, когда можно было требовать открытого обвинения, вносить жалобы в прокурорские инстанции, советоваться с адвокатом, отводить состав обвинения и суда, использовать много других правовых возможностей для защиты личности.

Новая власть, готовясь к Большому террору, отменила все это как буржуазные предрассудки и упростила процедуру лишения свободы и жизни для своих классовых врагов. Личное указание Вождя на обострение классовой борьбы в провинции с ее дремучей непроходимостью, тупостью и малограмотностью представителей власти было принято ликующе! Стали сводить счеты по старым долгам, началась травля на собраниях, сельских сходах, подкапывались под прошлое, писали доносы, интриговали по-крупному, но не брезговали и мелочью. Честным людям тоже стало опасно жить – того и гляди объявят врагом народа за то, что не осудил брата, свата или соседа и не бросил в них камень. Эта дикая вакханалия бурлила не один год. И Лепин помнил рассказ запуганного и истерзанного страхом ареста своего ближайшего родственника, который, идя однажды по городскому кладбищу и увидев памятник, надпись на котором гласила, что

имярек, купец 2-й гильдии, умер 25 октября 1917 года, позавидовал его кончине – ушел и не видел, не слышал и не знал, как лилась кровь, в муках и проклятьях появилось новое; с заманчивым равенством, братством и справедливостью к человеку труда... Вот оно пришло! И это освобождение нам не дали, как жалкую подачку, а мы взяли сами! Ура, товарищи! И задушевно, со слезами на глазах пели торжественные гимны революции.

Начштадив тоже был романтиком и был увлечен и революцией, и ее победными идеалами. Он родился под счастливой звездой, он не испытал в полной мере косых взглядов за свое прошлое. Так уж сложились обстоятельства, что владея французским и немецким, он попал в аналитическую группу при Генштабе, где по заданию Совнаркома изучались дипломатические материалы бывшей Антанты, и работал рука об руку с новыми аппаратчиками Наркоминдела. Он искренне восхищался и был заражен революционным энтузиазмом чичеринской команды, где в то время готовились предложения по Генуэзской конференции – первой мирной, где большевистская власть была признана как сторона переговоров и правопреемница долгов и обязательств старой России.

Потом Лепин был много лет за границей, служил в советнических аппаратах по военным вопросам в Турции, Монголии и Китае. Повидал немало, испытал гордость за свою страну – Совдепию – так и только так эмигрантские газеты называли его родину. И еще писали о том, что кучка продажных интеллигентов вкупе с представителями старого офицерского корпуса пошли в услужение к большевикам за чечевичную похлебку! Вот в этом была правда – на большее из нынешних, добровольно перешедших, никто не рассчитывал, а потому они и не роптали на скудость окладов загранкомандирования, скромность быта и другие урезанные материальные блага, но были горды тем, что у них за спиной было умное правительство, с которым считались многие сильные мира сего и те сто пятьдесят миллионов разогретых революцией, закаленных невиданной в истории с ее невзгодами и лишениями гражданской войной...

Он вернулся домой в 1940 году, когда закончилось большое кровопускание в стране, но паралич страха все еще давал знать о себе в боеспособности армейского организма. Боязнь ответственности поразила весь, без исключения, нач. и политсостав непобедимой, прославленной, легендарной, воспетой в стихах и песнях! Лепин не узнал свою среду военных. Безвозвратно ушло то, что так нравилось бывшему штабс-капитану в революционных новациях, и прежде всего, открытость

суждений между старшими и младшими командирами. В старой армии этого не было – существовало множество барьеров, не допускающих таких явлений. Столетиями выработанный этикет офицерского поведения жил в крови служивых вечно. Революция, взяв от народа на первых порах лучшие качества, внесла их в свою армию; в том числе и форму, и содержание общения между командирами. Но теперь все это исчезло. И оглядевшись, Лепин понял, что это была уже не та армия, которую он знал во времена Фрунзе. И еще понял, что та, ранняя, революция, совершив свой прославленный путь, умерла, а оставшиеся в живых ее солдаты молча и беспрекословно исполняли команду великой Системы. Нет, он действительно не узнавал свою среду: исчезли смелые, поистине революционные предложения по строительству и укреплению армии. Ушла открытость суждений, обмен мнениями велся с опаской, навсегда канули в Лету откровенные беседы на дружеских встречах или застольях. Так же непривычно для него было настойчивое восхваление мудрости и непогрешимости Вождя и руководимой им партии, бесчисленные его портреты, заполонившие вокзалы, площади и улицы Белокаменной. Вот и на величественном здании бывшего Реввоенсовета, ныне Наркомата обороны (в памяти Лепина это было Александровское юнкерское училище), на Знаменке, а теперь улице Фрунзе, тоже висел грандиозный портрет Генсека и его двенадцати соратников по Политбюро – близилась 23-я годовщина Октябрьской революции. Такой он запомнил предвоенную Москву.

Никогда не забудет Лепин свое первое посещение Управления кадров Наркомата. Когда он вошел в приемную, там сидело около десяти командиров в форме, на петлицах – от одной до четырех «шпал». И только один, державший в руке розового цвета пропуск, – в штатском. Лепин сел рядом с ним на свободный стул, насмешливый взгляд серых глаз «штатского» поразил его. Да ведь это же комполка Кузнецов! И вспомнил лето девятнадцатого: Подмосковье, сбор краскомов от батальона и выше, жаркий день и этого сероглазого крепыша, увлеченно и ярко, без конспекта излагавшего суть подготовки наступления в составе полка. Потом он уехал комдивом на Восточный фронт.

И теперь, повернувшись к нему, Лепин сказал:

«Имею честь беседовать с краскомом Кузнецовым? Вот только имя ваше запамятовал, ведь мы знакомы с вами с девятнадцатого».

«Юрий Михайлович, – представился тот. – Помню, было такое дело, но это было так давно!»

«А почему вы в штатском?» – спросил Лепин.

Кузнецов замялся, а потом с грустной, извиняющейся

улыбкой тихо сказал:

«Видите ли, я из отдаленных мест был возвращен на службу...»

Лепин был наслышан о возвращении в армию репрессированных. Он проникся невольным уважением к Юрию Михайловичу, а тот, улыбаясь, стремясь прикрыть щербатый рот, сказал:

«Я был арестован и снят с должности комкора, генеральскую форму износил в лагере, а новую приобрести не успел...»

Но в это время секретарь – бравый такой мальчишечка с двумя «кубиками», вышел на середину приемной и зачитал список приглашенных; первым значился Кузнецов. Он встал, привычным движением военного одернул дешевенький, москошвейский костюм и, сказав Лепину: «Вот этого часа я ждал почти четыре года...», – скрылся за дверью кабинета. Вернулся он уже через несколько минут, улыбающийся во весь рот:

«Получил назначение в Московский округ, заместителем комкора Степанова, он только вернулся из-под Халхин-Гола, мы с ним знакомы по академии. И еще. Меня восстановили в звании генерал-майора и отправляют на курорт в Сочи, и квартирный вопрос тоже решили – жена будет рада-радешенька, столько времени без своего угла, – облегченно вздохнул и, посмотрев своими выразительными серыми глазами на Лепина, увлеченно продолжил: – Нет, вы понимаете, до сих пор не могу прийти в себя, и не верится, что все это происходит со мной, что вчерашнему «зэку», дважды побывавшему в дистрофиках, нынче суждено надеть форму, лампасы и служить в Москве!»

Весь свой восторг и жар души счастливейшего из счастливых Юрий Михайлович выразил Лепину шепотом, с большими паузами.

«Вы никогда не бывали там?.. И не дай бог никому это изведать! Вам трудно понять меня, но поверьте, лучше этого никогда не видеть... – и на его серые глаза навернулись слезы. Он начал торопливо рассказывать свою командирскую одиссею. В этот момент ему хотелось обнять всех сидевших здесь незнакомых командиров и говорить, говорить им бесконечно о своем неожиданном счастье! Но командиры сидели молчаливые, суровые, погруженные в свои мысли и поэтому бывший комкор видел в Лепине единственного, кому он может выложить все, что у него накопилось на душе, и поделиться своей неожиданной удачей, свалившейся на него негаданно! Сейчас Лепин был для него самым близким: – Я вас дождусь, а потом мы вместе посидим где-нибудь, ведь вы мой старый знакомец, уважьте меня, побудьте со мной час-другой. Мой поезд через четыре часа, еду к жене, она

у меня в Загорске у наших друзей. Как она будет рада! Мы с ней сначала не верили, что я на свободе, а теперь, невероятно, возвратили звание, дали квартиру! Такого мы с ней не ожидали!»

Кузнецов буквально светился от счастья, он помолодел на глазах: разгладились морщины на лице, распрямились плечи, а серые глаза с их радостью были распахнуты, как у восторженного юноши! И, глядя на него, Лепин сам почувствовал прилив радости и не смог отказать ему в просьбе.

Лепина принял старший помощник начальника управления кадров. Вот здесь, пожалуй, он и понял, как изменились кадровики. За столом, в кресле, сидел худой и костлявый капитан с хмурым, безучастным взглядом. Не смотря на собеседника, а заглядывая куда-то в бумагу под правой рукой, он хриплым, отрывистым голосом прочитал выписку из приказа об откомандировании подполковника Лепина на академические курсы «Выстрел» в Солнечногорск. Потом, посмотрев на Лепина своими тусклыми, невыразительными глазами, спросил, есть ли у него личные просьбы или претензии по части устройства быта, получил ли он все аттестаты по довольствию. Вопросы были формальными, но по тону беседы Лепин все время чувствовал превосходство капитана над ним и не мог понять причину этого. Позже он поймет, что это был уже выработанный стиль нового поколения кадровиков, сменивших первый состав реввоенсоветовского времени, где было меньше бюрократизма, больше доверия. С середины 30-х годов сюда пришли совсем другие люди. Атмосфера подозрительности, недоверия, превосходства над всеми, кто входил сюда, прочно поселилась в этом учреждении. Это был уже стиль нового этапа развития государства, заданный сверху и укрепившийся в новых условиях на многие годы.

Через несколько минут они с Кузнецовым уже сидели в небольшом кафе на Арбате и пили крымский портвейн «Айгешат». То, что в минуту откровения бывший комкор рассказал Лепину, совершенно перевернуло его представления о действительности. Оказывается, где-то там, в бескрайних просторах Сибири, сотни тысяч людей были обречены на вымирание за колючей проволокой. Ему никогда не приходилось встречаться с теми, кто, побывав там, сумел возвратиться оттуда. Кузнецов был первым, кто поведал ему страшную в своей безысходности судьбу лагерников.

«Поверьте мне, – сказал с горечью Кузнецов, – самым страшным для меня в начале было сознание того, что я сижу ни за что! А потом в лагере меня доконал голод, и не было уже никаких других мыслей, кроме: хочу есть! Голод терзал меня, как

зверь, а я оказался слаб на расправу и все от того, что от голода и высокой кислотности обострилась моя язва. А я, незакаленный, неподготовленный, только и думал о еде и растравлял себя все больше и больше! Потом встретил простого крестьянина: он пережил голод в Поволжье и рассказал мне, как победить голод. И мне помогла молитва, беседа с Богом! И, когда я обратился к Нему, я постиг часть Его мудрости и любви к человеку. Я стал помогать другим, наставлять словом и в первый раз возгордился собой, когда поделился пайкой хлеба с больным моряком-балтийцем. Так постепенно, день за днем, я смирял свое тело и укреплял дух, пересмотрел всего себя со стороны и понял, что всю свою жизнь я был эгоистом, малотерпимым к своим близким, подчиненным, не отвечая любовью на любовь, я проходил равнодушным к ней. И все это оттого, что я быстро получил и чин, и положение, а революция дала право бесконтрольно распоряжаться людьми: ломать их волю, гнуть по своему, командирскому велению для выполнения приказа. Однако я никогда не задумывался о высшем смысле жизни. Мне стыдно, что только лагерь образумил меня, и, пройдя семь кругов ада, я понял, что любовь и служение человеку рождают взаимность и понимание, а жестокость порождает неистребимое зло, калечит и угнетает душу. Я вспомнил свой путь и ужаснулся: в гражданскую я и мои командиры были беспощадны к белым, а ведь они – братья, рожденные в той же России. Нельзя забыть о том, как мы на Сибирской магистрали под Красноярском сожгли эшелон раненых и тифозных колчаковской армии. И я покаялся, вспоминая «геройские» дела полков моей дивизии. Ведь это было зло, несчастье, подлость. Но все это делалось ради нее – святой, народной, многомиллионной, которая должна была уничтожить зло, рожденное капиталом! И я служил ей и ушел в нее с головой и сердцем... – Кузнецов чуть задумался, но озаренный чем-то новым, продолжил свои откровения: – Много героев породила та братская война, среди них были незабываемые, кто увлекал нас, зажигая неистовыми речами, и звал к победе пролетариата в мировом масштабе... – Всматриваясь в лицо Лепина своими умными серыми глазами, излучавшими какую-то необыкновенную силу внутренней доброты к тому, кто заглянул в них с добром и любовью. Его взгляд был вопрошающим, и незримый ток взаимного доверия охватил их обоих. Бывший комкор радостно вздохнул и, чуть пригубив из рюмки, сказал, понизив голос: – Некоторые были для меня тогда образцом и примером служения революции! Прошло много лет, но я до сих пор помню, вижу и чувствую их неистовую энергию, волю, силу духа. Подобно героям Гюго, они могли одновременно и

наградить, и тут же награжденного поставить к стенке. И поверьте, все это они делали вдохновенно, красиво! Все, кто слышал их на митингах, были очарованы такой страстью к победе, слепо верили им, идя на смерть. Они действовали на толпу, как спирт с кокаином – безумно веселили, звали не жалеть собственных жизней для победы революции. Мы шли и побеждали, зачастую вопреки здравому смыслу военных правил. Сила духа одного человека охватывала тысячи, и вчера еще голодные и холодные, готовые покинуть позиции, перестрелять командиров и комиссаров, поддаться грабежу, мы смело шли в бой, вдохновленные революционными кумирами. – И с горечью добавил: – Теперь пришли другие времена, многие превратились из героев во врагов, и я с этим не согласен, но сказать об этом вслух значит навлечь на себя жестокую, несправедливую кару. Уверен, что наши потомки станут говорить об этом свободно, время жестоких социальных революций закончится, народ устанет от борьбы, потрясений, немоты и захочет плавного и свободного движения жизни, без узды и угроз. – И, опять заглянув в глаза Лепину, с виноватой улыбкой сказал: – Простите меня великодушно, мои откровения с вами – бальзам для моей, еще не окрепшей на воле души...»

Тогда беседа с Кузнецовым была для Лепина новой страницей его жизни. Он взглянул другими глазами на окружающий его мир... Они попрощались на Арбатской площади, москошвейский пиджак Кузнецова мелькнул и растворился в толпе у входа в метро. Больше они так и не встретились, но, по слухам, генерал Кузнецов успешно командовал корпусом где-то неподалеку от Лепина.

Увлеченный воспоминаниями, Лепин не заметил, как Сазонов уже заканчивал свое выступление. По выражениям лиц он понял, что главный особист дивизии не использовал своих возможностей и не заставил лишний раз вспомнить, что существует незримый, вездесущий контроль. Начштадив мысленно одобрил его поведение и на этот раз. Он, несмотря на предубежденность по отношению к армейской контрразведке, уважал капитана как личность за его спокойный, человечный тон при общении с офицерами и даже либеральность по отношению к провинившимся. Их симпатии были взаимны, у них установилась та незримая связь понимания общности исполнения долга, аккуратности в словах и делах и обязательности без лишних слов и заверений. Дмитрий Васильевич и в этот раз не воспользовался своей привилегией резать правду-матку отцам-командирам и заставлять их ежиться. Иногда ему помогала его педагогическая практика, подсказывавшая ему, каким тоном нужно было сказать

о недостатках службы, какие слова при этом употребить, чтобы сохранить при этом общий дух требовательности и подчинения.

Еще в начале своей службы Сазонов спросил у своего бывшего шефа, почему тот на совещаниях должен выступать последним и говорить о недостатках по службе. И Гуськов, как всегда с матерком, объяснил ему: «Вот, трахтарарах, твою мать. Когда еще были комиссары, они были выше командира и отвечали полной мерой за политику и за все остальное, и даже за командира. А теперь, распротудыт твою... когда установили единоначалие, командир – всему голова, а политотделы – читай газетки, историю ВКП(б), проводи собрания, а в расстановку боевой службы не вмешивайся и только помогай словом! И если раньше он был главнее командира и мог на него политдоносы писать по всем статьям службы, то теперь он эти права потерял, а командир укрепился, и теперь бывший комиссар уже не первое лицо в дивизии, а третье, после начальника штаба. И сейчас все командир держит. – И, вытянув костлявый кулак вперед, показал: – Вот где они должны быть, а теперь все от командира зависит. Ну, а мы, особисты – другого толка, и мы не подчиняемся комдиву, он нас по стойке «смирно!» не поставит! Товарищ Сталин правильно сделал. Он нашу контрразведку с начала войны ввел в НКВД и сказал, что хоть кто-то должен стоять над командиром и держать его под контролем. Вот я и говорю: на то и щука в море, чтобы карась не дремал! Вот так, мой дорогой педагог! И я нынче только один на совещании могу с указанием фактов, невзирая на звания, тыкать носом любого по всем недостаткам службы! Только мне дано такое право, а уж я им воспользуюсь, и некоторым небо с овчинку покажется! И ты тоже, педагог, не будь слюнтяем, будь жестче, бей своих – чужие бояться будут! Вот и спрашиваю тебя: почему ты не прижал своего ПНШ[7] по учету? Ведь он тогда по пьянке черт-те что наговорил: и что немцы грамотнее воюют, и что техника наша слабее... Ведь здесь, раз-два и по закрытому Указу – прямое восхваление противника. Это же сейчас важнее, чем антисоветская агитация. А ты что?! Стал смягчающие обстоятельства придумывать, что он кадровый офицер, закончил училище. А вот не пожалел бы, так дело завел, а потом и арестовал – вот это был бы результат твоей работы и авторитет тоже. Как только сделал бы «посадку», так сразу все вокруг тебя в полку забегали бы и в глаза бы заглядывали, а ты... Слюни распустил – рука не поднимается заводить дело на такого военнообразованного. Да вон их сколько у меня в мариинских лагерях было – тыщи грамотных, образованных, полковников, генералов. Все они были для меня «зэки» и враги народа! И вот эти грамотные и составили против

товарища Сталина военный заговор! Недаром расстреляли всю эту контру, хотя и маршалами они были, разные там Тухачевские, Блюхеры и прочие! А когда пустили в расход каждого десятого, вот тогда они ручонки вверх и к ножкам Иосифа Виссарионовича приползли! – И, весь дрожа от возбуждения, брызгая слюной, он почти кричал: – И я тебе откровенно скажу: их, вредителей, в армии еще много осталось! Мне один наш капитан на сборах рассказывал, что генерал Павлов, бывший командующий Белорусским Краснознаменным округом, потерял бдительность к немцам, завел себе кралю польских кровей из Белостока. Она, говорят, там при поляках в кафе-шантанах танцевала. И таскал ее повсюду за собой, даже на штабные учения! А кто ее знает, может, она и была завербована фашистами, а Павлов ее пригрел! Вот поэтому немцы уничтожили всю авиацию на аэродромах – они же техпрофилактику затеяли, а кто об этом знал? Только окружение командующего и его штаб! Вот за это его и хлопнули, и правильно сделали... Вот ты говоришь, что надо было разобраться, – некогда было, немец пер, а Павлов, Тимошенко товарищу Сталину докладывали, что вот-вот и остановят, а они 7 июля уже в Минске были! Ну, ты мне скажи, разве это не предательство?! Мне бы этого Павлова, да я бы из него котлет понаделал! Почти всю Белоруссию, половину Украины почти за три месяца отдали фашистам! Что бы мне ни доказывали, а без вражеской руки здесь не обошлось! – Такие разговоры всегда заканчивались тем, что Гуськов, грохая кулаком по столу, почти кричал: – Я их всех, трах-тарарах, насквозь вижу, мало их израсходовали в тридцать седьмом, притаились они, а как началась война, они пачками сдавались в плен, чтобы жизнь сохранить! Я бы их всех построил, и на чьем участке немцы прорвались, обвязал бы гранатами всех командиров, политработников, штабных, сзади поставил бы заградников с РПД[8] и вперед, под танки, а кто назад – тому пуля! Вот тогда и фашисты бы не прошли! А если бы не 227-й приказ, то Сталинград не отстояли бы, а так бы и драпали до Урала! Что, не согласен со мной?! А что оставалось делать? Ты говоришь, не умели воевать, а я говорю – не хотели воевать как надо, а как приказ этот вышел и как стали шлепать кого надо, так они сразу воевать научились и не стали бояться окружения – знали: сдаст позицию, все равно хлопнут, так уж лучше по-геройски помереть, чем от своих. Этот приказ пришлось применить на практике, я сам с комбатом Николаевым расстрелял двух командиров рот. Ведь позорище! Две роты не выдержали атаки только одной роты! Мы с комбатом неподалеку оказались и сразу поняли, что эти двое, чтобы спасти свои шкуры, бежали от немчуры! Мы сразу

обезоружили их перед строем, Николаев сразу одного, а я второго из «ТТ», и сразу бегом в атаку на немцев. А те не ожидали, что мы так скоро обернемся, они даже не успели закрепиться, выбили мы их с треском! Каждый старался за троих, особенно взводные: они-то взяли в толк, что только что двоих кокнули, ну а могли и их пристегнуть. Вот мы с Николаевым и получили по «Звездочке»[9]. Ты помнишь, как мы в отделе обмывали. А Николаева убило во время летнего наступления. Лихой был комбат – ни себя, ни солдат не жалел и, как говорили, всегда в атаку впереди шел на самых опасных участках».

Гуськов и его страстные тирады тогда и сейчас для Сазонова оставались загадкой. Гуськова уже нет, а Дмитрию Васильевичу все еще слышится его отрывистый голос, перекошенное от ненависти лицо. И откуда у него родилось столько злости, кто и как вбивал ее в его ограниченный ум, не лишенный практицизма. Ну и самое главное, как он мог ходить, спать, есть, пить водку с этой злостью, обжигавшей всех и вся вокруг. Сазонов не находил ответа, но хотел бы знать...

Совещание закончилось, все дружно вывалились в чернеющую мглу февральской ночи. И где-то с правого фланга глухо простучал станковый пулемет, и отблеск редких ракет с переднего края говорил о том, что фронт рядом, а противник, закопавшись в землю, будет стоять против них и завтра, и послезавтра, и никто, кроме них, не рассечет его оборону, не подавит его хитро замаскированные огневые точки и не ворвется в лабиринт траншей и окопов, а, истекая кровью, дрожащими от страха и возбуждения руками встретит и будет отбиваться от таких же озверевших, как они сами, только одетых в зеленовато-серые шинели, с козырьком-кепи под каской, получивших приказ – держать рубеж любой ценой. Так было, и они держали, переходя в бесчисленные контратаки, но сила, как говорится, солому валит. Теперь уверенность в победе была полной, и в ее неотвратимость верили, как в приход весны, от генерала до последнего повозочного. Она могла быть запоздалой, с заморозками, с холодным, серым небом, но ее приход был неизбежен и теперь уже ничто не могло изменить ход войны.

Глава V
СЕКРЕТЫ КАНЦЕЛЯРИИ

Через полчаса Сазонов и Бондарев, пройдя мимо наружного поста, открывали дверь своего блиндажа, с его привычным духом временного фронтового жилья, где перемешались запахи табака, еды, еловых бревен, широких половых плах, еще сохранивших по углам незатоптанную девственную белизну древесины. В небольшом коридорчике стоял стол, на нем фонарь «летучая мышь» с хорошо протертым стеклом. За столом – дежурный по отделу – сержант Фокин с неизменной подшивкой «Комсомолки».

Сазонов любил аккуратность в любом деле, и, зная его придирчивость, в отделе строго соблюдали установленные им для поддержания небогатого фронтового быта правила.

Встретивший их сержант Калмыков по-уставному доложил Сазонову, что звонили из Особого отдела армии и предупредили, что проверка их работы будет на следующей неделе и что завтра утром ему будет звонить Самсонов – их куратор. «Ужин на двоих стоит в печке, а я еще немного поработаю, – добавил Калмыков, – кстати, я вам почту всю подобрал и то, что на подпись, – у нас завтра отправка фельдъегерская состоится. Если у вас еще что-нибудь найдется, то места в описи еще много...»

Так, запивая сладким чаем вкусную разварную пшенку, Дмитрий Васильевич открыл папку срочных запросов и сразу наткнулся на сообщение, напечатанное на плохой бумаге, из Орловского управления НКВД: «...согласно Указу Президиума Верховного Совета от 10.03.43 г. приведен в исполнение приговор в отношении Казакова Михаила Назаровича, 1887 года рождения, уроженца Орловской губернии с. Крутово, работавшего у оккупантов бургомистром села Мураново. Нами установлено, что его сын, 1916 г. рождения, Казаков Николай Михайлович, ст. лейтенант, служит в рядах РККА п/п 39732 «Е». Направляем запрос для возможного оперативного использования...»

Прочитав текст еще раз, Сазонов убедился, что ошибки не было – это начштаба первого батальона 621-го стрелкового полка, теперь уже капитан Казаков Н.М., которого он знал по Калининскому фронту, где их дивизия после ожесточенных боев отстояла районный центр Панино, трижды переходивший из рук в руки. Вот здесь и отличился командир взвода, тогда еще лейтенант Казаков, удержав на двое суток кирпичный завод на окраине райцентра. Ему подкинули подкрепление, и он так и остался там, и усиленный взвод был для противника как острый

гвоздь в сапоге. И, не зная, сколько там было наших солдат, он пытался атаковать завод, но командир взвода, умело меняя огневые позиции на территории завода, раз за разом отбивал попытки захватить этот пятачок с ходу. Потом он был использован командиром дивизии как плацдарм для освобождения райцентра. После этого боя Казаков стал старшим лейтенантом и командиром роты, а теперь уже без пяти минут комбат – и вдруг эта история с отцом! С одной стороны, Сазонов знал, что крылатое и благородное, сказанное самим Вождем, «сын за отца не отвечает» в действительности почти всегда оборачивалось недоверием по партийной линии, начальства, коллектива и даже друзей, хотя это уже встречалось реже. А что касается политработников, то им только дай эту весточку! Они же такие фактики всегда в своих обоймах держат и в случае надобности применят другую поговорку – «яблоко от яблони...», нагнетая атмосферу борьбы с классовым врагом, усилением бдительности, ненависти к врагу и на всякие другие случаи политического воспитания.

Дмитрий Васильевич призадумался и с решительностью черкнул: «Сержанту Калмыкову – в дело общей переписки...» И, подобно начинающему шахматисту, он загадал ситуацию только на один-два хода: возможно, Казаков будет комбатом, а может, и командиром полка, если уцелеет. И офицер он боевой и инициативный, и орден недавно получил, и в батальоне в нем души не чают: откровенный и справедливый... А если ознакомить сейчас замполита по политчасти, то неизвестно, что от этого будет. Каждый раз в представлении на новое звание или награду в объективке указывались сведения о родителях. И если там будет написано, что его отец был повешен за сотрудничество с оккупантами, то никогда ему не видать ни звания, ни наград. Его просто не будут включать ни в один список, и пусть он будет разгеройским офицером, но дальше своей должности никогда не продвинется. Существовало много способов обойти такого офицера званием, наградой, должностью и один из них – умолчать о его заслугах в бою, личном героизме и командирском умении. Другой способ – более тонкий и подлый, с использованием марксистской диалектики – да, он командир толковый, но недостаточно уделяет внимания воспитанию подчиненных, слабо работает над политическим самообразованием, все его успехи достигнуты стихийно, а не в результате кропотливого и вдумчивого отношения к своим обязанностям. Ну и еще, конечно, добавят про моральный облик, а здесь при желании всегда можно найти много недостатков. Очень будет обидно капитану Казакову, когда его друзья-офицеры

будут получать награды, повышения, а он, молча глотая обиду, в сотый раз спрашивал бы себя: «Но я при чем: нас разделяли тысячи километров, он жил своей жизнью, и не я подсказал ему служить оккупантам...» Жгучая обида, как запал в гранате, торчала бы в нем до поры до времени, и, будучи человеком решительным и смелым, он обязательно бы нашел смерть в бою, предпочитая ее своему унижению!

Вот такие мысли посетили Дмитрия Васильевича, когда он сознательно уберег Казакова от неприятностей. И, глядя на этот казенный, бесчестный донос, уже почти потерявшийся среди других бумаг, он почувствовал, что поступил по велению сердца и души и пошел против правил окружающей среды, установленных людьми опытными, изощренными в умении сделать все, чтобы движение добра, сострадания, милосердия пресекалось в самом начале. И разве старший лейтенант Казаков не заслуживал сострадания и милости? Ведь это был его отец, и, наверное, он любил его, и неизвестно, при каких обстоятельствах тот стал служить немцам, а еще, наверное, были мать, сестры, братья. Все это наворачивалось в сложный ком человеческого горя и страдания как результат проклятой войны. Вот бы где и надо посочувствовать человеку, ободрить, поддержать! Да разве командир взвода Казаков не спас десятки, а может быть, и сотни жизней, удерживая тот «пятачок» под непрерывным минометным огнем и контратаками фашистов. Да, это было так, но... Вот здесь и вступают в силу правила безжалостной диктатуры. Никаких сострадании – все это выдумки поповщины и гнилой неустойчивой интеллигенции! Милосердие могло объединить людей на человеческой основе, а этого нельзя было допустить, это противоречило бы правилу борьбы с врагами, ослабляло продолжение мировой революции! И Сазонов задумался: вот если бы не было этих правил – жизнь была бы проще и честнее. Но он и не предполагал, какие неприятности будут у него с этим злосчастным запросом.

Просмотрев почту на отправку и по старой учительской привычке проверив знаки препинания, он взглянул на часы – шел десятый час. Кругом была тишина, и только шуршала земля, осыпаясь со стен блиндажа, и лесные мыши, прибежавшие сюда на тепло и запах еды, изредка попискивали по темным углам его отсека. Наконец он добрался до объемистой папки с указаниями и распоряжениями своей главной особисткой конторы. К документам Центра он относился трепетно и уважительно. Ему казалось, что там, наверху, собраны самые умные и способные, и только они в самую трудную минуту могут найти решение всех вопросов и, самое главное, предвидеть все действия и события,

подсказать, как поступать дальше. Вчитываясь в чеканные, выверенные слова приказов, ориентировок и их решительный приказной тон, он видел за ними людей суровых, безжалостных и беспринципных в достижении цели. Сазонов и не мог знать, что это был общий стиль, исходящий из штаба единственной правящей партии, и его строго соблюдали все без исключения. Ходила молва, что Абакумову однажды позвонили из Ростовского управления НКВД и сообщили, что задержана его родная сестра за мелкую рыночную спекуляцию, и спросили, как с ней быть? «Поступайте по закону» – таков был ответ начальника военной контрразведки.

Изредка Дмитрию Васильевичу хотелось бы смягчать острые, непримиримые, чересчур напичканные излишней жестокостью приказы, распоряжения, где доза необходимой неотвратимости наказания превращалась в стократное возмездие над массой народа. И вот сейчас он читает приказ НКВД, где предписывается: на территории, освобожденной от фашистских оккупантов, принять все меры по выявлению агентуры абвера, гестапо, полиции и других специальных органов, оставленных, возможно, для проведения в прифронтовой полосе разведывательной, диверсионной и другой подрывной деятельности. И далее шел абзац: «Необходимо выявление лиц, сотрудничавших с оккупантами, и, в первую очередь, полицейских, служащих городских управ, бургомистров, старост, переводчиков, машинисток и других лиц из числа обслуживающего персонала, а также лиц из интеллигенции, принимавших участие и способствовавших установлению оккупационного режима. В отношении всех перечисленных лиц при необходимости принимать меры задержания, допросы, аресты и этапирование на сборные пункты в районные и областные центры».

Дмитрий Васильевич мысленно представил себе прифронтовую полосу, бесчисленное множество деревушек, сел, райцентров и их вконец обнищавших и полуголодных обитателей, одинаково замордованных и обираемых и оккупантами, и партизанами. Их дивизия на своем пути освободила десятки деревень, многие из которых были сожжены полностью или частично, и только кирпичные трубы печей, как бы взывая к добру и миру, сиротливо и настороженно торчали в одиночестве, без тепла и хозяйского догляда. И выходили люди из лесов и оврагов, озабоченно рылись на пепелищах, безучастно смотрели на проходящие войска. Радость освобождения была короткой: сверкнула белогрудой ласточкой и оставила погорельцев наедине с нуждой. В любой стороне пожар расценивается людьми как самое тяжкое несчастье, но здесь на Смоленщине, в лесостепной

стороне, где строевого леса почти не было и не то что бревна – жердей на ограду не добудешь поблизости, – в этих краях была надежда только на землянки. А на пороге уже была осень, и, как след ушедшей войны, над этим краем стоял стон нужды и горя. Немецкие войска, отступая, свирепели все больше и, аккуратно выполняя приказ – оставить позади пустыню, не сжигали дома только там, где наши шли впритык к ним, не давая закрепиться. Но случалось разное. По сведениям малочисленных пленных, команды факельщиков не особенно проявляли рвение в уничтожении селянских домов. Может быть, они понимали, что, сжигая бедные хатенки, они обрекали их жителей на неизменную смерть наступающей зимой. Может, ими двигало отдаленное чувство сострадания к этой плохо одетой толпе стариков, женщин, детей, выгоняемых из домов перед поджогом, а возможно, и липкий страх возмездия.

Читая приказ о совместных действиях особистов и территориальных органов НКВД по выявлению всех, кто служил и прислуживал оккупантам, Сазонов не нашел там указаний о необходимости тщательного подхода к выявленным пособникам, полного и объективного расследования всех обстоятельств и фактов сотрудничества с немцами. Исполнителям приказа предписывалось выявление всего круга пособников без учета каких-либо смягчающих обстоятельств для них. Сазонов до мельчайших деталей представлял, как это будет осуществляться на практике, и уже предвидел, сколько будет наломано дров при выполнении этого жесткого приказа. Ему, как начальнику Особого отдела, хватало своих забот по обеспечению боеспособности дивизии – главной задачи его службы, а тут еще добавится мороки с выявлением пособников, арестами, содержанием под стражей, а спрашивается – за чей счет их надо будет кормить, перевозить, охранять? Об этом в документе ни слова. Мысленно он не одобрял этого приказа, зная, что в результате в их сети попадет мелкая рыбешка, а настоящие волки ушли вместе с немцами. Малостоящая мелочь рассыпалась, разбежалась, притаилась по глухим углам, но были и другие, но, как проигравшиеся картежники, они шли ва-банк и по «липовым» документам напролом перли в полевые военкоматы, надеясь проскользнуть в армию и затеряться для органов НКВД. Многие из них путались на первых же опросах – таких обычно под конвоем определяли к особистам и здесь уже по отработанной схеме проверяли по спискам разыскиваемых лиц, многократно допрашивали и для окончательной проверки направляли в ПФЛ[10], и уже там случалось выявлять бывших полицейских, карателей из зондер-команд, агентов и осведомителей полевой

жандармерии.

Дмитрий Васильевич понимал, что этот приказ вводил новый термин – пособник, и эта категория граждан, причастных к сотрудничеству с оккупационными властями, отныне будет объявлена как злостные и опасные преступники против советской власти. В отношении полицейских, карателей и настоящих добровольных служителей нового порядка было для него все ясно – это были враги, но ведь были и другие, кто служил на обывательском уровне. Все они были причастны к сотрудничеству с новым режимом: кто-то из них пилил дрова, мыл полы, стирал белье, готовил еду, ухаживал за лошадьми, печатал на машинке и делал обыкновенную работу для немцев, чтобы не умереть с голоду, получая крохи за свой труд. По этому приказу все они объявлялись потенциальными преступниками, и неважно, в какой форме это пособничество проявилось, – теперь уже сам факт нахождения на оккупированной территории понимался как прелюдия к преступлению или, в лучшем случае, как неблаговидный факт в биографии любого гражданина.

Обладая небольшим опытом по выявлению фактов пособничества, Сазонов мысленно представил себе, сколько сил и времени нужно потратить на расследование этих дел! И ведь каждый норовит в такой обстановке свою вину уменьшить и в угоду нынешним освободителям наговорить с три короба на соседа. Поди разберись потом с ними, сам черт ногу сломит, пока доберется до первоначалья. Вот здесь пойдет и поедет череда оговоров, лжесвидетельств, сведение давних счетов с соседями, знакомыми! И еще от зависти и беспричинной злости, присущей русской натуре, будут топить друг друга, а потом мыкаться по пересылкам и пополнять лагеря с новой окраской – немецкий пособник. И там уже, на нарах, проклинать войну и немцев, и свою незадачливую судьбину! Когда ему приходилось допрашивать некоторых пособников, он видел в глазах у многих страх, растерянность, раскаяние, у других – плохо скрываемую злость, что вот и пришло время держать ответ! А кто об этом думал вначале – ведь какая силища у немцев была, ну, думали, конец советской власти. А сколько их, наших, пленных, вели с утра до ночи колоннами, только пыль столбом! Так и думали, что вся Красная Армия в плен попала.

Вспомнил он, как однажды каялась и плакала на его глазах чернобровая молодуха-солдатка. Она работала в местной комендатуре уборщицей и сожительствовала с унтер-офицером из охраны; на нее свидетельствовало почти все село.

Молча и безучастно, опустив голову, сидел перед ним бравого вида старик – бывший солдат, участник Брусиловского

прорыва – полицейский кучер, его серые глаза безмолвно говорили о той покорности судьбе, выпавшей на его долю. Виноватым голосом, медленно, но внятно он говорил: «Это правильно, бес меня попутал, но ведь две невестки с ребятишками к нам со старухой пришли из города, а сыновья-то в Красной Армии служат, вот и пошел я к ним. Да если бы я знал, что наши вернутся, разве бы я пошел кучерить туда!» – простодушно пояснял он свой, как ему думалось, нечаянный, а теперь оказалось, роковой поступок в его жизни.

А вот теперь их будут судить и повезут и молодуху-солдатку, и старика-кучера, и многих других, подобных им, куда-нибудь на Урал или в сибирские лагеря, где и затеряется их след для родных и близких на долгие годы, ну а может, и навсегда.

Сазонов, как добряк по натуре, сочувствовал многим из них и считал их пособничество случайным, и, как он думал, оно не заслуживало лагерного наказания, да и какую теперь опасность эти несчастные представляли для советской власти в своих разоренных войной жилищах... Но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Он ощущал дыхание беспощадной карательной машины, она требовала жертв и крови, ее маховик зловеще крутился и остановить его было невозможно! Всем существом он сопротивлялся жестокости к тем слабым и сирым, кого довелось ему встретить на фронтовых дорогах и кто попал под неумолимый каток войны. Но выступить против такого приказа или осудить его ему не было дано – это все равно, что броситься под танк. С большой досадой он черкнул резолюцию на приказе и положил в папку для исполнения.

Другим документом Центра была ориентировка по организации работы с зафронтовой агентурой в связи с изменением стратегической обстановки на советско-германском фронте. Сазонов пропустил несколько абзацев, прославляющих сталинскую стратегию третьего года войны, этим он был сыт по горло, каждое партийное собрание, совещание, политучеба в дивизии, полках начинались с аллилуйских, порядком приевшихся и надоевших восхвалений Его стратегии, глубины замысла по разгрому врага, предвидения победы над врагом и других, принадлежащих только Ему, гениальных качеств вождя и полководца! Было время, когда Дмитрий Васильевич верил этому безотчетно, и только осенью сорок второго, когда был арестован политрук Волков, эта вера была поколеблена.

Агентура и осведомители из среды офицеров неоднократно доносили, что лейтенант Волков в командирском блиндаже батальона, в присутствии своего окружения высказывал соображения о начале войны и ошибках командования, едко

высмеивал лозунги довоенной поры: «Будем воевать только на территории врага», «Сокрушим врага малой кровью, могучим ударом», тысячекратно усиленные пропагандой, кино, книгами и книжонками о непобедимости Красной Армии и ее героях-руководителях – сподвижниках Вождя по гражданской войне, разгрому интервенции четырнадцати государств... И Сазонов, сидя в тесном блиндаже, при свете коптилки читал сообщения агентуры, уже крепко вцепившейся в политрука. Сначала он возмущался резкостью суждений Волкова: было непривычно читать о том, что Красная Армия потерпела поражение от такой маленькой Финляндии, что потери на финской были громадными, а руководство армии не знало методов современной войны, и что нарком обороны Тимошенко, по сути, так и остался на уровне командира дивизии гражданской войны. Пока велась разработка, Сазонов не только возмущался волковскими рассуждениями, он удивлялся и не мог найти ответа, как и откуда могли появиться такие крамольные мысли у студента-второкурсника Ленинградского политехнического института.

За два месяца длившейся разработки он убедился, что его «подопечный» – умный, начитанный, хорошо знающий историю, а по письмам, перехватываемым службой военной цензуры, – нежно любящий сын. Волков был хорошим и душевным товарищем: когда у замполита батальона Черняева умерла жена и по такому случаю ему дали краткосрочный отпуск для устройства двух его малолетних дочерей, офицеры батальона несли Черняеву все, что могло пригодиться для поддержания сирот, Волков передал двухмесячный офицерский доппаек и меховую безрукавку – чем он был богат.

За это же время Дмитрий Васильевич под влиянием суждений политрука незаметно для себя стал по-другому глядеть на действительность: его мысли поколебали уверенность в нерушимости провозглашаемых принципов справедливости и благородства в стране победившего социализма и заставили его взглянуть и оценить своим собственным видением и пониманием многие события. Он постепенно привыкал к рассуждениям Волкова и уже не возмущался уничтожающей критикой, а ловил себя на мысли, что он, сотрудник военной контрразведки, во многом соглашался с высказываниями политрука, но признаться даже самому себе, что он разделяет его взгляды, было страшно. Он сочувствовал Волкову, но не хотел бы быть на его месте, зная, что политрук обречен. Он страшно желал вмешательства какого-то случая, чтобы разорвать петлю опасности и вытащить этого парня из цепких особистских объятий.

Его бывший шеф – Гуськов, как только на Волкова поступили

первые сообщения осведомителей, чутьем опытного «охотника» сразу же распознал и определил, что его подопечный будет постоянно делиться мыслями среди своего близкого окружения, без этого он существовать не может и будет до самого ареста навешивать на себя целый «букет» фактов, и если их слепить воедино, то это будет систематическая антисоветская, подрывная деятельность. Да если еще найдутся один-два человечка, разделяющих или сочувствующих его откровениям, вот вам и антисоветская группа! Кроме того, Гуськов понял, что перед ним доверчивый сынок из интеллигентной семьи, общительный по натуре, правда, к великому огорчению майора, никто из близких политрука не поддерживал, но и не останавливал, не предупреждал об опасности ведения таких разговоров. И он возмущался, что никто из них не дал отпора этому умнику: «Ты понимаешь, никакой реакции?! Сидят эти долдоны с ним в блиндаже и слушают, как завороженные. И никто не возразит ему. А там, понимаешь, из пяти офицеров два партийных, один – кандидат и двое салаг – комсомольцы. Хорошо, что ты одного из них осведомителем сделал, а то бы мы и не знали, что Волков законченный вражина!» Он любил поучать потому, что был начальником, и еще потому, что страдал большим самомнением о своих способностях – распознавать врагов под любой личиной, при любой маскировке и, показывая свой жилистый кулак, перед носом собеседника, говорил: «Я любого человека насквозь вижу. Знаю, чем он дышит, и сразу определю, что он за птица! И скажу тебе, что этого политрука я через месяц под «вышку» подведу! Хочешь, поспорим?! На доппаек за целый месяц, а? Слабо?! Вот увидишь!» Гуськов не хотел никому доверять и сам завел разработку на Волкова. И как-то однажды, показывая Сазонову большой пакет, сказал: «Я как в воду глядел и чуял, что за ним хвост есть; срочно запросил офицерское училище в Свердловске, и вот, видишь, прислали! Он там по наблюдательному делу проходил, и тоже была антисоветская групповая, но, видимо, не хотели пятно на училище бросать, умники этакие, вот и решили профилактировать их, дали им нагоняй, а тут уже и выпуск, и их быстренько на фронт, а дело – в архив. Жаль, что не я училище обслуживал, я бы их всех «куда надо» загнал, чтобы впредь неповадно было никому порочить советскую власть!» И после такой тирады он стал советоваться с Дмитрием Васильевичем, какую дать оперативную кличку по делу Волкова. Делал он это неспроста и, стараясь как-то уязвить подчиненного тем, что тот тоже относится к интеллигенции, начинал издалека, с использованием политических знаний, полученных в кружках по истории ВКП(б) на прежних местах службы. Ссылаясь на Ленина и

Сталина, отчаянно перевирая их высказывания в свою пользу, он утверждал, что Ильич никогда не доверял этим «умникам» и товарищ Сталин, как верный ленинец, выполняя его заветы, тоже не жаловал их, а вот оба они надеялись только на рабочий класс и поэтому диктатура пролетариата будет всегда главной опорой в нашем государстве. И, между прочим, в какой раз Гуськов опять рассказывал, что он потомственный рабочий, что его дед и отец гнули спину на заводе! Тут он здорово привирал. Что касается деда, так тот помер еще в деревне от холеры, а отец ушел из деревни в город и долго мыкался по углам, перебиваясь случайными заработками, пока не нашлось место ученика молотобойца в Самаре, в мастерских промышленника Логунова. Но Гуськов-младший хотел, чтобы его биография была самой пролетарской – зачислял деда в передовой отряд общества и гордился своим происхождением.

Сазонов пытался возразить и убедить своего шефа, что тот ошибается, и приводил примеры, что наши вожди всегда говорили о союзе города и деревни и что нынешняя интеллигенция плоть от плоти... Но его шеф входил в раж, он не терпел возражений – тем более от своих подчиненных – и на высоких нотах, беспрестанно матерясь, кидал своему собеседнику бесчисленные примеры неустойчивости крестьян, слабости этих, которые в очках и шляпах, намекая, что его подчиненный тоже из них. Сазонов обиженно замолкал, а Гуськов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, заглядывая ему в глаза, говорил: «Я тебя позвал посоветоваться, поскольку ты у меня один с высшим образованием. Вот я и говорю, что ты учитель, а он недоученный студент, если бы не война, он тоже был бы с высшим. Вот я и решил предложить тебе на выбор: «шляпа» или «змееныш». Значит, «шляпа» тебе не нравится, это интеллигенцию напоминает. Ну, ладно, не сердись, вот и запишем «змееныш». Жаль, что у него сообщников и сочувствующих нет, а то была бы групповая разработка и красиво звучало – «змееныши»! Пусть пойдет один под трибунал! Жаль, что те, кто его слушал, пойдут только в качестве свидетелей по делу. Была бы моя воля, я бы их всех вместе за недоносительство упек! Вот так, мой «стюдент», учись у кадровых чекистов, как нужно работать, набирайся ума, тебе это все сгодится в будущем!» Гуськов, конечно, не рассказал своему «оперу», что заставило его взять разработку политрука в собственное производство. А сделано это было, чтобы лишний раз отличиться в глазах грозного полковника Туманова – начальника Особого отдела N-ской армии, который как-то недавно на совещании напомнил, что у Гуськова в дивизии мало заведенных дел и нет оперативных результатов: разоблачений, арестов, и

добавил с грубоватой прямотой, что он не потерпит бездельников на ответственных постах и что в его силах превратить любого начальника отдела в оперуполномоченного и послать в батальон крутить хвосты быкам! Гуськов знал, что в его личном деле есть служебное заключение о его виновности в нарушении соцзаконности и, конечно, Туманову подхалимы из кадров на блюдечке преподнесли личное дело Гуськова, поэтому нужен был рывок, чтобы заслужить благосклонность начальства. Но, как это сделаешь, когда его дивизия несла потери, отступала, топталась на месте. А здесь вдруг такой случай – законченный антисоветчик! А кто обеспечил разработку?! И скажут: лично вел дело не какой-нибудь рядовой оперативник, а сам начальник отдела! Вот, глядишь, и удостоится он благосклонного взгляда от Туманова, и перестанут склонять его имя на совещаниях!

Вот с такими радужными мечтами он, забросив остальную работу отдела, только и контролировал поступление агентурных сообщений по содержанию разговоров и бесед с участием Волкова, инструктировал отдельных агентов, как лучше вызвать разрабатываемого на разговор, как лучше вытянуть из него суждения, которые потом легли бы кирпичиками в глухую стену обвинительного заключения, и как выискивать новых свидетелей и устанавливать новые факты и «фактики» преднамеренных действий его подопечного с антисоветским умыслом.

Сазонов, несмотря на тайное сочувствие к обреченному, не смог бы помочь ему, а тот терял контроль над собой. Может, на него повлияло сообщение, что его мать, сестра и тетка погибли при ночной бомбежке, а может, смерть одного из близких, немногочисленных друзей в роте – командира взвода, младшего лейтенанта Парфенова. Он как бы предчувствовал свое несчастье, и осведомление вокруг него сообщало, что он стал замыкаться, и хотя его монологи стали короче, они по-прежнему были наполнены едкой горечью только ему понятной правды.

В это время их дивизия пыталась отбить районный центр Храмцово – красивое, несмотря на серые ноябрьские дни, село с двумя холмами и церковью между ними. Три лобовые атаки двух стрелковых полков развернулись, как под копирку штабного писаря, и немцы, так же как и вчера, как и третьего дня, обнаружив подготовку к атаке, издалека, с закрытых позиций, без передышки, густо обстреливали из орудий наспех, кое-как отрытые траншеи первой линии, где уже гроздьями накапливались батальоны стрелков, готовые по сигналу трех красных ракет атаковать село. Бледнея от страха и смертельной опасности, мысленно крестясь и прося Бога миловать их, под матерный крик отделенных взводных стрелки жались друг к

другу перед броском в вечность. Но сигнала не было – комдив медлил. Огонь противника нарастал, прерывалась связь с ротами, батальонами, и вот уже обезумевшие, оглохшие от разрывов снарядов, без команды, сначала по одному, а потом пачками батальоны, как вешняя вода через плотину, рванулись за вторую линию траншей, бросая раненых и убитых на растерзание неумолимому огню. Кое-как оправившись от смертельного страха, подгоняемые криком, пинками и зуботычинами своих командиров, они судорожно сжимали винтовки; опять ждали сигнала. И вот она – долгожданная ракета красной короткой ниткой, как жизнь фронтовика-пехотинца, сверкнула и исчезла в сером ноябрьском небе. Ну и, повинуясь остервеневшим от страха и злобы командирам, а также от своей обреченности и безысходности, подчиняясь стадному инстинкту – не оставаться одному, быть со всеми, – увлекая примером других, стрелки бежали в первую, почти разрушенную траншею, где еще под мерзлым грунтом шевелились раненые, – но их не замечали, – и вот уже первые выскочили за линию траншей и по мелко заснеженному полю ринулись бегом, как будто в этом было их спасение. Задние уже редкими цепями, тоже бегом, выставив вперед штыки, кинулись за первыми.

Артиллерия немцев почти умолкла, и только отдельные разрывы были слышны где-то сзади. И вдруг в середине гребенки наступающих частей черным частоколом встали разрывы мин, как бы разрезавшие наступающих: передние продолжали идти, а задние залегли под ураганным огнем. Минные батареи, собранные воедино, сосредоточили огонь на трехкилометровом участке по фронту и распахали поле черными взрывами до самого горизонта. Минометный огонь не ослабевал; батальоны, истерзанные огнем, не могли уже преодолеть зону обстрела, сначала залегли, а потом дрогнули и стали откатываться редкими серыми волнами на свои исходные позиции. А в это время было видно, как передние цепи залегли под пулеметным огнем и не могли поднять голов. Изредка кто-то от отчаяния порывался ринуться вперед, но сразу же падал – рубежи немцев были пристреляны заранее. И теперь оставшиеся в живых, используя каждую кочку и бугорок, ползли назад, опять оставляя убитых и раненых позади себя.

Комдив, не меняя тактики, дважды бросал полки в лоб противнику, а тот, ничего не меняя в средствах обороны, в два приема обескровил дивизию. И в третий раз, когда в ротах оставалось по пятнадцать – двадцать человек, комдив с отчаянием и обреченностью еще раз готовил наступление на злосчастное Храмцово. А когда все резервы, включая ездовых из обоза,

комендантскую роту и даже охранное отделение Особого отдела, легко раненых из медсанбата и всех-всех, кто был живой и мог держать винтовку, готовили к третьему, решающему прорыву, представитель из штаба армии получил указание отстранить комдива Чернова от командования и отдать под суд. Дивизию отвели на пополнение, но ее старожилы надолго запомнили и имя комдива, и те подступы к районному центру, обильно политые кровью их товарищей.

Вот как раз в те дни чудом оставшийся в живых политрук Волков, уже на отдыхе, особенно зло прошелся по отстраненному комдиву, а через несколько дней Гуськов вызвал к себе Дмитрия Васильевича и сказал, что сейчас он с ним пойдет арестовывать Волкова. По дороге Гуськов рассказал, что на днях, после командирского совещания, где была зачитана речь Сталина на ноябрьском параде в Москве, Волков высказался в адрес вождя с критикой, мол, сам дал возможность обмануть себя Гитлеру, а теперь готов призвать на помощь великих предков. «Ты понимаешь, Сазонов, какие в нашей армии политруки бывают! Он же опаснее, чем любой шпион или диверсант! Тот – враг, завербованный, а этот добровольно! Разлагает своих командиров, пользуясь их доверием, а ты еще спрашиваешь, был ли военный заговор против товарища Сталина?!»

Арест Волкова прошел буднично, просто. Вызвали его к парторгу батальона, и, пока ждали его прихода, Гуськов, понизив голос, сказал обалдевшему от неожиданности парторгу, что будет сейчас арестовывать опасного врага, совершившего контрреволюционное преступление. В глазах парторга мелькнул страх, и он после этих слов даже подтянул пистолет почти на живот и, как завороженный, глядел на Гуськова.

Когда в низенькую прокопченную железную землянку вошел политрук и, не замечая в темноте особиста, подошел к импровизированному столу из двух снарядных ящиков, где сидел перед коптилкой парторг, насмешливо громко спросил: «Ну, Коробов, ты меня оторвал от трапезы. Наш взводный Валюков проиграл мне на пари банку тушенки, и, только мы решили ее рубануть, ты позвонил».

Он не успел окончить фразу, как Гуськов, выйдя из темноты, суховато, деловым тоном сказал:

«Лейтенант Волков, вы арестованы...»

Политрук от неожиданности забормотал: «За что? Кто вы?!.»

«Я начальник Особого отдела дивизии майор Гуськов. Сдайте удостоверение и оружие старшему лейтенанту Сазонову...» – «Я хотел бы знать, какое я совершил преступление, чтобы меня арестовали?!» Гуськов вытащил заготовленный ордер на арест и

обыск. Волков скользнул глазами по бумаге и снова спросил: «Так здесь не сказано, за что...» – «Все узнаете потом, во время следствия». – «Какого следствия, я ни в чем не виноват!» – «Следствие разберется во всем, а сейчас сдайте партбилет Коробову и пойдете с нами». – «А что, меня из партии исключают?» – «Если следствие установит вашу виновность». – «Но ведь это должно решать общее собрание». – «Обязательно, – с издевкой в голосе бросил Гуськов и добавил: – А сейчас ваш парторг и замполит полка дали согласие на ваш арест». – «Ну, а как же мои вещи, письма?!» – «Сейчас пошлем кого-нибудь в роту». – «Но я хотел бы сам...» – «Нет, Волков, посидите с нами, вещи ваши принесут», – уже жестко сказал Гуськов.

Через полчаса они вышли с Волковым: впереди шел Гуськов, за ним чуть побледневший политрук с маленьким чемоданчиком и позади них шел Сазонов, пораженный будничной обстановкой ареста человека, мысли и чаяния которого он тайно разделял! И теперь, подавленный случившимся, шел за ним, чувствуя угрызения совести и оправдывая себя тем, что инициатива разработки и ареста были в руках его начальника. Но это было слабым утешением для совестливого Сазонова. И он надолго запомнит этот хмурый ноябрьский день, холодные руки арестованного, из которых он принял его оружие, – из рук уже бывшего боевого офицера, бывшего политработника, а ныне подследственного – гражданина Волкова.

И сейчас Дмитрий Васильевич невольно вздрогнул, вспомнив, что Волков трибуналом дивизии был осужден к десяти годам лишения свободы. Десять лет! Это звучало как вечность. Он еще надеялся, что бывшего политрука отправят в штрафной батальон, как это обычно было с осужденными в действующей армии. Сазонов думал, а вдруг еще разберутся, и что-то изменится – он не знал, что циркуляром Военной коллегии Верховного суда СССР по всем военным трибуналам было предписано: «...лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава, в действиях которых установлены признаки преступлений, предусмотренных ст. 58 УК РСФСР, подлежат направлению для отбытия наказания только в исправительно-трудовые лагеря НКВД СССР...» Никакой надежды, что Волков может смыть кровью свое преступление перед советской властью, не оставалось – только лагерь и долгая «десятка». Эта статья не подлежала никаким амнистиям и помилованиям. Гуськов, потирая руки, говорил: «Мало ему дали, но ничего, «десятка» тоже неплохо. Если жив останется, будет долго помнить и другим закажет, как антисоветчиной заниматься! Вот, Сазонов, такие дела! Правда, я тебе доппаек проспорил бы, на «вышку» он не потянул, но ты сам спорить

отказался».

* * *

Время близилось к полуночи, и Дмитрий Васильевич чувствовал, как усталость подкрадывается от самых ног к шее; ему казалось, что и свет от лампы стал хуже, и глаза стало ломить от беспрерывной внимательной читки. На душе вроде все было покойно, но, вспомнив про своего заместителя, он почувствовал горечь досады. Как ему недоставало надежного, открытого, близкого по духу человека! Но все предыдущие и сегодняшний день показали неуживчивость, мелочность натуры Бондарева. И опять вспомнил многое, чему раньше не придавал значения – его дружбу с начальником политотдела дивизии майором Кузаковым, недавно переведенным из аппарата Члена Военного Совета N-ской армии. Ходили слухи, что он долгое время был порученцем у Члена Военного Совета генерала Кудрявцева. Время и должность наложили отпечаток даже на его внешность. В присутствии начальства – почтительно согнутая спина, лицо с полуулыбкой и глаза с выражением выжидательной услужливости и почтительности, как у матерого старшины-служаки на инспекторской проверке.

Непонятно почему, но Кузаков искал дружбы с Сазоновым. Он побаивался всеведущих органов и осторожно заискивал перед Сазоновым, а тот не обращал на него внимания и держался с ним ровно, без проявлений дружбы. С появлением Бондарева в отделе Кузаков стал частенько забегать к нему в блиндаж, и Бондарев тоже проторил к нему дорожку и бывал в политотделе чаще, чем этого требовала его служба. И Дмитрий Васильевич не обращал бы на это внимания, если бы не деликатный намек начштаба Лепина на эту странную дружбу двух старших офицеров. Ларчик просто открывался – Бондарев хотел быть начальником отдела, и как можно скорее. Он не мог согласиться с тем, что политически малограмотный капитан руководил им, майором, имевшим опыт политработы, и не где-нибудь, а в политотделе корпуса! А то, что у него не было опыта и знаний по оперативной работе армейской контрразведки, об этом он даже не думал и надеялся, что у него будет заместитель и оперативный состав, и это они должны заниматься выявлением шпионов и врагов, осведомлением, агентурой, разработками, арестами и прочими делами, возложенными на особистов во фронтовых условиях, а он – осуществлять общее руководство отделом, представлять его на совещаниях, партсобраниях, различных активах командно-

политического состава, говорить там жестко, но умно, политически грамотно и по-партийному выдержанно: с критикой, указанием недостатков, постановкой общих задач с учетом сложившейся обстановки и объяснением всех недочетов боеготовности единственной причиной – недостаточным политвоспитанием, недоработкой парторганов и комсомола в ротах и батальонах с личным составом. Так, или примерно так, Бондарев представлял себя на должности главного особиста дивизии, и Кузаков ему был нужен как союзник против Сазонова. Он надеялся, что начальник политотдела в своих донесениях благодаря их дружбе сможет разок-другой указать на безукоризненное поведение коммуниста Бондарева, на политически зрелую подготовку, с учетом работы в корпусном политотделе, и вытекающий отсюда пример коммуниста-руководителя в офицерском корпусе дивизии! Кузаков знал, что кроме указанных качеств его продвиженец должен отличиться на своей службе, а об этом обычно сообщает руководству его непосредственное начальство – капитан Сазонов, и никто больше. Но Бондарев пока ничего героического и выдающегося не совершил: успехи в разоблачении шпионов и других подрывных элементов за отделом не числились, а мелочь в виде дисциплинарных проступков среди личного состава была не в счет. Кузаков откровенно объяснил сложившуюся ситуацию и порекомендовал Бондареву добиться у Сазонова такого задания, которое при его выполнении имело бы успех и значимость в оперативной работе отдела. И тогда Кузаков смог бы через свои связи в военсовете и политотделе армии способствовать Бондареву в достижении намеченной цели.

Кузаков, в свою очередь, рассчитывал на то, что «продвинутый» им Бондарев будет сохранять лояльность к нему и поможет оказать влияние на командира дивизии и оттолкнуть его от умного, но иронично настроенного к политорганам начальника штаба Лепина. О сговоре, замыслах и планах этих двух Сазонов в ту ночь еще не знал, но предубеждение против Бондарева у него уже сложилось. И только сейчас, в глухую полночь он признался себе, что «ненаглядный» – так окрестил он своего зама, вложив в это слово горькую иронию обманутых надежд, никогда не будет его близким другом. Представить себе, что он стал бы обсуждать с Бондаревым те спорные вопросы о ходе войны, излишней жестокости в тылу и на фронте, и к своим пленным, необоснованной подозрительности ко всем, кто был на оккупированной территории, он не мог ни в коем случае. Никаких откровений и рассуждений с ним и больше спроса по работе! Вот тогда у него будет меньше времени бегать в

политотдел, решил Дмитрий Васильевич.

И с чувством облегчения он настрочил длинную резолюцию, где возлагал на Бондарева исполнение приказа Главного управления «Смерш» по подбору и использованию зафронтовой агентуры на территории противника. В этом приказе была изложена главная задача – получение разведывательной информации о системе обороны вермахта, но для этого нужны были хорошо продуманная система и способы проникновения на прифронтовую территорию противника, легализация исполнителей, а затем сбор разведданных и передача их в Центр. Но главное – были нужны исполнители. А где их взять, таких, каких требовал Приказ: проверенных, умелых, морально устойчивых, преданных партии и правительству?! И опять, вспомнив своего «ненаглядного», он представил себе, как тот приступит к выполнению приказа, не имея опыта в этом деле. «Пусть побеспокоится, побегает, посидит. Подумает, займется делом, может, и встанет на путь истинный, – думал Сазонов. – И сам себе отвечал: – Может и исправится, но шансов очень мало – испортила его служба в облисполкоме и в политотделе!» Потом Дмитрий Васильевич достал еще приказ своего фронтового управления, где указывается на необходимость выявления агентуры противника, внедренной в отряды партизан, перешедших линию фронта из оккупированных районов в связи с активизацией карательных действий гитлеровцев на территории Белоруссии. Он устал читать о том, как и где нужно вести опрос партизан, что нужно было заполнить в опросном листе на подозреваемых лиц с последующей отправкой этих листков в полевые фильтр-лагеря вместе с подозреваемыми. Все было расписано четко и гладко, но не было указано, где капитан Сазонов возьмет столько единиц оперативного состава, чтобы выполнить этот приказ, а ведь сколько времени потребуется на эту писанину!

Но вот папка приказов опустела, и Дмитрий Васильевич начал читать последний, где на его отдел возлагалась тяжелая и кропотливая работа: «…учитывая положительный опыт в отдельных эпизодах по использованию маршрутной агентуры для выявления среди пополнения, которое направляется в действующую армию, лиц, вынашивающих изменнические настроения по переходу на сторону врага, а также с преступным прошлым, склонных к неподчинению командирам, азартным играм, разбою, мародерству, кражам и т.д., как показала практика, предварительное изучение контингента пополнения в запасных полках, маршевых ротах способствует выявлению и предупреждению преступлений в действующей армии, ее тыловых

частях и усилению их боеспособности!..» И он с интересом прочитал главную часть приказа – приказную, где предписывалось составить план подготовительных мероприятий, заполнить от руки карточки на завербованных агентов-маршрутников и направить их в учетные подразделения фронтовых управлений Особых отделов, а самих «маршрутников» в зависимости от обстоятельств под соответствующими легендами внедрять в пересыльные пункты, полевые военкоматы, резервные подразделения, учебные полки и батальоны. А дальше шел абзац о том, с кем из армейских начальников нужно было согласовывать командирование «маршрутников». И в конце приказа очень строго: «...докладывать по результатам мероприятий ежемесячно во Фронтовые Управления особистов».

Сазонов мысленно одобрил авторов приказа. Уж ему-то не знать армейских уголовников! Они прошли перед ним как задержанные, арестованные, подследственные, и ни один из них не вызывал у него симпатий и сожаления. Внешне, а больше внутренне, они походили друг на друга: жестокие, злобные, жадные. Многие из них – бывшие деревенские, испорченные тяжелым, неквалифицированным и непривычным для них трудом на многочисленных стройках, неустроенностью, беспризорностью, жуткими барачными нравами, воровскими компаниями, искалечившими их тела, нрав и души. Как и их предки, они не любили любую власть и ее законы и относились к ним без уважения, но и власть отвечала взаимностью, а ее законы с излишней жестокостью гнули и ломали, не оставляя им надежды на прощение или смягчение их вины. Только страх перед неотвратимостью наказания заставлял многих из них подавить в себе вольницу, подчиняться командирам и безропотно нести тяжкий крест солдата войны.

Была уже полночь. Закончив просмотр бумаг, довольный, что ему никто не помешал – телефон молчал, никто не приходил, не отрывал его от этого нудного, но необходимого занятия, – он вышел из блиндажа. Небо наполовину очистилось от косматых туч и поблескивало далекими звездами. Где-то далеко, на левом фланге, катились отблески осветительных ракет, стояла тишина, но она была тревожной и пугающей из-за близости фронта.

Мысленно он был благодарен тем, кто сейчас, в эту февральскую ночь, мерзнет в боевом охранении на переднем крае, в холодном окопе, ожидая очередную смену, вглядываясь в темноте зимней ночи в ту сторону, где тоже солдаты, только в другой форме, томились ожиданием смены, мерзли и так же напряженно вслушивались в окружающее их безмолвие лесов, болот и белого снега чужой страны. Вернувшись в блиндаж и уже

засыпая, он вспомнил, что уже давно не получал писем от матери и своей сестры Вари; пытался представить их лица, но сон внезапно одолел его сладостью мягкой тьмы, и он ушел в него мгновенно и без остатка.

Глава VI
РАССЛЕДОВАНИЕ

Лейтенант Кулешов, получив указание Сазонова, прежде всего пошел в полковую санчасть. Натоптанная среди хмурых елей тропинка привела его к землянке. На ее дощатых дверях солдатский умелец черной краской нарисовал медицинскую эмблему, где над несоизмеримо маленькой чашей очень выразительно, почти с улыбкой косил глазом громадный змей, как бы ободряя всякого входящего в единственную мирную обитель на территории полка. Фельдшер Мячин, здоровенный верзила из вятских лесов, знал личность полкового особиста, да и кто не знал его в полку! Новичкам из пополнения старожилы показывали его как достопримечательность и с чувством упрятанного страха и уважения к органам говорили: «Вон, видишь, пошел с планшеткой на боку – это наш особист» – так в полку за глаза звали теперь Кулешова – «планшетом», вкладывая в это слово потаенный смысл притягательной тайны и секретности и неотвратимой карательности органов. Вот и Мячин, польщенный неожиданным приходом особиста, засуетился, усаживая его на табурете, лицом к единственному окну в землянке, а сам стал готовить инструменты. Сильно окая, он сообщил Сергею Васильевичу, что он в этих делах мастак и у них в районе лучше его никто зубы не рвал.

– Вон у меня в заначке имеется новокаин, и я вам, товарищ лейтенант, сделаю укольчик, и все пройдет как по маслу! – Когда Мячин сделал первый раз надрез десны, Кулешов не слышал боли и только потом почувствовал ее, когда фельдшер, делая зверское лицо, пытался щипцами вырвать зуб, приговаривая: «Я счас его сковырну».

Но ни сейчас, ни потом он не мог ничего поделать. Оба они взмокли, в землянке резко запахло потом. И когда, наконец, Мячин нечеловеческим усилием, чуть не свернув шею Кулешову, рванул в последний раз, тот почувствовал хруст разрываемой плоти и одновременно услышал торжествующий крик Мячина: «Вот он, голубчик, выскочил...», который показал измученному пациенту окровавленный, с коричневыми подпалинами зуб с тремя корнями. И уже ополаскивая рот, Кулешов языком натыкался на непривычную пустоту с правой стороны, но боль исчезла. Эту благодать он почувствовал гораздо позже, а сейчас поблагодарил Мячина и двинулся к себе в блиндаж.

Помня указание своего шефа, он набросал черновик плана

для выяснения обстоятельств утреннего ЧП. Мысленно рассуждая, он прокрутил несколько вариантов расследования: допрашивать комвзвода снайперов лейтенанта Васькова было бесполезно – наврет с три короба, наговорит – за целый год не разберешься. Кулешов вспомнил, как на ускоренных «смершевских» курсах лектор – седой, с добродушным лицом, из бывших прокурорских работников, читая им куцый курс по ведению расследований, говорил, что начинать нужно с широкого круга лиц – свидетелей происшествия, постепенно сужая, и получая разные косвенные сведения, приступать к опросу подозреваемых. И, кажется, этот метод назывался (Сергей Васильевич долго вспоминал мудреное слово и наконец вспомнил) – дедукция: это когда нужно двигаться от периферии к центру расследования. Он так и поступил. Через полчаса у него в блиндаже сидели помкомвзвода сержант Фетин и старшина взвода, черноглазая татарочка Санида Ахтямова. Сергей Васильевич, уже оживший от невыносимой боли, начал беседу с Ахтямовой. Как и большинство вызываемых в Особый отдел, она заметно волновалась, и волнение ее усилилось, когда он с нарочитой серьезностью предупредил ее о последствиях за дачу ложных показаний. Она взволновалась еще больше и, уже не сдерживая себя, на первый вопрос о том, что ей известно о случившемся ЧП, заговорила быстро, комкая в руках маленький платочек: «Товарищ лейтенант, во всем виноват Васьков, это он послал Зину и Любу, – но, спохватившись, исправилась, – то есть, ефрейтора Жукову и рядовую Ковалеву в наряд, а они только под утро приехали с торжественного вечера из штаба армии и не успели отдохнуть; лейтенант Васьков приказал поднять их, вот и сержант Фетин может это подтвердить, они вместе с Васьковым их в наряд на позицию отправляли. И еще, скажу вам, товарищ лейтенант, – и она, понизив голос, скороговоркой поведала Кулешову, что Васьков, как известно не только ей, но и другим девушкам из их взвода, приставал к Жуковой, уж больно она нравилась ему, она такая красивая и статная, а он против нее мозгляк немытый и все хотел добиться ее, и обещал даже жениться, но она говорила: «Хоть золотом меня осыпь, но за такого не пойду никогда». А он сначала по-хорошему, а потом лютовать стал: начал придираться по службе и по результатам выхода на боевые позиции, по боевой подготовке и разным другим делам. А накануне Дня Красной Армии к ним во взвод пришел замполит полка капитан Федулов, велел построить личный состав и сказал, что командование полка решило поощрить двух отличников боевой и политической подготовки приглашением на торжественный вечер и товарищеский ужин в штаб армии. Во взводе была такая пара –

сержант Попова и рядовая Хрюкина. У них результаты на поражение были самые высокие во взводе. Они и были представлены Федулову, но он поморщился – уж больно обе они были неказисты на вид и не понравились ему, и тогда он подошел прямо к ефрейтору Жуковой и выбрал ее, как все поняли, за симпатичность и за фигуру, и потом хотел выбрать еще одну, но тут Жукова и сказала, что, мол, товарищ капитан, мне лучше поехать со своей боевой напарницей по наряду, она, говорит, у меня наблюдательница. А он еще спросил, что это, она за тобой наблюдает, что ли? А Зина объясняет, – когда они с ней в паре выходят на позицию, она стреляет, а та ведет наблюдение. Тут капитан согласился и дал команду собираться им обеим.

Если бы у Кулешова были возможности и время, он, наверное, добрался бы до главного виновника того утреннего ЧП. Им, сам того не ведая, был майор политотдела армии Борис Волков. Ему и была поручена организация торжественного вечера. Ожидался приезд высоких гостей из штаба армии. Накануне его начальник, читая сценарий предстоящего торжества, отметил его добротность и задушевным баритоном пояснил, что здесь все предусмотрено, и даже выступление артистов из Москвы, но вот президиум надо оживить присутствием красивых женщин, да и командарму нашему будет приятно посидеть с хорошенькой мордашкой в президиуме. И тут же дал команду срочно звонить в дивизионные политотделы и узнать, что у них там есть по «бабской» части, и самых хорошеньких доставить сюда, а мордоворотов пусть оставят себе! Вот таким образом привлекательную Зину Жукову и еще полтора десятка девиц собрали из полка связи, двух полевых госпиталей, военторга и из радиороты службы ВНОС[11].

Третий год войны вместе с победами закрепил в Красной Армии единоначалие, образовав повсеместный культ командира, и, чем выше чин, тем больше почестей и поклонения от окружения. Слепое азиатское подобострастие перед генералами и старшими офицерами и отсутствие воспитания породили у многих из них вседозволенность, хамство и грубость по отношению к подчиненным. Именно в то время каждый из них сумел под разными предлогами заполучить в «личное» пользование фельдшера, санинструктора, радистку, официантку из числа военнослужащих женщин – в основном, по обоюдному согласию и редко такое сожительство было вынужденным. Об этом знали все: в верхах, в окружении – это было предметом острот, добродушных насмешек, сочинительства солдатских баек о постоянно-полевых женах, именуемых для краткости ППЖ.

Кулешов, конечно, хорошо знал об этом и располагал

многими данными по этой части на командира полка майора Григорьева, двух комбатов, но никогда и никому об этом не докладывал, считая, что это дело тонкое и личное и собирать сплетни на командиров своего полка он никогда не будет. И он предвидел, чем закончится история, изложенная Ахтямовой, а она продолжала рассказывать, что вечер в штабе армии затянулся, и особенно долго шел товарищеский ужин, вот почему Зина и Люба приехали уже под утро, разбудили нас и конфетами угостили, а потом не проспали и двух часов, как пришел сержант Фетин, разбудил их и сказал собираться в наряд, на позицию. Зина-то сначала было заупрямилась, а Люба, более покладистая, и говорит ей, мол, Васьков житья не даст, если мы будем упираться. Потом они одели экипировку, маскхалаты, взяли винтовки и пошли на развод к Васькову.

Так были выяснены обстоятельства, предшествовавшие похищению снайперов.

Сергей Васильевич к концу дня уже опросил многих из взвода, и теперь подошла очередь Васькова. Его долго разыскивали, и вот он вошел в блиндаж и действительно оказался щуплым на вид, с тонкой шеей, веснушчатым, унылым лицом. Теперь Кулешов, располагая почти полными сведениями о случившемся, наблюдал за Васьковым и старался подавить в себе неприязнь к нему. Он считал, что снайперов выкрали только по вине комвзвода. Но тот оказался крепким орешком – обладая изворотливым умом, несмотря на свой унылый вид и неказистость, защищался с завидным упорством и спокойствием. Он отверг все: и приставания к Зине Жуковой, и показания других свидетелей, и все факты несправедливого отношения к ней. «Товарищ лейтенант, поймите, меня решили оговорить, условились меж собой, и особенно эта татарка Ахтямова, выступает как заводила только потому, что я был требователен ко всем, и к ней особенно. Матчасть она знала плохо, от занятий сачковала, снабжением не занималась, и мне приходилось во все вникать: и насчет мыла, и ваты. Сами понимаете, женщины они взрослые… Я, конечно, извиняюсь, что назвал ее татаркой. Вы правильно сказали – национальность здесь ни при чем. Я просто оговорился». Долго еще Кулешов склонял Васькова признать вину. Давно уже закончилось совещание в дивизии, и Сазонов пересмотрел десятки разных бумаг, и дважды сменились часовые у блиндажа, а он, зачитывая отдельные места из разных протоколов опроса, уличая взводного в том, что он лукавит, пытаясь все свалить на свою требовательность к личному составу взвода, медленно продвигался по пути убеждения Васькова в его виновности.

Кулешов решил закончить опрос и перенести на утро очные ставки с другими свидетелями, а заодно дать возможность комвзвода подумать и осознать, что запирательство бесполезно и все говорит не в его пользу. Он отпустил Васькова и почувствовал усталость, накопившуюся за весь, почти шестнадцатичасовой день, хотя и счастливый тем, что зуб ему вырвали, а при обстреле пострадал только один младший лейтенант. И, пытаясь вспомнить его фамилию, он мгновенно уснул.

Глава VII
ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ОТДЕЛА

Сазонов проснулся за полчаса до подъема. Его ординарец, рядовой Егоров, завхоз городской школы в своей довоенной жизни, не старый, но и не молодой – где-то чуть за сорок, состоял у капитана уже несколько месяцев; он был очень спокойным и неторопливым в быту, все делал медленно, но основательно и аккуратно. Он хорошо изучил привычки капитана. Вот и сейчас деликатно постучал в дверь – принес горячую воду для бритья. Мурлыкая под нос свою любимую бернесовскую «Темную ночь», Сазонов побрился. Потом Егоров вынес жестяной тазик и, обтерев его насухо тряпицей, спрятал в коридорной нише, и спросил, нести ли завтрак сюда, в блиндаж, или капитан пойдет в штабную столовую. От деликатности, предупредительности ординарца всегда отдавало домашним уютом, забытым за время войны. Дмитрий Васильевич любил свой блиндаж и предпочитал, чтобы ему приносили еду в его отсек.

А пока он сел за вчерашние бумаги, перечитывая на свежую голову начертанные им резолюции. Потом достал из сейфа отчет о работе отдела за последние шесть месяцев предыдущего года, сделал себе пометки в блокноте и мысленно представил себе предстоящую проверку его отдела. Она не страшила – дела у него были в порядке, благодаря Калмыкову делопроизводство велось по всем правилам, а вот по части выявления, разоблачения и арестов истинных врагов успехов почти не было.

На оперативных учетах имелось около десятка наблюдательных дел, куда входили и два офицера, побывавшие до войны за границей по служебным делам. Согласно инструкции НКВД, с середины тридцатых годов все лица, исключая только номенклатуру партсоветского аппарата, побывавшие за границей, брались на учет органов. Несколько офицеров проходило по показаниям арестованных по линии Наркомата обороны в период большого кровопускания в армии за тридцать седьмой год – их след обрывался в то же время, и из дел нельзя было понять, живы ли они и находятся в местах заключения или погибли там же.

Было еще одно интересное «дельце», полученное из НКВД по Московской области. Сотрудник отдела СПО[12] не поленился разыскать воинскую часть и направить соответствующие бумаги на фронт, по месту службы инженера-майора Собинского Богдана, командира дивизионного батальона саперно-инженерной службы, любимчика командира дивизии за техническую образованность и

исполнительность. Инженер-майор попал на оперативный учет потому, что его жена когда-то училась в гимназии с бывшей машинисткой из секретариата Л.Д. Троцкого. Сама машинистка была давно уже где-нибудь в женском Каз– или Карлаге, а перечисленные ею близкие и знакомые попали в картонные папки и ждали своего часа.

Кроме того, в производстве у капитана было десятка полтора дел оперативной проверки по проявлениям антисоветской агитации, где, в основном, проходили рядовые солдаты и изредка сержанты – бывшие колхозники; они продолжали в своем солдатском кругу по простоте душевной ругать установленные властью порядки, колхозы, колхозное начальство, вспоминали прежнюю жизнь во времена нэпа, когда новая власть чуть отпустила вожжи, чтобы потом перезапрячь, затянуть хомут на долгие годы по всей крестьянской России.

Среди этих проверок была только одна, которую Сазонов лично контролировал и не доверял никому из оперсостава. В третью роту второго батальона 464-го полка из госпиталя с пополнением поступил рядовой Панов Георгий, работавший на «гражданке» на железной дороге, стрелком в военизированной охране. Назначили его вторым номером в пулеметный расчет. Пулеметчики – народ дружный, это не то что стрелки в роте: кто в лес, кто по дрова. В пулеметный взвод подбирался, в основном, народ грамотный, бывалый и надежный. Примерно по кругу на каждого приходилось 5—6 классов школы, половина расчетов из госпиталей, ранее побывавшие в боях за Калинин, Смоленск, где воевала их дивизия. Командир роты всегда должен был заботиться о своей огневой поддержке, а пульвзвод – это серьезная подмога для стрелков. Кто, как не они, прикроют в ближнем бою наступающую роту! Хороший, меткий пулеметный огонь не только поддержит бросок наступления, он вынудит противника на короткое время прятаться за бруствер траншеи и тем самым ослаблять свою стрелковую мощь. Перед атакой, как это было заведено в пехоте, командир роты забегал к пулеметчикам и, обнимая их командира, говорил, обращаясь к ним: «Орлы-пулеметчики, не подведите меня сегодня!» И они не подводили – каждый из них знал пулемет назубок, с закрытыми глазами мог собрать и разобрать его. Вот за это и уважали Панова Георгия, что он за короткий срок освоил матчасть и, хотя был вторым номером, стрелял отменно, и его уже определили первым номером в расчете. Был он человеком неболтливым, но однажды, во время одной выпивки, Панов в присутствии командира отделения и его друга-земляка из соседней роты высказал в сердцах свое сокровенное, потаенное, что его так мучило

несколько лет. И надо же такому случиться – земляк командира отделения, в котором служил Панов, был секретным сотрудником отдела под псевдонимом Курок. А случилось все это еще в бытность Гуськова. Он передал Сазонову сообщение с резолюцией: завести дело и готовить к аресту. Милосердная судьба дала шанс пулеметчику жить и воевать потому, что Сазонов взялся за проверку сигнала основательно. Агент Курок, завербованный на идейной основе в сорок втором году в запасной полк, судя по делу, был опытным и грамотным человеком. В своем сообщении он доходчиво и убедительно изложил беседу с Пановым: «Источник сообщает, что среди нас был пулеметчик Панов, и, когда мы заговорили о гражданской жизни, Панов сказал, что все было бы хорошо, если бы не эта (выругался матом) советская власть. Прихожу в караульное, рассказывает он, а радио все время твердит, что жизнь стала лучше и веселее, потому что партию ведет наш дорогой товарищ Сталин – верный соратник Ленина. И вот я слушаю целую смену в карауле, аж голова пухнет от всех этих похвал советской власти и нашему незабвенному Иосифу (тут он опять нецензурно выругался в адрес нашего Верховного Главнокомандующего и Генсека ВКП(б) и добавил, вот, мол, не скажут по радио, что посадили моего дядю Митю, работящего мужика, он у нас в вагонном депо слесарем работал, партийный был, ему еще мой тятенька говорил, – не вступай, не лезь ты в этот омут. Не послушал, и в аккурат после Крещения, в январе тридцать восьмого года его и загребли! А перед этим все начальство нашей пензенской «железки» арестовали. Жуть, что делалось в городе – «воронки» по ночам так и шныряли (и опять выругался матом). Однажды сижу утром в своей караулке, сменщик пошел за кипятком, а радио опять «бу-бу-бу» и снова про то, как мы хорошо живем и как наш народ любит нашего вождя. И тут я не выдержал, выхватил наган и начал стрелять по репродуктору, пока он не замолчал. Потом, помнится, дверь открыл, караулку проветрил, а репродуктор хлебным мякишем заклеил и на место повесил, а сменщик мой пришел и ничего не заметил...»

Дмитрий Васильевич знал своего начальника и его страсть к арестам, но сначала он тщательно проверил Панова по всем оперативным учетам, включая и милицейские, но тот был чист и непорочен как младенец. Потом дважды через агента Курок устраивал встречи с Пановым, но судьба хранила пулеметчика – то ли настроение у него было мирное, или беседа пошла по другому руслу, но агент ни разу не смог выудить у него вражеских высказываний! Если бы это был просто оперативный сигнал, то Сазонов после проверки отправил бы в литерное дело

как проверенный материал, и лежал бы он там до скончания века, но по факту такого острого, почти террористического высказывания, с нецензурными словами в адрес Верховного, – тут Сазонов был обязан завести дело оперативной проверки и зарегистрировать в учетной группе. Поэтому оно лежало в его сейфе, а руки не доходили, чтобы провести дополнительную проверку и снять этого бедолагу с оперучета. Сазонов сочувствовал пулеметчику еще потому, что в последних боях тот остался жив и был представлен к ордену Славы 3-й степени.

На завтрак была концентратовая гречневая каша. Егоров достал сливочное масло и пачку печенья, полученные по дополнительному офицерскому пайку, намазал два куска хлеба и поставил стакан с потемневшим, посеребренным подстаканником – подарок, присланный на фронт от коллектива женщин какой-то инвалидной артели.

После завтрака к нему зашел Бондарев. Хмурый, тяжелый взгляд его ничего хорошего для окружающих не предвещал. «Чем же мой «ненаглядный» так недоволен?» – подумал про себя Сазонов и, находясь в хорошем и благодушном настроении после съеденного завтрака, никак еще не мог понять причин, почему его зам сидит у него молча, от предложенного чая отказался. О вчерашнем происшествии и стычках с ним Дмитрий Васильевич уже почти забыл, но Бондарев помнил и с горечью и ненавистью вспоминал минометный обстрел, снисходительный тон его начальника к нему, как к необстрелянному новичку, и, продолжая распалять свою память обидой, он уже не только презирал, но и ненавидел своего шефа за все, что было в нем, и даже за его снисходительность к нему лично!

Ни о чем не подозревая, Сазонов как ни в чем не бывало, со свойственным ему добродушием поделился своими соображениями относительно предстоящей инспекции отдела. А «ненаглядный» сидел и сопел в безмолвии, и был безучастным, да и что он мог посоветовать Сазонову со своим опытом работы. Одна мысль у него была: сколько еще Сазонов будет его начальником. Поэтому он механически согласился с поручением Сазонова на просмотр литерных дел на все части дивизии и первичных сигналов, поступающих оттуда от оперработников. Его шеф знал уязвимые участки работы отдела, и именно там проверяющие могли наковырять недочеты, недостатки в проверке сигналов, обеспечения осведомлением для предупреждения возможных проявлений, подрывающих боеспособность дивизии. Подробное обсуждение всех вопросов по предстоящей проверке, протекавшее при молчании и безучастности Бондарева как монолог-инструктаж, как-то задело самолюбие Дмитрия

Васильевича. И еще он обратил внимание, что тот не делает себе никаких записей, тогда как раньше он это делал всегда. И подумал сделать ему замечание, но воздержался: «Все равно придет час, и я с него спрошу все сполна, вот тогда я ему и припомню». И с каким-то злорадством он движением руки остановил майора, собиравшегося уходить, вынул приказ Центра и дал ему ознакомиться, а сам сел за стол и углубился в свои бумаги, лишь изредка наблюдая за «ненаглядным» и получая полное удовлетворение от принятого решения подкинуть тому настоящее занятие.

Через полчаса Бондарев осилил текст приказа и ознакомился с резолюцией, что выполнение мероприятий возлагалось на него, он заметно сник, на выпуклом лбу выступил пот. Шевеля губами, он еще и еще, несколько раз, перечитывал длинную резолюцию Сазонова. Как ему хотелось в этот момент, чтобы все было наоборот и чтобы он был начальником отдела, сидел бы за столом, а этого капитанишку он бы не посадил за стол, а, как положено по уставу, поставил бы по стойке «смирно» и дал ему короткую команду на выполнение его, бондаревского, как начальника Особого отдела, указания. Он посмотрел бы на Сазонова, этого ничтожного типа с либеральными замашками, панибратствующего со своими подчиненными! Нет, если он будет начальником, у него все будет по-другому! Он наведет здесь порядок! И взгляд, полный глубокой неприязни и растерянности и к своему начальнику, и приказу, который он держал в руках, трудно было спрятать, и Сазонов наслаждался этим зрелищем. Потом, быстро обретя спокойствие и напустив серьезность, пояснил своему «ненаглядному», что, работая по этому приказу, можно отличиться; подбор агентуры для зафронтовой разведывательной работы в настоящее время – одно из главных направлений работы контрразведки, чрезвычайно ответственных и сложных в выполнении указанных заданий, и находится под контролем начальника Главного управления «Смерш» товарища Абакумова, а в выполнении этого приказа заинтересованы все – от комдива до командующего фронтом. И, желая подсластить пилюлю и ободрить сникшего было майора, он добавил: «Если все пройдет благополучно и с результатом – готовьте, Алексей Михайлович, дырку для ордена!» Бондарев как-то криво и неуверенно улыбнулся, но Сазонов понял, что честолюбие того задето и теперь он вынужден будет засесть за изучение дел, ходить на встречи с агентурой, погрязнуть в согласовании с другими органами и, мысленно охватив комплекс мероприятий по приказу, он теперь был уверен, что у Бондарева не останется времени на шастанье в политотдел к Кузакову.

Вопреки предположениям Сазонова его зам прямым ходом пошел к Кузакову – его просто распирало поделиться получением важного задания и, напустив тумана, рассказать, что его начальник испугался и не сможет справиться с выполнением одного очень важного приказа, полученного из Центра, и он поручил его Бондареву, и добавил, что будет сразу награжден орденом Красного Знамени после реализации намеченного им плана действий. Ну и, не удержав в сохранности гостайны, он выложил Кузакову содержание и назначение приказа. Повторяя оперативную лексику, заимствованную у своего начальника, он произвел на Кузакова впечатление настоящего контрразведчика-чекиста. И потом они еще долго обсуждали вопрос, как отметить в политдонесении положительный образ контрразведчика. Говорили почти не таясь, а дверь в кабинет была прикрыта не полностью. Когда они стали выходить через предбанник, там сидел какой-то офицер, и на столе у него были бумаги. Бондарев спросил у Кузакова, кто это и что он делает? Кузаков как-то стеснялся, поясняя, что это его вновь назначенный инструктор, бывший преподаватель русского языка и литературы, занят сбором материалов и оказывает Кузакову помощь в написании доклада.

Глава VIII
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НАЧШТАДИВА

До обеда Сазонову нужно было встретиться с начштаба дивизии Лепиным. Как было заведено раньше, они встречались три раза в месяц с небольшими конспиративными ухищрениями. Накануне Сазонов звонил Лепину и условной фразой подтверждал о своей готовности. В свою очередь, Лепин тоже отвечал заготовленной фразой. Все это делалось для маскировки от всепроникающей телефонной братии – связистов. Они были первыми, кто озвучивал, выдавал намеки, недомолвки о внутренней жизни дивизии, и были в курсе дел по перемещениям, назначениям. С этим боролись, наказывали, но любопытство брало верх!

Встречи проводились в трех местах: у секретчика дивизии, в отделе картографии и на узле связи. Все эти места Лепин посещал ежедневно, и рандеву с особистом дивизии никому не бросалось в глаза. Сазонову разрешалось приходить и в штаб к Лепину, но он не хотел своими посещениями сеять ненужные разговоры.

Начштаба аккуратно выполнял секретную директиву Генштаба о взаимодействии с Особыми отделами. Только через него Сазонов мог в оперативных целях проводить движение своего секретного войска: соединить или, наоборот, развести объекты разработки, провести новые назначения, устроить командировку в тыл или к соседям справа и слева по обмену боевым опытом, направить нужного офицера на курсы «Выстрел». Всем этим ведал оперативный отдел штаба, но последнее слово оставалось за начштаба.

У Сазонова в штабе имелось несколько агентов из офицеров и сержантов для обеспечения безопасности секретного делопроизводства, картографии, фельдъегерской службы и узла связи. С незапамятных времен было принято, что контрразведывательным обеспечением штаба занимался сам начальник Особого отдела. В те времена, когда Гуськов был начальником отдела, при его появлении трепетал весь штаб, кроме Лепина, всегда подтянутого, уважительного ко всем, но педанта в службе. В его присутствии бывший главный особист дивизии был сдержан и не позволял себе сквернословить, невольно уважая высокий профессионализм и независимость начштаба. Гуськову так и не удалось привить тому внутренний трепет и раболепие перед органами. Это его очень раздражало, и

иногда, приходя после встреч с Лепиным, он возмущался вслух: «Вот скажу тебе, Сазонов, что я при этом чистоплюе и задаваке чувствую себя неуютно, и разговор у него был культурный, но сухой и малопонятный. Вот Будылин – начтыла – это другое дело: я ему матом, он мне тоже – сразу все понятно, а эти интеллигентские штучки и выкрутасы разные не по мне, я их не принимаю!»

Сазонов же как благодарный слушатель получал несказанное удовольствие от общения с Лепиным. С ним было интересно говорить, он многое знал и видел. Его прошлая заграничная работа, связанная с Разведупром, давала ему возможность знать и сравнивать от стратегии до структурных особенностей многие иностранные армии. Там по роду своей службы Лепин прочитал много статей, обзоров, открывавших миру тайны отгремевших сражений, побед и поражений воюющих стран в Первую мировую войну. Но в то время его интересовали вопросы современной военной мысли. Он испытывал чувство гордости, что именно выпускник московского юнкерского Александровского училища, бывший участник еще той германской войны в чине поручика, а ныне советский маршал Тухачевский написал статью о десантировании войск с использованием авиации в наступательных операциях. Его порадовала смелость и размах мысли автора. По сути дела, так рождался новый войсковой инструмент – десантные войска. Но в июне тридцать седьмого маршал был арестован и на его труды был наложен жесткий запрет, а имя предано забвению. И только возвратившись в Москву и находясь на академических курсах, Лепин убедился, как изменился командный состав армии: прежде всего он помолодел. На его курсе основная масса слушателей была значительно моложе его возраста и, в основном, скороспелые выдвиженцы – вчерашние начштабов и командиры полков, были даже командиры батальонов, и они оказались здесь, на курсе академического обучения с последующим получением должности начштаба или командира дивизии. Красная Армия, подгоняемая внешними событиями, наращивала свои силы: число дивизий, полков нарастало и ими командовал средний комсостав. Здесь совпали события предыдущей обвальной чистки старшего комсостава и новые, почти предмобилизационные развертывания новых соединений и частей.

Молодые, полные сил и настойчивости одолеть курс военной науки, гордые тем, что именно им предстоит командовать бригадами, дивизиями, они по двенадцать – пятнадцать часов добросовестно вталкивали в себя такое количество теории, которое было рассчитано не на полгода, а на два-три года

обучения. Многим его сокурсникам не хватало общей грамотности, поэтому были организованы факультативные занятия по русскому языку, и туда ходил весь его курс, кроме Лепина. Где они теперь, его однокашники?! Многие из них первыми приняли удар и... сгинули в безвестность. И ему не удалось встретить пока на фронте ни одного из них. А в памяти они стояли перед ним как живые, он их помнил в лицо, а многих по фамилии...

Были среди них способные и даже талантливые. Один из них – Петр Бухонцов, выходец из семьи нерчинских казаков, бывший учитель истории, с редкими рябинками на лице; скулы и глаза говорили, что в его роду побывали и буряты, а может быть, и лихие конники из Северной Манчжурии – баргинцы, совершавшие набеги на приграничные станицы забайкальских казаков. Лепин питал слабость к выходцам с Востока, к Бухонцову особенно. Еще живы были в памяти просторы Монголии, бесконечная степь, сопки и редкие юрты гостеприимных кочевников. Он там провел несколько лет, помогая красным цырикам[13] осваивать азы военной науки. И, глядя на Бухонцова, вспоминал степные закаты, летний зной, снежные бури, наполовину с песком, поездки на охоту, чаепития в кругу монгольских командиров. И когда он познакомился с Бухонцовым ближе и узнал, что мать его из семьи ссыльных поляков, Лепину стало понятно, откуда у этого полуазиата такие изящные руки, унаследованная и закрепленная семейным воспитанием деликатность в поведении. И еще Бухонцов поражал своими способностями в учебе. Оказывается, за три года до этого он окончил с отличием Читинский педагогический институт и третий год изучал самостоятельно японский язык. Он души не чаял в Лепине и почитал его, как отца или старшего брата, был всегда рядом и смотрел влюбленными глазами на своего старшего друга. Их стихийно сроднила любовь к армии, оба были преданы ей и, не зная за что и за какие блага, они боготворили ее! Нет, они знали – оба они любили командовать, получать приказы и подчиняться! Как молитву, они помнили слова прославленного русского полководца: научись подчиняться, и тогда научишься командовать! Ну, а где же ты теперь, молодой командир Бухонцов, где и как тебе служится?! После курсов он получил предписание на стажировку в Забайкальский военный округ, потом началась война, и вот уже минуло три года, как они познакомились, а кажется, прошла целая вечность!

Лепин вздохнул и оторвался от воспоминаний, услышав стук в дверь – на пороге стоял Сазонов. Много потребовалось времени Лепину, чтобы привыкнуть к особисту, но постепенно

сглаживалась антипатия к органам, а она осталась от поползновений майора Гуськова навязать ему роль ведомого и попыток воздействовать на него давлением. Но Лепин никак на это не реагировал и избрал тактику умолчания, предоставив возможность майору говорить, и, таким образом, беседа у них шла в виде монолога Гуськова. Он любил поучать всех, но здесь это не прошло. Несколько раз майор пытался указать на факты ненадлежащего порядка хранения документации, недостатки по узлу связи, однако Лепин вежливо, но твердо отвергал все попытки прижать и поставить его в зависимость. Вот за это и не любил Гуськов Лепина.

Начштаба отчетливо представлял себе возможности майора Гуськова. Но те времена, когда любое должностное лицо можно было объявить врагом народа, прошли. И теперь в некоторой зависимости от Лепина был сам Гуськов. По процедуре награждения личного состава подпись начштаба или его зама завершала этот порядок. Вот здесь Гуськов был абсолютно бессилен. Все зависело от Лепина: в его распоряжении был целый арсенал доводов, чтобы воспрепятствовать награждению от рядового до замкомдива! И никакая сила не могла заставить отменить его решение. Офицеры особого отдела и его начальник могли получать награду из двух рук: по линии своего ведомства за свои контрразведывательные подвиги и за отличия на поле боя, в боевых порядках батальона, роты. Отличиться за поимку настоящих шпионов, диверсантов не представлялось возможным; таких дел было мало в действующей армии. Разоблачения уголовников за кражу военного и личного имущества, вскрытие фактов членовредительства с целью уклонения от службы в армии, раскрытие случаев грабежа и насилия над гражданским населением, по мнению руководства «Смерша», боевых наград не заслуживали. А принимать участие в боевых порядках батальона в наступлении – кто бы это вам позволил? Это вам не сорок первый год, когда еще боевая грамота была изначальная, вот тогда такая инициатива одобрялась, а сейчас другое дело. Каждому – свое занятие. Если ты стрелок, значит, у тебя одна цель, если комвзвода – у тебя занятие и цель другие. А если оперуполномоченный, особист с пистолетом пойдет в атаку, то что это будет? Убьют – спроса нет, можно списать, а вот ранят, как тогда можно отписаться и объяснить, почему особист залетел в боевой порядок и был ранен при наступлении?! Здесь жди только неприятностей от такого «геройства»!

С лета сорок третьего года началась мода на награды: их носили и в будни, и в праздники. Гуськов хотел добавить к своей «Звездочке» и медали «ЗБЗ»[14] еще какой-нибудь орден, что,

возможно, и было бы так, как в других дивизиях, где особисты подминали под себя командование или с ним дружили, но Лепин строго соблюдал указание Наркомата обороны по награждению, а с Гуськовым поддерживал только официальные отношения. Это заставляло Гуськова вслух костерить начштаба, но только в расположении отдела и в присутствии своих. Он знал, что за Лепиным стоят комдив и кое-кто из командования армии. Когда Гуськов погиб под Смоленском, начальником отдела назначили Сазонова, и Лепин долго присматривался к нему. Сазонова от Гуськова отличала грамотная речь, отсутствие всеобщей подозрительности, терпимость и житейское добродушие в суждениях по многим вопросам. На таких встречах он много рассказывал Лепину о той подспудной внутренней жизни, интересах, суждениях, настроениях основной массы дивизии. Эти короткие зарисовки, пересказы, рождавшиеся в солдатской среде, не походили на те политотдельские докладные, которые приходилось по обязанности читать комдиву и ему, и где под бойким пером политотдела вырастала масса счастливых, радостно идущих в бой воинов, со словами на устах: «За Сталина» и готовых умереть в любое время за дело партии Ленина—Сталина. Начштаба знал наизусть эти штампованные, казенные фразы, их примитивные обороты. Сотни раз повторенные на партсобраниях и заседаниях они уже потеряли свою привлекательность, потускнели от частого употребления, из них давно уже ушла душа, правда, боль, страдание военного лихолетья. И Лепин мирился с фанфарными описаниями морально-политического состояния личного состава дивизии, и считал, что в этой тяжелой войне политвоспитание и политосведомление не были лишними в армии – они, как и «Смерш», и военный трибунал, были шестеренками огромной Системы принуждения. А вот фарисейство, ложь, искажение, передергивание фактов и применение излишне жестоких мер, по его мнению, были работой среднего и низшего звеньев исполнителей Системы! Нет, он ошибался! В этой гениально созданной машине подавления исполнители всех уровней могли играть только по ее правилам! Партийный генералитет Системы наблюдал, контролировал и подправлял свои правила закрытыми указами, постановлениями, распоряжениями... И вот на двадцать седьмом году от ее создания они достигли почти совершенства, что позволяло выстоять в единоборстве с грозным противником и повернуть его вспять. Он, как человек насквозь военного толка, считал, что его долг – выполнять все Правила, предписанные Системой, они вели к Победе, а это было сейчас для него, несмотря на их издержки, главным содержанием жизни!

И сейчас, глядя на Сазонова, на его открытое лицо, светло-серые глаза, на две нашивки за легкие ранения и орден Красной Звезды, подумал: вот еще один представитель Системы и, конечно, не самый худший, и даже приятный в общении человек. Начштаба с интересом выслушал результаты осмотра ЧП на снайперской позиции и подвел его к макету местности, где был изображен десятикилометровый фронт дивизии. Сазонов сразу узнал левый фланг и стал пояснять вчерашнее происшествие.

– Вот видите, Александр Павлович, здесь, с этой высотки мы были видны, как на блюдечке, ну и конечно, вложили нам, как следует, если бы не мокрая низинка, то нас бы всех накрыло, а так только отделались одним убитым, в докладной записке – все подробности...

Лепин взял блокнот и сделал несколько заметок. Потом они долго говорили о том, что происходит в дивизии, и о нехватке младшего офицерского состава, худосочном продфуражном снабжении и вшивости личного состава. Говорил в основном Сазонов – начштаба слушал, изредка задавал вопросы и делал пометки.

– Я по дороге к вам встретил знакомого старшину из 664-го полка, так вот послушайте, что он мне поведал. – И Сазонов обстоятельно, с подробностями и в деталях пересказал услышанное. – Не поверите, Александр Павлович, сегодня наш солдат не может сидеть спокойно, заедают его проклятые насекомые. Пока солдат ходит, двигается или спит, он их не замечает, а как только сел в тепле, так они переходят в наступление и начинают шевелиться. И сейчас в землянках и блиндажах основное занятие солдат – борьба с ними, проклятыми. И чего только ни делают: и давят, и жгут на печке белье, катают его бутылками, поливают бензином, но ничего не помогает. Видно, этим кустарным рукодельем не помочь делу – здесь нужны санпропускники, чтобы все белье и одежда были пропарены. В транспортной роте у Самсонова решили сделать свою вшивобойку: то есть сшили двойную палатку, поставили печку, на жерди развесили обмундирование, белье и стали ждать, когда все пропарится. Но не повезло бедолагам! Печку раскалили, вокруг нее жара, а по углам прохладно. Тогда они еще подбросили дровец – печка аж белая стала; тут вдруг одна жердина с одеждой и упала на печку, и в один миг полыхнуло, и нет палатки, и тридцати пар обмундирования и белья как не бывало! А те, кто в прожарку сдал обмундирование, сидят в землянке голые – запасного-то ни у кого не было. Они так бы и просидели до весны, но спасибо заму по тылу Будылину, он из своих резервов отыскал одежонку кое-какую, все ругался и грозил

отдать всех под трибунал за такую диверсию.

Лепин вспомнил Китай: там у чанкайшистского воинства законы были свои, китайские. За каждую обнаруженную вошь при осмотре – один удар бамбуковой палкой. Капралы свирепствовали. Они отвечали жалованьем за санитарию солдат. Но это был Китай, там было тепло, а здесь, в утонувшей в снегах дивизии, в лесу, вдали от деревень, ни обмыться, ни постираться. И санпропускники были затребованы давно, но не присылали их на Западный фронт – он в обороне. Сейчас все снабжение идет на юг: снаряды, мины, танки, машины и пополнение людьми, самыми обученными, умелыми – там наступают, а мы – сидельцы, и в генштабе считают, что мы перебьемся как-нибудь, переможемся... Было обидно, что их фронт обделяют всем – от овса до снарядов для артиллерии. Все это только мелькнуло в уме у начштаба, но сказать об этом вслух он не хотел даже Сазонову. Да и к чему травить себя и еще кого-то жалобами, этим делу не поможешь! И он находил ободряющие слова, говорил о примерах благородства при исполнении долга, иногда из военной истории разных стран. И Сазонов мог часами слушать поучительные истории из его прошлой службы, германской войны, о его сослуживцах.

Память у Лепина была замечательная на даты, фамилии, должности, и язык – краткий, как боевое донесение, живой и красочный, как плакат. Ну, откуда бы узнал и кто бы рассказал ему, особисту, что у англичан и французов вообще отсутствуют Особые отделы в дивизиях. Там эту службу возглавляет офицер в чине капитана. А в полку за все отвечает его командир, а вся работа по наблюдению, изучению личного состава, расследованию проступков при нарушении устава, а также уголовных преступлений ведется сержантами, прошедшими специальную подготовку. Командир располагает денежными средствами для организации контроля за рядовыми, младшим офицерским составом и гражданским населением в гарнизоне расположения полка. А вот суд офицерской чести регулировал все, что относилось к обязанностям, правам, чести, достоинству, морали и поведению офицеров на службе и в быту. И он задумывался над тем, что рассказывал начштаба, а сравнивая – поражался! Выходило так: у них там вместо отдела – офицер и несколько сержантов. И получается, что их офицеры – вне подозрений, их не разрабатывают, не вербуют. У нас все по-другому. Доверия – никому, вплоть до комдива. Чихнул офицер, и ты должен об этом знать, записать это и положить в литерное дело, а во второй раз с ним это случится – можно завести дело и подводить под него осведомление, агентов. Вот так было и с

политруком Волковым. Он же помнил: если бы его шеф поговорил душевно с политруком, разъяснил, предупредил, а то ведь разные западни устраивал из его окружения: учил их, как вызвать его на откровенный разговор и как затеять спор, чтобы он весь откровенно выложился. А тот, как наивный школяр, был рад, что его так внимательно слушают. Эх! Если бы он знал, что на него, как на щегла, наброшена сеть и он под присмотром мастера сыскных дел! Будь Сазонов тогда начальником отдела, он бы уберег Волкова от ареста. А с другой стороны, он не представлял дивизию без его отдела. «Особняки» появились вместе с Красной Армией. И она привыкла к ним и к их архисекретной работе. Может, некоторые глухо ненавидели эту службу, но большинство боялось, и отсюда – уважение к ней. Ну как тут не вспомнить незабываемого Гуськова и его слова: «Сазонов, не будь мямлей – бей своих, чужие бояться будут».

Глава IX
СУДЬБА ВОЕННОПЛЕННЫХ

О жестокости и беспощадности органов после расстрельных тридцатых годов в народе ходили легенды. И армейский Особый отдел до войны, а в войну лично от Вождя получивший название «Смерш», унаследовал многое и, самое главное, большую прыть на расправу – чуть чего и к стенке! А уж когда летом сорок второго вышел приказ Вождя № 00227, то все аресты командиров, «самовольно» оставивших боевые позиции, возлагались на особистов, а только потом трибунал штамповал приговоры! Ну как тут не уважать особистов!

Вот такие мысли иной раз посещали Дмитрия Васильевича, и не всегда он находил ответы на многие вопросы. И только один человек в дивизии мог дать ответ, разъяснить, пояснить природу многих явлений. Александр Павлович Лепин знал очень много, системный запас знаний позволял ему проводить параллели, сравнивать и давать четкое и понятное объяснение. Он прекрасно знал военную историю старой России, победы, поражения и реформы, но никогда никто не слышал от него ни одного слова осуждения в адрес развала императорской армии после февраля семнадцатого. У него на этот счет было свое мнение, и оно сильно расходилось с нынешним официальным, единственным для всех, изложенным в кратком курсе истории ВКП(б). Лепина угнетало интеллектуальное одиночество, и, как ни странно, он нашел в Сазонове внимательного слушателя, умного, тактичного собеседника. Они доверяли друг другу не только по взаимной симпатии, но и по долгу службы. Близость фронта, грядущие бои и ответственность за судьбу дивизии сблизили их.

Вот и сейчас Александр Павлович после обсуждения насущных вопросов, как он говорил, для гимнастики ума, разбирая права и обязанности командиров частей согласно новым уставам, появившимся на свет во время воины, извлек из своей обширной памяти примеры того, в каких странах и как создавался кодекс военно-административных прав и обязанностей командира части. Из них Дмитрий Васильевич узнал, что командир батальона английской армии имел право без санкции военного министерства сделать запрос в свой парламент и получить ответ по интересующему его вопросу. Пользуясь своей властью, он мог принять решение по конфискации захваченного трофейного имущества. И самое главное, что поразило Сазонова, – на основе Гаагской конвенции 1907 года, подумать только, ему, командиру

батальона, давалось право осуществлять обмен военнопленными на условиях, не унижающих честь королевских войск!

Если бы он это узнал от кого другого, не поверил бы, но это говорил Лепин! И тут же Дмитрий Васильевич, в свою очередь, рассказал, как осенью сорок первого, отступая к Калинину, на участке соседней дивизии зенитчики исхитрились и подбили «мессер». Самолет сел на брюхо в болоте, и красноармейцы прихватили целехонького, без единой царапины, уже немолодого, с седой головой летчика. А когда расстегнули комбинезон, ахнули – вся грудь в орденах и крестах! Наутро немцы через радиоустановку запросили для переговоров парламентариев, чтобы обменять этого летчика на сто наших пленных красноармейцев. Оказалось, летчик-то был их героем и асом авиации! Комдив отправил на переговоры своего адъютанта, но особисты позвонили в штаб армии, и оттуда приказ – прекратить переговоры с врагами, ну а комдива с адъютантом через пару дней увезли; и сгинули они. А потом был приказ по армии – полный запрет на переговоры.

Александр Павлович почти учительским тоном прочитал в ответ Сазонову маленькую лекцию.

– Прискорбно слышать такую историю, но надо признаться, комдив принял неправильное решение. Безусловно, если судить по совести и морали, то он был прав. Сто человек поменять на одного – благородно и выгодно. Но это решение обывательского уровня. Для обмена пленными требуются: краткое перемирие и прекращение огня, а эти процедуры проводятся только с ведома государства, и здесь частная командирская инициатива неуместна! И армия наша еще молодая – революционного толка, она еще не предусмотрела норм и правил для такой ситуации, и ее военная доктрина была, в основном, наступательной. – Ну а чуть помолчав, добавил: – Между прочим, сходная ситуация случилась с нынешним английским премьером – Черчиллем. Во время Англо-бурской войны он попал в плен, а вот командир батальона хотел его выменять на четырех пленных буров, но… не успел, будущий премьер сам героически сбежал из плена. И, как я полагаю, – тут он с усмешкой посмотрел на Сазонова, – он не подвергался в контрразведке перекрестному допросу – просто был награжден медалью собственным командованием.

– Факты награждения за побег из плена, за выход из окружения и у нас – мне тоже неизвестны, – Дмитрий Васильевич посмотрел на Лепина, с сожалением вздохнул и продолжил: – Но вот уж насчет допросов, то тут директива ГКО[15] была строжайшая насчет пленных, и у нас по линии особых отделов на ее основе инструкция была разработана, так там вообще было

предусмотрено, чтобы все без исключения военнослужащие, находившиеся свыше трех часов в окружении противника, проходили спецпроверку в фильтр-лагерях…

И дальше Сазонов продолжать не стал, а мог бы на эту тему рассказать Александру Павловичу многое из того, что он видел и слышал о фильтр-лагерях в прифронтовой полосе. Правда, был он только в одном из них, на территории Калининской области. Приехал туда, чтобы провести опознание по фотокарточке одного командира, ранее служившего в их дивизии и пропавшего без вести. Сазонова удивило, что территория ПФЛ была обнесена колючей проволокой в два ряда, а вид его обитателей поразил его; одеты в какие-то лохмотья, изможденные лица. И еще узнал, что кормежка у них была очень скудной: один раз в день баланда из мороженой картошки и четыреста граммов хлеба. Всех лагерников водили под конвоем на торфоразработки пешком, за семь километров.

Вспомнился допрос бывшего комбата, тридцати четырех лет, с беззубым старческим лицом и каким-то виноватым взглядом потухших глаз. Он, после окончания Харьковского пехотного училища, в начале тридцатых годов служил в гарнизонах разных городов. Угодил в плен через три месяца после начала войны. Почти год был в немецком лагере, бежал и полгода скитался по деревням и хуторам, прячась от местных полицаев. Во время летнего наступления прошлого года встретил своих освободителей, тут же был допрошен особистом и направлен на спецпроверку, затянувшуюся на три месяца. Тихим и каким-то виноватым голосом он тогда спрашивал Сазонова: «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, конечно, я понимаю… и согласен с проверкой, потому что могут сюда под нашим видом и враги попасть, но не могу понять, почему нас всех здесь считают предателями?! Мы здесь находимся как проверяемые и пока никем не судимые, но в поселок или в деревню из лагеря не выпускают и никаких увольнительных не дают, переписку не разрешают, и вот уже два года моя семья не знает, где я. Сейчас бы в самый раз их обрадовать, что жив остался, у меня ведь там двое малолетних сыновей растут», – с какой-то грустью добавил он.

Дмитрию Васильевичу было мучительно стыдно смотреть в глаза этому измученному, уставшему от своего положения человеку, бывшему комбату, испытавшему смерть, боль и унижение у немцев и продолжающему терпеть явное и скрытое издевательство в нашем лагере. А что мог Сазонов сказать в утешение? Да ничего – промолчать и тяжко вздохнуть.

Относительно наших пленных ходили разные слухи. Якобы

Верховный сказал: у нас нет военнопленных, в плену находятся только предатели… Может, и не говорил он таких слов, но железные соратники по партии, выражая его отношение к судьбе тех миллионов, бездарно брошенных под неумолимый каток войны, и запустили эту ядовитую, ненавистную байку в массы. Вот отсюда и пошло подозрение и презрение, и приобрело оно государственную мощь по той формуле, где сказано, что массы, овладевшие идеей, становятся неодолимой силой!

Охрану лагеря нес личный состав кадровой дивизии НКВД по сопровождению заключенных. Офицеры в фуражках василькового цвета – как на подбор, молодые, с румяными лицами, затянутые в портупеи. Они и их солдаты обращались с охраняемыми со скрытым презрением. Дмитрий Васильевич однажды утром видел, как начальник конвоя, молодой, одетый в хорошо пригнанную шинель, командовал строем бывших командиров и солдат, многие из которых годились ему в отцы, а он зычным голосом привыкшего повелевать безропотной массой, кричал: «В колонну по четыре становись! – и уже без нужды этим подавленным и не помышлявшим о сопротивлении, со скрытой угрозой, командирским голосом: – Предупреждаю, что самовольный выход из строя или отставание на маршруте движения будет пресекаться конвоем, вплоть до применения оружия! – и протяжно, выпевая каждое слово: – Левое плечо вперед, к выходу шагом марш!» И плохо одетое бывшее воинство шаркнуло по давней привычке левой, и, уже за лагерем, в глубине колонны чей-то неведомый, неунывающий голос с каким-то вызовом и задором вывел слова строевой песни довоенного времени: «Дальневосточная, опора прочная, краснознаменная, даешь отпор», и колонна дружно подхватила припев. Долго еще вслед за ними неслось «краснознаменная, даешь отпор» и исчезло за ближним лесом. Тогда Сазонов подумал: где, в какой армии могут петь люди, прошедшие тяжкие испытания и продолжающие терпеть явное и скрытое издевательство? Их бы накормить, одеть, ободрить теплым, задушевным словом, каждый бы из них за десятерых воевал!..

Александр Павлович, как будто читая его мысли, ответил: «Возможно, после победы у нас изменится отношение к военнопленным. Как известно, на окружение «котлов» немцы потратили много сил и средств – оставлять их в тылу было опасно. Все то, что они оттянули на себя, должно было двигать спланированный темп наступления. А каждая наша окруженная группировка замедляла авантюрный план молниеносной войны. Это уже свидетельство того, что окруженцы не поднимали рук перед немцами, отчаянно дрались, не жалея себя, как умеет

только наш солдат».

Этот разговор разбередил память Лепина и он непроизвольно продолжал размышлять о германской войне, окружениях, пленных, побегах из плена и, между прочим, упомянул Лавра Георгиевича Корнилова, его побег из австрийского плена, добавив, что после плена генерала повысили в должности и он был провозглашен национальным героем, а потом был командующим фронтом и главковерхом, и пленение не было темным пятном в его биографии. Но он выступил против революции и погиб, а ведь был одаренным офицером, знал четыре языка, в том числе фарси, и был знатоком Юго-Восточной Азии!

Удивительный человек сидел перед Сазоновым: его крепко посаженная, с удлиненным лицом, чуть тронутая благородной сединой голова хранила много интересных историй о прошлых событиях, и он говорил о них, как будто и не прошло тридцати лет, словно было это вчера. И Дмитрию Васильевичу хотелось довериться этому умному человеку, высказать свое мнение, поделиться мыслями, как бы он поступил с военнопленными.

– Вы понимаете, Александр Павлович, какой опыт имеют эти командиры и солдаты. Недаром же есть пословица «За одного битого двух небитых дают»! И, самое главное, немцы их за людей не считали, – в этом они убедились на себе и это никогда не забудется. А насчет длительной проверки в фильтр-лагерях – так это я считаю излишним: разоблачить в тех условиях завербованного агента иначе как его личным признанием или полученными от немцев документальными данными невозможно. – И ободренный неподдельным вниманием Лепина к его мнению, Сазонов, не торопясь, обосновал ненужность проверки освобожденных из плена: – Как Вы думаете, Александр Павлович, чего больше всего боятся наши органы? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – Проникновения вражеской агентуры, но для этого нужны соответствующие условия, чего не могут создать военные действия. Вот, допустим, немцы решили внедрить завербованного командира роты или комбата. Ну и что?! Для этого нужно потратить много сил и средств! Прежде всего, в этом случае поддерживать с ним двустороннюю связь. Думаю, овчинка выделки не стоит. И немцы это прекрасно понимают, и еще у них могут быть опасения, что завербованный придет с повинной, когда будет канал для «дезы» и оперативных игр. И кто кого здесь переиграет, неизвестно...

– Вы меня убедили, Дмитрий Васильевич, в ненужности проверки в фильтр-лагерях. Тогда скажите, а для чего они нужны? В ту германскую Россия обошлась без них, прошло тридцать лет, и наш народ, как говорит официальная пропаганда, стал

грамотнее и сознательнее, и вдруг проверочные лагеря для бежавших из плена окруженцев… – и уже с тонким сарказмом, как бы задавая вопрос себе, он продолжил: – Было бы интересно знать, где родилась мысль о фильтрации?! – Он сделал паузу, поднялся, прошелся по кабинету и стал медленно отвечать на свой вопрос: – Можно предположить, что в верхах исключительно заняты стратегией, им недосуг заняться этими вопросами, а вот среднее звено государственного управления определяет тактические устремления, и я уверен, что именно там возникла эта идея, и там же ее облекли в материальную форму с расчетами, когда, где по месту расположения, снабжения, режима, охраны и все прочее…

Сазонов придерживался мнения, что идея жестких правил проверки военнопленных возникла в верхах. Читая бесчисленные приказы, распоряжения, ориентировки, указания по линии «Смерша», он убедился, что вся политика узды, кнута, репрессий для тыла и фронта находилась на самом верху и только в одних твердых и безжалостных руках, ее творивших. Но вслух об этом он Александру Павловичу не сказал. Потом они обсудили последние вести о завершении Корсунь-Шевченковской операции на Украине, о ликвидации окруженной группировки противника, о восемнадцати тысячах пленных, присвоении маршальского звания И.С. Коневу. И уже под конец встречи высказали свое предположение о предстоящем изменении в названии их фронта и пришли к выводу, что, скорее всего, он будет 3-м Белорусским. Кстати, это сбылось уже через два месяца, когда в апреле Восточная Белоруссия превратилась после снежной зимы в одно непроходимое болото, а их фронт получил новое название и нового командующего.

Время близилось к обеду, они попрощались, и уже на пороге Александр Павлович, вложив изрядную порцию подтекста, спросил Сазонова:

– Ну как, дружба политотдела со «Смершем» продолжается?! Я удивляюсь, откуда они находят столько времени для общения? С утра до вечера ваш заместитель сидит в политотделе у Кузакова. Может, он туда на службу перешел? Полагаю, что каждый должен заниматься своим делом, а устраивать несовместимые кооперации – это противоестественно и всегда во вред делу! – Из этого импровизированного намека было понятно, что по праву старшего и по возрасту, и по званию Лепин хочет по-дружески предупредить Сазонова о неадекватности поведения его подчиненного и одновременно беспокоится о нежелательных последствиях этого союза двух майоров. И Дмитрию Васильевичу пришлось вкратце изложить план того, как он решил занять

своего заместителя.

Он возвращался в отдел в хорошем настроении. Сзади, на расстоянии пяти шагов – связной солдат, как это было принято с незапамятных времен, сопровождавший своего начальника, когда тот в одиночку ходил по расположениям частей дивизии. Сначала Сазонову трудно было привыкнуть к сопровождавшему солдату, и он часто спрашивал себя, зачем отрывать солдата от дела, занятий, отдыха: уберечь его персону от нападения немецких разведчиков этот солдат вряд ли сможет; но потом согласился, и даже было не по себе, когда он не слышал позади его шагов. С живым человеком за спиной ему было легче ходить по лабиринту натоптанных тропинок, нырять в заросли можжевельника, переходить мосточки, кое-как проложенные через бесчисленное количество ручьев, канав с черными торфяными окнами воды. Вот здесь, в этих гнилых местах, пожалуй, и нужен связной солдат.

Кто, как не он, срубит шест и поддержит при переходе болота по скользким стволам бревен и жердей, лежащих в черной воде. А бывало, справа и слева от гати вплотную подступали открытые окна черной воды – это ямы трясин без дна и без края. Туда затягивало не только человека – лошадей парных с повозкой засасывало в считаные минуты. Эти места были действительно гибельными для человека. Только два месяца как встали в оборону и поспешно закопались в сырую землицу. Но, как чаще всего бывало, делали это, как говорится, без царя в голове! Лишь бы зарыться в нее, матушку, и, лесная, обиженная, что ее потревожили, вековую, она стала насылать земельную капель, и по утрам в землянках под настилом пола скапливалась вода, и дневальные котелками вычерпывали торфяную жижу. От этой сырости у солдат оружие покрывалось налетом ржавчины, шинели и телогрейки не просыхали, ночью их бил кашель, появлялись болезненные фурункулы.

И только днем, нарубив сушняка, устраивали кострища в глубине под елями, сушились, дремали, били вшей, письма писали, чистили оружие на снарядных ящиках. Парторги, комсорги и прочий политотдельский актив наседали на личный состав политбеседами, собраниями, читками газет, пользуясь передышкой обороны. Наверное, было бы лучше, если бы политотдельцы при своей кипучей деятельности мобилизовали всю саперную рать, знающую секреты строительства в заболоченных местах, тогда сырость не отравляла бы и так скудное солдатское житье-бытье. И если бы еще политотдел в своих донесениях отметил, что продснабжение совсем обеднело, не дотягивает до нормы и состоит, в основном, из концентратов и сухарей – ни мяса, ни консервов в дивизию не поступает второй

месяц. Отсюда и болезни: куриная слепота, кровоточащие десны, быстрая усталость, плохое настроение. Уже в декабре, когда прекратилось наступление, доедали мясо убитых лошадей. И теперь санинструкторы заставляли весь личный состав пить хвойный настой, говорили, что от цинги. Солдаты подчинялись медицине. Морщились, но пили горький, как их нынешняя жизнь, напиток, плевались, матерились, но пили! Хвойный напиток не заменит мяса, зато в отчетах по профилактике болезней медслужба фронта отчитается перед Ставкой принятыми мерами по укреплению здоровья личного состава действующей армии.

Как человека совестливого, Сазонова поражало одно – вранье на каждом шагу, во всех частях и службах дивизии. Вот взять, к примеру, начальника медсанслужбы, пузатого краснорожего полковника Сивкова: с утра слегка пьян, к вечеру заваливается спать с очередной бабенкой из медсанбата. Его заместитель, санитарный врач, пишет за него отчеты во фронтовое управление об отличном физическом состоянии личного состава, о прибавке в весе, отсутствии заболеваний! И ни слова о том, что л/с отощал и давно не получает фронтовую норму мяса, жиров! Если об этом напишет, попадет в число жалобщиков, а там гляди и в резерв может угодить, а потом пихнут в какой-нибудь гарнизон, а там и паек тыловой, и денежное содержание почти на половину сократится.

Санврача дивизии Сазонов знал с незапамятных времен. Согласно личному делу, предложение на сотрудничество с Особым отделом тот получил еще в Финскую кампанию. С той поры, как говорится, много было изношено казенной одежды и сапог, но каждый раз, встречаясь с особистом, Сивков волновался, чувствуя себя мышонком в сильных лапах органов. Он это особенно ощутил в бытность грубияна и матерщинника Гуськова, после встреч с которым замначмед обязательно пил валерьянку и долго приходил в себя. Потом Гуськов сделал его руководителем резидентуры по всей медслужбе дивизии и присвоил ему красивый псевдоним Чапаев, и все осведомители и агенты отчитывались перед ним о своей работе. По правде говоря, эта работа приносила и пользу. Медслужба была одним из столпов боеготовности частей дивизии, но попутно с этим через нее из всей цепочки интендантства выявлялись хищения, злоупотребления и обман с целью наживы: не один десяток средних и малых начальников-снабженцев были схвачены за руку на разных махинациях. Дмитрий Васильевич через Чапаева впервые познакомился со способами хищения в дивизии ценных продуктов.

Глава X
ХИЩЕНИЯ В ТЫЛАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

После освобождения Калинина от немцев, зимой сорок второго года, в Особый отдел прислали запрос из Московского уголовного розыска, где указывалось, что при обыске квартиры арестованного Кабанова, подозреваемого в хищении соцсобственности, обнаружили около 100 кг шоколада фабрики «Красный Октябрь». По показаниям арестованного, этот шоколад ему был прислан начальником ПФС[16] в/ч 33972, интендантом 3-го ранга Феофановым в обмен на серебряный сервиз, который был передан его жене – Феофановой М.Н., проживающей по адресу: Москва, Орликов пер., д. 8, кв. 10. В конце запроса – просьба подтвердить установленный факт.

В ходе дознания было выявлено, что приказом по РККА в продснабжении установлена гибкая система замены продуктов по специальной таблице. И все основные продукты: хлеб, сахар, мясо, рыба, консервы, крупы, макароны, овощи и еще много других продуктов – были взаимозаменяемы по этой таблице согласно подсчету калорийности. Вот эта заменяемость и была основным коньком, на котором выезжала ПФС. Продовольствие тыловая служба воровала всегда, во все времена и при всех режимах! В РККА это гнусное занятие в крупных масштабах продолжалось под защитой партии и государства, а мелкое – благодаря бесконтрольности, несовершенству учета и нечестности отдельных продфуражников. Слова полководца Суворова «интенданта через год его службы можно повесить без суда» можно было в то время применить на деле, и армия бы совсем осталась без этого крапивного семени! Но и без всякого снабжения!

Сазонову не без труда удалось вникнуть в хитроумные комбинации ПФС. А у них получалось это очень просто. И Чапаев, куря папиросы одну за другой, рассказал Дмитрию Васильевичу об их секретах.

– Представьте себе, что на продсклад дивизии в определенный день не поступило мясо, тогда его один к трем по весу заменяют рыбой, а если ее нет, то можно заменить различными консервами. Согласно таблице заменяемости допускается замена мяса колбасами, окороками и другими ценными мясными продуктами. Но какой интендант согласится

выдать на общий солдатский котел колбасу твердого копчения или окорок вместо мяса?! Он разобьется в лепешку, но выдаст личному составу залежалую горбушу, которая у него была в запасе. Потом, задним числом, он спишет по акту недоброкачественную рыбу (а ее уже съели), а в накладной запишет, что личный состав получил в довольствие колбасу. Таким образом у него образуется излишек в 250—300 кг колбасы! А куда девать этот товар, ведь застукать могут! Нужно наладить сбыт, и без помощи вышестоящего интендантства этого не сделать! Ведь оно заявки на транспорт делает и везет, что душа пожелает, с фронта в тыл с охранными документами. Кроме того, – продолжал Чапаев, поощряемый вниманием Сазонова, – такие комбинации возможны еще потому, что продслужба, учитывая боевые потери, просто недодает продовольствие, а контроль сверху отсутствует, вот и образуются излишки мясных консервов, сала-шпик, сахара, и им «приделывают ноги» в тыл!

Шаг за шагом Сазонов раскручивал эту историю с шоколадом. Оказывается, что от столичной конфетной фабрики в дивизию, как отличившуюся в декабрьских боях при спасении Москвы, поступила посылка – более 100 килограммов шоколада. Замкомдив по тылу дал письменное распоряжение: раздать на командирский доппаек[17] по 200 граммов. Начпрод дивизии Феофанов накладную с указанием замкомдива спрятал, подменил шоколад на соевые конфеты, что и было выдано на доппаек. Об этом бы никто не узнал, если бы старый его знакомый по торговле, Кабанов, не попал в поле зрения уголовного розыска Москвы. Как полагается, Сазонов провел опросы насмерть перепуганных кладовщиков, экспедитора, шофера. Все они свидетельствовали, что груз в количестве шести фанерных ящиков лежал на складе, потом, по указанию Феофанова, был погружен на грузовую автомашину из транспортной роты и в сопровождении экспедитора был отправлен в Москву. Груз был оставлен там, машина с экспедитором возвратилась в часть. Путевки с указанием количества груза с соответствующими подписями были изъяты Сазоновым и приобщены к делу. Теперь ему хотелось взглянуть в глаза начпроду и интересно было узнать, что он скажет на то, как шоколад попал в Москву. Но опросить Феофанова не удалось. Узнав, что его подчиненные уже побывали в Особом отделе, он застрелился той же ночью. Скорее всего не угрызения совести, а досаду по этому поводу испытал Сазонов. У него к покойному было много вопросов. И здесь, на фронте, никто не оплакал интенданта, не пожалел, что слишком сурово он приговорил себя. Оставь он себя в живых, трибунал дивизии, скорее всего, определил бы своим приговором:

штрафной батальон – рядовым, где ему было суждено быть убитым в бою или раненым. Тогда первой кровью смывалось бы все преступление, он возвратился бы в свою продфуражную службу в прежнем чине, и история с шоколадом стала бы страшным сном в его жизни. Но судьба распорядилась по-иному, избавив его от многих переживаний.

* * *

Вот такая череда воспоминаний возникла у Дмитрия Васильевича при пешем путешествии по расположениям частей уже ставшей ему родной дивизии. Он только дважды покидал ее из-за мелких ранений: в первый раз осколок мины угодил в бедро, во второй – контузия при бомбежке; ему повезло: ранения были легкими, отдохнул в госпитальной чистоте, тепле и снова без всяких задержек – в свою стрелковую, родимую, а могло ведь быть иначе.

Так незаметно капитан со своим связным подошел к большой опушке леса, где квартировали основные транспортные силы дивизии. Уже при подходе к опушке пахло дымом костров, конским навозом, сбруей, дегтем, едой. Они прошли мимо двух бурлящих полевых кухонь с двумя кашеварами в телогрейках и замызганных передниках; мимо полевой кузницы, где под навесом стоял походный горн с мехами, наковальней, станок для ковки лошадей и там же одиноко привязанная серая жеребая кобыла; подошли к землянке, где квартировал командир транспортной гужевой роты капитан Самсонов. Он сидел за чистым, выскобленным столом и что-то писал. У печки, сложенной из кирпича, на лежанке, сидел старшина с кошкой на руках. При виде Сазонова он резво поднялся, сбросив кошку с коленей.

Самсонов – старожил дивизии, приятный мужичок небольшого роста, с рыжеватыми пышными усами, бывший председатель колхоза – встретил Сазонова гостеприимно, с широкой улыбкой. Через несколько минут на столе стоял медный чайник; старшина, разлив чай, удалился со связным Сазонова, оставив их наедине. Хозяйственность Самсонова и его прижимистость во всем были известны всей дивизии. В роте у него был идеальный порядок: парные линейки, двуколки, фуры и несколько тачанок с походными радиостанциями содержались образцово. Лошади ковались исправно. В свою полевую кузницу он подобрал спецов высокого класса. Был у него один слесарь-лекальщик из Харькова, так тот мог делать все: от починки

пулемета до ремонта дизельных моторов. Сколько раз пытались перевести его из роты в мастерскую артполка, но каждый раз Самсонов лично шел к замкомдиву по тылу и отбивал его из рук артиллеристов. Они ему даже обещали сразу дать звание старшины, но тот не согласился на посулы и остался в роте в звании ефрейтора.

На вопрос Сазонова – почему не видно личного состава, Самсонов ответил, что весь народ на озере Сулемы, откуда пытаются вытащить утопленные немцами грузы. Никто не знает, как это случилось, но во время их отступления колонна автомашин сбилась с пути и вышла к озеру, которое они пытались пересечь по льду, но первые машины сразу же провалились в воду, а колонна развернулась и отправилась в обратный путь, не пытаясь вытащить грузовики из озера.

Солдаты Самсонова, обнаружив утопленный транспорт, развили бурную деятельность по вытаскиванию его из озера. Заканчивая свой рассказ, Самсонов предложил Дмитрию Васильевичу посмотреть, как идут подъемные работы: «Сегодня решающий день – вчера закончили ладить деревянный ворот-лебедку». Через несколько минут они вдвоем сели в небольшие сани, рыжий конек рванул с места и, ныряя по маленьким ухабам наезженной дороги, через десять минут уже доставил их на берег озера. Тут кипела работа. Горели два костра; солдаты собрались около барабана с воротом, прилаживая к нему здоровенные колья. Поощряемая взглядами прибывших офицеров, эта ватага людей, движимых острым любопытством – что же везли немцы в грузовиках – и желанием поживиться чем-нибудь (хорошо бы шнапсу найти или винца в красивых бутылках), начали работать еще быстрее! Вот, скрипя и потрескивая в объятьях железного троса, барабан стал вращаться медленнее, трос натянулся и тревожно звенел как струна. Несколько солдат бросились на подмогу, как вдруг на ровной поверхности воды стала появляться черная от воды верхушка тента грузовика, потом его борта и уже через поток воды, была видна задняя подвеска колес. Когда тупорылый передок вышел из воды и пересек прибрежную полосу воды ворот остановил свое вращение, солдаты заголосили «ура». Дмитрий Васильевич был захвачен стихийным порывом солдат и тоже кричал с ними и их командиром. И вот открыли тент: кузов машины был завален ящиками. Вынули наугад первый металлический, откинули защелки, открыли крышку, а там… толстые, от руки заполненные журналы, намокшие от воды. Позвали знающего немецкий язык – им оказался ветврач роты с еврейской внешностью. Он долго вчитывался в журнал, другой, третий, потом заглянул в папку, вторую, пятую по счету…

– Это учет убитых и описание мест захоронения, копии похоронных свидетельств, направленных родственникам убитых, – пояснил ветврач. Невольное чувство уважения возникло у Сазонова к своим заклятым врагам. Ведь надо же! Они – немцы – аккуратненько записывают, когда, где и при каких обстоятельствах наступила смерть, чем награжден, кто вручал награду и где похоронен, с указанием топографических координат захоронения и фамилии капеллана, отслужившего молебен при погребении.

И каждый их солдат знает: если он будет убит в бою, его родных и близких известят, где и когда это случилось и в каком месте покоятся его останки, – это в какой-то мере его успокаивает (он не будет забыт!) и придает уверенности, что камрады из похоронной команды сделают все по заведенному ритуалу и он, как добропочтенный христианин, будет иметь на могиле свой персональный крест. Если разобраться, это и есть уважение к личности, ведь убитый был кому-то дорог, его любили как сына, отца, мужа! И его нет, но есть человеческая память, она живет долго и согревает сердца близких. И невольно в памяти ожили почти три года войны: могилы наших солдат, в основном братские, где лежат они, разутые и раздетые: обувь, телогрейки, шинели – все это добро снимала похоронная команда. Интересно знать, чей это был бесчеловечный приказ – раздевать донага убитых?! Нет уважения к мертвому – его не будет и к живому!

С такими невеселыми мыслями Сазонов молча сел в сани, и проницательный Самсонов как бы ответил на его мысли:

– Это же Европа, одним словом, культура, – и хлестнул прутиком рыжего коника.

Глава XI
СЕКРЕТЫ СЕЙФА

Через час Дмитрий Васильевич был у себя в блиндаже и, с удовольствием поедая обед, доставленный ординарцем из офицерской столовой, слушал своего любимца сержанта Калмыкова. Тот доложил, что звонили из «Смерша» армии, – проверка их отдела откладывается на неделю. Сазонов обрадовался этому известию и подумал, что за это время можно окончательно привести в порядок литерные дела: пересмотреть в них первичные материалы, поступающие от осведомления, составить справки по некоторым из них, направить в архив часть документации – в общем, много еще можно сделать за неделю. Он даже повеселел и приободрился от этой новости. Потом Калмыков рассказал, что приходил Бондарев и приказал принести ему дела общей переписки и литерные дела на два стрелковых полка, а также интересовался учетом по оперативным делам.

– Ну и что ты ему ответил?

– Я ему разъяснил, что, согласно инструкции секретного производства, утвержденной начальником Секретариата Главного управления «Смерш» полковником Мамуловым, со всеми делами можно знакомиться только в помещении и в присутствии секретаря отдела.

– А он?

– Очень рассердился и стал кричать на меня – угрожал загнать меня на полевую гауптвахту[18]. Я это выслушал и сказал ему, что напишу рапорт о его неправомочных требованиях, превышении прав и нарушении инструкции делопроизводства в отделе. После этого он выскочил за дверь, как ошпаренный, и я видел, как он побежал в политотдел к Кузакову.

Посмеявшись в душе над строптивостью Бондарева, Сазонов про себя отметил, что Калмыков стал самостоятельным, овладел этим сложным участком работы, и мысленно опять поблагодарил Лепина за этого надежного, работящего и умеющего постоять за себя помощника.

Вскоре позвонил Кулешов – просил принять его по делу снайперов. Сазонову даже стыдно стало: он совсем забыл, что это совсем «зеленый» оперработник и ему надо помогать, что это у него, наверное, первое самостоятельное расследование. И он вспомнил свои первые дела: неумелость в допросах, поспешность в выводах, отсутствие умения отделить главное от второстепенного, неуверенность в обращении со свидетелями и

подозреваемыми... Много им было сделано разных ошибок, когда он только вступил на путь особиста. Но совесть его чиста – никогда, ни при каких обстоятельствах он не осквернил себя лжесвидетельством и приписками и, вопреки советам начальства, не придерживался обвинительного уклона, а старался установить истину.

Кулешов принес все материалы дела, и Дмитрий Васильевич даже удивился, как грамотно и добротно тот провел опросы, очные ставки. Мысленно хваля Кулешова, он представил, как спросил бы у него: «Это у тебя, Сергей Васильевич, первое дело?!» Тот застенчиво кивнул бы в ответ головой. «Ну, что же, для первого расследования это неплохо. Хотя Васьков и не думает признавать вину, но это неважно. А очные ставки подтверждают его вину... А теперь напиши заключение по делу, я подпишу, и направим прокурору дивизии на проведение следствия, он и решит судьбу Васькова». Глядя в доверчивое юношеское лицо Кулешова, с открытой улыбкой и ямочкой на подбородке, он почему-то всегда был уверен, что такой не подведет, выполнит свой долг сполна и не покривит душой перед правдой!

И, очень довольный такими размышлениями, он подошел к железному шкафу, именуемому сейфом, сработанному в артмастерских по его заказу, со сложным внутренним замком, приваренным к внутренней стороне дверцы. Это было хранилище и всех его дел, документов, с которыми работал только он сам. На первой полке лежала пачка писем от его сестры Вари и студентки-практикантки москвички Зои, с которой он познакомился в госпитале в канун нового, сорок третьего, года. Там же лежал подаренный его любимой мамочкой серебряный медальон на цепочке, в нем лежали две пряди волос – ее и отца, убитого где-то под Ригой летом семнадцатого года. Медальон напомнил давнюю историю в бане с незабываемым Гуськовым, когда тот подозрительно поглядел на медальон и спросил насчет почитания опиума для народа. Слушать о том, что это память о родителях, он не стал и выразился нецензурно, что это долгогривая контра выдумала и кресты, и медальоны. А потом добавил: «Ты, Сазонов, офицер-контрразведчик, член ВКП(б), и тебе не к лицу перенимать буржуазные привычки и подавать такой пример для других!»

На другой полке был виден офицерский «парабеллум» в кожаной кобуре и альбом в замшевом чехле с тонкими перламутровыми застежками. И то, и другое было добыто во время рейда разведгруппы в тыл немцев, когда на проселке они подорвали гранатой «опель-капитан», в котором кроме убитого шофера был еще офицер. Он выстрелил из пистолета и убил

подходящего к машине разведчика, а потом выстрелил себе в висок. Трофеи попали к начальнику разведки дивизии, майору Хозанкину, и он перед отъездом на переподготовку подарил их Сазонову, спасшему однажды сержанта-разведчика от военного трибунала за хищение спирта. Если «парабеллум» лежал без надобности, то альбом для Дмитрия Васильевича был страницей общения с тем благородным и необычайно красивым осколком Атлантиды прошлого. Он никогда никому его не показывал, стесняясь своего сострадания к тому разрушенному миру. Никто из его окружения не понял и не разделил бы его настроения, глядя на эти лица дореволюционной эпохи!

На титульном листе было каллиграфически выведено, что оный альбом приобретен в С.-Пб., на Морской улице, в магазине Кузьмина, в 1889 году г-жой Любомирской Е.Н. В изредка выпадавшие свободные минуты он брал альбом в руки и всматривался в лица женщин, мужчин, старых, молодых, детей, редко с серьезным и почти всегда с выражением приятной улыбки, как будто они посылали радостное благословение своим родным и близким. Дагеротип черного и коричневого изображения скрадывал морщины у пожилых, а молодых делал ангелоподобными. Картонные, с серебряными лилиями на полях и с золотым обрезом страницы хранили в себе этот ушедший мир. Сазонов не знал его, не жил в нем, но подсознательно выражал ему сочувствие. Только благодаря этому альбому, где были еще и визитки, открытки с поздравлениями с Рождеством Христовым, Пасхой, тисненные на хорошей бумаге, с цветами, виньетками, с голубыми куполами церквей, украшенными елками, бирюзовыми, золотыми пасхальными яйцами, он узнал, как в то время радовались письмам, стародавним праздникам и встречам. По открыткам можно было узнать, кто и где встречал Новый год, кого ожидали в гости, кто к ним приезжал. Какими только ласковыми именами не называли хозяйку альбома! А она, всегда и везде восторженная, с чарующей улыбкой, светлоглазая, смотрела в упор на Дмитрия Васильевича, и он испытывал чувство неосознанной вины и укора, что он без спроса держит в руках принадлежащую ей вещь и беспардонно рассматривает лицо, руки, открытые плечи, декольте и стройную фигуру у беседки под руку с элегантно одетым мужчиной. Кто он был ей? Муж, брат, дядя? Неизвестно. Она молча улыбалась, а Дмитрий Васильевич даже приревновал ее к этому темноглазому, с небольшой бородкой, в сюртуке. Тот смотрел на нее, улыбаясь только ей… Все эти конвертики и письма со словами – милая, дорогая, ненаглядная, Катенька, Катюша, Китенька – и еще многими такими теплыми, уютными, домашними словами

закончились мартом 1918 года; последней открыткой. Писала женщина, беспокоилась молчанием. Что случилось с Любомирской Е.Н., с ее семейством, домом?.. Никто рассказать не мог. Лица, населявшие альбом, улыбались, но молчали. А Дмитрия Васильевича охватывало чувство невыразимой печали, как от потери близкого человека! И, повторяя понравившуюся строку о бренности жизни «И что останется? Лишь голубой туман, что от огня и пепла встанет в поле!», он прятал альбом в глубину сейфа.

На средней полке в дерматиновом переплете лежал еще один альбом. В отличие от первого это был служебный документ, полученный из ГУКР «Смерш»[19] на разыскиваемых лиц, подозреваемых в преступлениях против советской власти. Со страниц альбома на Сазонова глядели в основном мужчины от 18 до 60 лет. Это были армейские командиры, политработники и изредка гражданские лица. Здесь можно было проследить зигзаг многих сотен причудливых судеб: честное служение в Красной Армии, благополучие, расцвет карьеры и, как птица, подбитая на взлете, в падении с коротких июньских ночей сорок первого, паника отступления, плена и дальнейшего падения. Нужно было выбирать: сотрудничать, помогать, быть преданным новому режиму, воевать любыми способами против своих или… обречь себя на голодную смерть в концлагере. Почти все, за редким исключением, любили жизнь больше, чем свою родную Красную Армию, и, не говоря уже о единственном в мире социалистическом отечестве, подавленные случившимся, они забыли о нем и жили только одной мыслью – приспособиться и выжить! Так уж устроен человек: своя рубашка ближе к телу, чем интересы Красной Армии, ВКП(б), государства рабочих и крестьян!

В дешевом дерматине были собраны не только трагедии отдельных личностей, но и трагические ошибки ведущего и направляющего, с необъятной властью партийного Ареопага, его Вождя и всей системы, оказавшейся на краю гибели! Открывая страницу розыскного альбома на букву «Б», Сазонов видел глядевшего на него с фотокарточки моложавого, с умным выразительным лицом генерал-майора Бессонова Л.Н., бывшего начальника оперативного отдела штаба Белорусского Особого Краснознаменного округа, 1899 года рождения, члена ВКП(б), с военным академическим образованием. Он попал в плен при невыясненных обстоятельствах, был отправлен немцами в Чехословакию, город Седлице, где содержался на территории бывшего монастыря с генералами и другими лицами из начальствующего состава Красной Армии, где каждому из них

предложили составить обзор об организации различных армейских служб, вплоть до контрразведывательной. Бессонов там же пытался организовать среди военнопленных партию так называемого «нового поколения», но конкурирующее власовское движение поглотило его организацию. Местонахождение неизвестно. Подлежит задержанию и аресту. Сазонов всматривался в симпатичное волевое лицо и думал: «Ну и угораздило же вас, товарищ генерал, вляпаться в такую историю! Это вам, голубчик, даром не пройдет, и будут теперь ваши родные до седьмого колена страдать за вас! Жену и детей вышлют в места, быть может, и не отдаленные, но денежного довольствия по аттестату лишат сразу. Устроиться на работу с такой мотивировкой высылки почти невозможно, в общем, ложись и помирай!..»

Дальше по алфавиту еще несколько генералов – и все с припиской «попал в плен при невыясненных обстоятельствах». Это намек на предательство, а что записано пером, – уже не вырубишь, не сотрешь, и будет оно висеть вечно!

Ну а еще дальше малопривлекательная физиономия генерал-лейтенанта Власова в очках. О нем по линии «Смерша» давно уже была дана подробная характеристика – более солидный документ по сравнению с короткой справкой над фотокарточкой. Почти на каждого разыскиваемого в альбоме была фотокарточка. Они смотрели на Дмитрия Васильевича, они были враги: пошли в услужение к немцам и ради сохранности своей жизни губили, калечили своих соотечественников – одной земли, одного уклада, где были их предки и будут жить их внуки!

В истории тысячелетнего государства было много необъяснимой, неоправданной жестокости, коварства, вероломства правителей и их подданных, были смуты, братоубийственные войны, измены, предательства, но такой измены, такого перехода на сторону врага история России не знала со времен Рюрика! В Первую мировую у немцев оказалось более полутора миллионов российских военнопленных, но не нашлось ни одного из них, кто бы добровольно взял оружие и стал воевать против своего же народа! А эта, третья по счету, Отечественная породила сотни тысяч тех, кто выступил против единственного, родного рабоче-крестьянского государства! Как, в результате чего это случилось? Такие вопросы не могли возникнуть у Дмитрия Васильевича, но не могло и не может быть, чтобы кто-нибудь в этой стране не задумался над этим явлением и не сделал вывод, что государство было больным, и только великое терпение народа позволило выдержать кровавый эксперимент насильственного удержания власти, породившей

множество смертельно обиженных, затаивших мщение, злых и готовых сражаться с ним, когда пробил их роковой час!

Однажды зимой, когда их дивизия была во втором эшелоне наступления, они вышли к пристанционному, наполовину сожженному селу Прилуки и повстречали местного жителя, заросшего бородой, на костылях, с санками и мешком мерзлой картошки. Он картинно стоял, опираясь на самодельные костыли, среди обступивших его солдат и звучным голосом, радуясь встрече и тому, что его слушают, поведал короткую, но горестную историю своего родного края:

– Вот я и говорю, наши Прилуки такого не знали! В сорок первом, когда ваши товарищи отступали, «энкавэдисты» хотели поджечь село, да не успели, а вот теперь мы не уцелели, сожгли нас... Ты спрашиваешь, где народ? А мужиков, почитай, не осталось никого. Сначала, как немец пришел, человек пятьдесят, вместе с окруженцами, в услужение к немцам пошли, значит, в полицию, дорогу охранять и на другие казнительные дела!.. Многие тогда подумали, что совецка власть кончилась, а немец был силен, и кругом говорили, что Москву и Ленинград взяли, а товарищ Сталин с гробом товарища Ленина будто за Урал убежал. Откуда нам знать, товарищ дорогой, что это провокаторы выдумали?! Я и не говорю, что мы все поверили. Что нас винить: радио не было, газет никаких, вот и жили слухами... Конечно, была какая-то надёжа, что Расея выдержит! А что касаясь предатель-полицаев, так много было обиженных среди них, а другие по дурости, вот они и решили поквитаться с властью, а человек сорок ушли к партизанам. Вот и получился раскол: энти за немцев, а те против! – И, свертывая цыгарку, он обиженно буркнул под нос: – Вот бы вам пожить под немцами хоть неделю, вот бы узнали, почем фунт лиха... Из поселка выйти – надо аусвайс[20] иметь. А к ночи и по поселку не пройдешь: полицаи так и шмыгали по улицам, по дворам – партизан искали и этих, на «железке» подрывателей.

Дмитрий Васильевич почему-то вспомнил этого одноногого мужика, его незатейливые рассуждения насчет раскола среди обитателей этой исконно русской глубинки. «А если разберешься, то, почитай, с гражданской, коллективизации и ежовщины каждый третий был обижен. Вот она, обида и вылезла, когда власть ослабела», – отметил он про себя.

Но в розыске были и такие, кто сделал свое предательство доходным ремеслом. Сазонов выбрал из розыскного альбома сведения на всех лиц, кто служил у немцев на оккупированной территории. Много их там было, разных по возрасту и по своему прошлому: были военные, штатские самых разных профессий – от

колхозника, бухгалтера, сотрудника милиции до инструктора райкома партии и бывших уголовников. Но один из них по своему умению и размаху кровавых дел стоил двух десятков полицаев, бургомистров и другой мелкой сошки, трусливо служивших новому порядку. Это был настоящий волк-вожак – хитрый, изворотливый, упорный в достижении цели и вместе с тем находчивый и дерзкий, а в целом это был настоящий самородок разведки и контрразведки. Он был хорошо известен начальнику «Абверштелле»[21] майору Глюкнаузу, неотлучно находившемуся с осени сорок первого года в штабе группы армий «Центр», в селе Красный Бор под Смоленском. Разыскиваемый был дважды награжден немцами и получил почетное гражданство за заслуги перед рейхом. Все это Сазонов почерпнул из розыскной справки под фотоизображением этого «умелого» пособника. Да, на него смотрел, почти улыбаясь, юноша с малоприметным лицом, в форменной, с петлицами, куртке и с очень ровным, почти на середине головы пробором волос. Так Сазонов через служебный документ познакомился с Лисовецким Анджеем Яновичем, поляком, уроженцем г. Гродно, двадцати пяти лет, со средним медицинским образованием.

Только один Калмыков как секретарь отдела знал, сколько Сазонов разослал запросов, чтобы отыскать следы Лисовецкого. Поступающие сведения, конечно, подтверждали, что он находился на территории, занятой нашими войсками в период летне-осеннего наступления Западного фронта. И с той поры о нем – никаких сведений. Из партизанского штаба Пономаренко пришел подробный меморандум из разработки на представителей немецких разведывательных и охранных органов, где было указано, что Лисовецкий, он же Адамчук, он же Ткачев, – руководитель антипартизанской группы, по данным партизанской агентуры, с августа 1943 года не проходил по разведсводкам партизанских отрядов Смоленско-Оршанского направления. От каких-либо предположений относительно возможных причин исчезновения Лисовецкого партизанский штаб воздержался. А вот «судоплатовское хозяйство»[22], обладая более полной информацией, высказало предположение, что разыскиваемый, по всей вероятности, оставлен со своей группой для осуществления шпионско-диверсионных актов в полосе Западного фронта, и рекомендовало (здесь шел обычный набор общих «энкавэдэшных» мероприятий): усилить, расширить, углубить, проверить... А для согласования всех вопросов по розыску Лисовецкого-Адамчука связаться с майором Куракиным из управления «Смерш» Западного фронта.

Сазонов только частично согласился с предположением 4-го

управления. Он подумал, что абвер вряд ли стал оставлять в этих местах такого «специалиста», как Лисовецкий. Он им был позарез нужен в Восточной Белоруссии для ликвидации партизан, спецотрядов, безопасности железной дороги. А для диверсий в прифронтовой полосе немцы могли оставить кого-нибудь попроще – из местных полицаев, которым деваться было некуда: впереди пуля, а сзади – виселица!

Все материалы розыскного дела говорили, что Лисовецкий исчез бесследно. Но в материальном мире всегда остаются следы. Их только нужно тщательно искать. И Сазонов настойчиво продолжил поиски разыскиваемого. Однажды он получил ответ из транспортного отдела НКВД на Смоленской железной дороге. У них нашлись два человека, кто знал в лицо разыскиваемого и видел его в начале августа. Один из них – путейский рабочий, а второй – женщина, бывшая связная партизан, стрелочница на разъезде Установка. Вот она и рассказала, что видела Лисовецкого несколько раз на станции, а в первый раз он приехал на мотодрезине, что свидетельствовало о его принадлежности к начальству, в сопровождении одного военного немца, в форме, и вооруженного полицейского с нарукавной повязкой. На станции их ждала бричка с возницей. Лисовецкий уехал с ним, а полицейский и немец подошли к будке обходчика, где была стрелочница, и попросили воды. Она слышала, как немец наказывал полицейскому встретить через два дня господина Лисовецкого и сопровождать его в Смоленск.

Внешние приметы Лисовецкого, описанные бывшей партизанской связной, сходились полностью: стройная, поджарая фигура, пробор в волосах и голубые глаза. Потом она видела его еще несколько раз на станции и каждый раз он приезжал с кем-то, а уезжал один, в одной и той же бричке, с той же лошадкой гнедой масти. Как много возникало вопросов: зачем приезжал Лисовецкий на этот глухой разъезд и куда он таинственно исчез на бричке?!

Сначала Сазонов предполагал, что это конспиративная встреча с агентурой. Но для этого лучше подошло бы ночное время; зачем ему на виду у многих ехать сюда, ведь целесообразнее агенту приехать к нему и в безопасных условиях провести инструктаж за рюмкой шнапса. А если он ездил для встречи со своей группой, поселившейся где-нибудь в укромном месте, схоронившейся от людских глаз? По материалам розыска, в его группе было пять человек – трое русских и два литовца. Появление пяти здоровых мужчин, не прячущихся от местной полиции, обязательно вызвало бы слухи в окрестностях. Эту версию, несмотря на ее вздорность, нужно было проверить.

Мысленно поблагодарив оперативников-транспортников, Сазонов стал обдумывать, как изложить местным органам задание по обнаружению следов Лисовецкого.

Дмитрий Васильевич представлял, что у разыскиваемого много дорог, фора во времени, возможности маскировки, а ему нужно выбрать единственную, но верную, найти его, пока изощренный на выдумки злой гений не подготовил новых кровавых дел, не втянул, коварно не обманул неопытных, доверчивых на своем пути.

Сазонов достал крупномасштабную карту, рассчитал, на какое расстояние можно отъехать на лошади за один световой день, выписал бывшие в этой округе населенные пункты. Потом составил в письменном виде задание по командировке, и на следующий день два его оперработника на попутных машинах ехали в ту сторону, где Лисовецкий скрывал тайну своих посещений.

И еще он представлял, как живет народ в только что освобожденных районах Смоленщины, куда он направил своих орлов. Темное чрево землянок, блиндажей, приспособленных для жилья, чадящие коптилки, заправленные не керосином, а ружейной щелочью. Голод и холод, и надо же – все посланные в те края его отделом запросы исполнялись толково и в срок, хотя и рукописным текстом, плохими чернилами, и на листах конторских книг, и в самодельных конвертах, но ведь отвечали по существу, с чувством ответственности за исполнение поручения армейского «Смерша».

Так постепенно на разыскиваемого стали поступать сведения очевидцев, невольных свидетелей по захвату партизанских, спецотрядовских разведчиков, связных, раскрытию явочных квартир. Причем многие из них рассказывали, что Лисовецкий часто сам лично участвовал при задержании и на первых допросах арестованных. Но все, что было собрано на Лисовецкого, было лишь малой толикой того, что на самом деле за ним числилось. Знай об этом Сазонов, он удвоил бы свое рвение по его розыску. Но если бы он знал, почему пан Лисовецкий стал непримиримым врагом и что его заставило выбрать такой смертельно опасный путь, тогда он, может быть, задумался над такой судьбой, но вряд ли выразил сочувствие – служба в немецкой разведке, как противотанковый ров, отделяла их друг от друга! А для того чтобы лучше это понять, нужно знать или хотя бы предполагать частную жизнь бывшего обывателя Западной Белоруссии.

Глава XII
ЗАЛОЖНИК ДВУХ СИСТЕМ

Он родился в 1919 году в Гродно. Страна уже год как была республикой, а его отец – ярый сторонник ее «незалежности», бывший адвокат – был назначен городским головою.

В 1938 году Анджей окончил с отличием фельдшерское училище и готовился после двухгодичной практики поступить на медицинский факультет Варшавского университета, но тут грянула война. Он был мобилизован и в чине прапорщика принял санчасть саперного батальона пехотной дивизии. Но сражаться с немцами не пришлось – Варшава пала, сопротивление было бесполезным. Их командир приказал разобрать продовольственные и вещевые запасы и распустил батальон. Все оружие, чтобы не сдавать немцам, было закопано. И они молча расходились по домам в осеннюю слякоть, группами и в одиночку, никому не нужные, никому и ничем не обязанные! Он с тремя рядовыми, призванными с одной улицы, двинулся домой. Уже в пути узнали, что Советы тоже выступили против Польши. Через две недели они были дома. Отец молча обнял сына, его сестра – старая тетка Розали, плакала, предчувствуя, что ожидает их впереди.

А через двадцать дней на окраине Гродно Красная Армия в бывших казармах Войска польского расположила два кавалерийских полка, и их конные разъезды по ночам патрулировали притихший город. На центральных улицах появились офицеры и солдаты в фуражках василькового цвета, с красным околышком. По ночам начались аресты. Первыми были арестованы состоятельные люди города: два директора банка – коммерческого и сельскохозяйственного, владелец двух текстильных фабрик с его управляющими и еще десяток владельцев разных магазинов. Затем были арестованы представители власти, полицейские чины и даже инспектор учебных заведений города. В число арестованных попал и отец Анджея. Его взяли на работе и под конвоем отвезли в городскую тюрьму, где уже были собраны все уважаемые люди Гродно. Напрасно Лисовецкий-младший добивался в комендатуре разъяснений о причинах ареста его отца. Его выслушали и стали успокаивать, что в тюрьме находятся не арестованные, а задержанные для проверки лояльности, что их тут же должны выпустить. Этому многие поверили и стали терпеливо ждать. Потом в городе объявили о регистрации всех бывших военных,

мобилизованных до и после 1 сентября 1939 года. Регистрация проводилась в здании коммерческого училища, в актовом зале. Во дворе он увидел спешившихся кавалеристов и привязанных вдоль забора лошадей. Ему показалось подозрительным такое количество вооруженных людей во дворе. Он тут же пошел в ватер-клозет, через окно выпрыгнул в сквер двора и переулками добрался до дома, собрал все необходимые вещи в свой старый бойскаутский рюкзак и, наспех объяснив тетке, что его могут разыскивать, ушел к другу своего отца – старому холостяку Иосифу Загурскому, бывшему еще в царские времена мировым судьей. Они проговорили всю ночь. Утром узнали, что все, кто приходил на регистрацию, задержаны, и их ночью препроводили в тюрьму.

Город, подавленный силой и угрозами ареста, страдал молча. Внутренняя радиосеть молчала, телефоны не работали, газеты были закрыты. Собирались к тем, у кого были радиоприемники, слушали Москву, Берлин, Лондон, но всем было не до судьбы жителей Западной Белоруссии, а незаконно схваченных теперь эшелон за эшелоном отправляли на Восток. Рынок обезлюдел, работы не было и обыватель с ужасом думал, как он переживет эту зиму. Жить у пана Загурского стало опасно. В дом отца дважды наведывался сотрудник вновь организованной милиции, тетка объяснила, что племянник уехал в Варшаву.

Однажды, прячась от дождя, он зашел в учебный корпус своего училища. Швейцара – доброго инвалида Матюшко, уже не было. Двери открыты, в здании мертвая тишина и пыль запустения… А ведь когда-то здесь жизнь била ключом: какие бывали вечера, балы-маскарады. Не только одними скучными лекциями жило будущее племя молодых эскулапов. Как Анджею хотелось вернуть это время, не видеть наглых кавалеристов, не слышать цокающих по улицам подков, не встречать их и не прятаться от этой своры «энкавэдэшников» в коверкотовых гимнастерках с нарукавными шевронами – меч в венке, не слышать их смеха на открытой веранде единственного, оставшегося открытым в городе ресторана «Колизей». Как он их ненавидел, уверенных, затянутых в портупеи, их откормленные рожи, раболепие жителей перед ними!

Между прочим, жить теперь в богатых особняках стало опасно: белым днем, при всем честном народе сотрудники НКВД с новой милицией насильно выдворяли их обитателей и занимали особняки со своими семействами. Некоторые дома просто опечатывали со всей обстановкой и имуществом как резерв для новой орды.

Анджей тихо прошел по пустынным коридорам училища и

зашел за сцену актового зала: старые, потемневшие от пыли зеркала, две маленькие грим-уборные... Вспомнил выпускной вечер тридцать восьмого года, юбилейного – Республике исполнилось двадцать лет! Он участвовал в любительском спектакле, роль была маленькой, но его игру отметили все: тонко и правдиво он сыграл старого, хромого слугу – бывшего солдата. Заглянув в шкаф, он нашел там парики, накладные бороды, усы и, вспомнив о своем положении, беглеца от нынешних властей, положил в рюкзак реквизит любительского театра и ушел навсегда, закрыв за собой дверь.

Бывший судья был житейски мудрым человеком. Он с горечью поведал, что тевтонцы – вечные враги славянства: всю жизнь они поучали своих соседей, как нужно жить и работать. А теперь, когда у них такая «войскова» машина, они силой покорят всех славян, и окаянным Советам нечего надеяться на добрый мир с ними! «Сейчас колбасники возомнили о себе – растерзали нас, как злобный пес котенка, и теперь возьмутся за других! Гитлер как велосипедист – он должен крутить педали, если остановится – упадет!» Не миловал пан Загурский и Советы, называя их разбойниками с большой дороги; вспомнил их неудавшийся поход на Варшаву в двадцатом году: «Такого в истории Европы давно уже не было. Налетели, как гунны, убивали, грабили, унижали, как могли, простых обывателей. Особенно казаки – эти презирали всех, кто не на коне. Они храбрые, когда их много и перед ними слабый, но когда им дали по зубам где-то под Львовом, они бежали, бросая обозы с награбленным, убитых и раненых». До сих пор поляки в тех местах недобрым словом вспоминают это нашествие и этого «пся крев»[23] Буденного и его конников-грабителей...

А в городе продолжались одиночные аресты, прямо на улицах, – охотились за бывшими офицерами, молодыми людьми призывного возраста. Однажды Анджей чуть не угодил в их цепкие лапы. Подойдя утром к трамвайной остановке, он увидел двух, явно нездешних по обличию, с колючим взглядом. И уже в трамвае почувствовал их приближение к себе. Народу было много, в основном женщины – работницы текстильной фабрики Шпиллера. У него мгновенно созрело решение – выскочить из вагона, и он стал пробираться сквозь галдящих между собой женщин, шепча извинения, а сзади, раскидывая их, лезли за ним те двое, и работницы, почуяв чужаков, сознательно стали мешать им продираться сквозь эту мягкую, податливую, но цепкую массу тел. Анджей успел выскочить на остановке и рванул через улицу в первый проулок.

И первый раз в жизни услышал тенькающий звук пуль над

головой и два выстрела. Стреляли по ногам, пули ушли рикошетом от каменной дорожки в небо, Анджей уже садами вернулся домой. Теперь все его помыслы были направлены на свою безопасность и борьбу с нынешней властью. Его не испугали выстрелы – они ожесточили его, обострили внимание и способность заранее распознавать опасность, предупреждать и идти навстречу ей, если это выгодно и хочешь уцелеть в этой схватке. Азарт игрока разбудил дремавшие в нем гены векового польского бунтарства, его мозг заработал, как у шахматиста, выстраивая многочисленные комбинации и неожиданные ходы с обманом противника. Это пригодится ему потом, когда у него в подчинении будут надежные люди, а сейчас он один вступил в неравный поединок с красной гидрой.

И он стал готовиться: оборудовал убежище на случай прихода незваных гостей, убрал из дома все следы своего пребывания, приспособил выход на крышу через слуховое окно, тщательно проверил ночные гардины на окнах, приготовил рюкзак с необходимыми вещами и поставил его за ширму. Он опасался выйти в город: его могли искать по приметам. Однажды ему пришло в голову устроить маскарад, тут ему и пригодился театральный реквизит. И вот из дома пана Загурского вышел на костылях нищий цыган со смуглым лицом, черными волосами до плеч и в темных очках. Так Анджей приобрел вторую внешность.

За целый день скитаний по городу он многое увидел и услышал. Город глухо бурлил: женщины между собой открыто ругали новую власть за пропажу продуктов на рынке. Мужчины были сдержанны – побаивались крутых мер властей, но подростки открыто смеялись над «москалями» в военной форме, передразнивая их русскую речь. По улицам ходили патрули с вновь созданной рабочей милицией. Анджей без труда отыскал своих преследователей; они в паре «работали» по тому же маршруту. Наблюдая за ними, выследил их гнездо в бывшей гостинице «Будапешт». К концу дня они подтягивались туда не таясь. Через три дня он запомнил в лицо всех сотрудников филерской службы, всех как один одетых в плохо сшитые дешевые костюмы, в одинаковых черных ботинках, куривших русские папиросы марки «Беломорканал». Всего их было около пятнадцати. Они несли службу группами по два-три человека, контролируя уездный городок вдоль и поперек. Им не составляло труда слушать, что говорят обыватели, вести наблюдение и задерживать подозрительных, в особенности мужчин. Беглецов из Варшавы, Белостока было видно сразу – многие из них были хорошо одеты и этим отличались от местных. Возможно, это были бывшие офицеры, полицейские, чиновники. В Западной Польше

за ними охотилось гестапо, а в Восточной части – НКВД. И здесь и там их ждал концлагерь.

В начале октября начался сезон уборки картофеля. Многие горожане поехали наниматься на работу в деревню. Анджей тоже поехал к родственникам пана Загурского, где убирал картофель, капусту, кукурузу, заработал несколько пудов картошки и кукурузы и ночью все это привез в дом Загурского. Он продолжал соблюдать все меры предосторожности, совершенствовал их, придумывая новые виды маскировки: одевался под старика, изображая увечного селянина, и даже женщину, одетую в траур, таких сейчас было много в Польше. Судья посмеивался, но с интересом наблюдал за его маскарадом.

Томительно и медленно шло время – война остановилась: германские войска в боевой готовности застыли на французской границе. И весь мир жил ожиданием грозных событий. По ночам Анджей с Иосифом слушали заграничное радио: мощная станция Москвы перебивала всех и твердила, что финны угрожали Ленинграду и напали на СССР. Из Берлина неслись победные марши, а в перерывах – трескучие, лающие речи фюрера и победно утверждающий голос диктора. О судьбе отца и его коллег по несчастью не было ни слуху ни духу – как в воду канули! Судья пробовал навести справки во вновь созданном городском Совете, но ровным счетом ничего не добился, и в результате за ним увязался один из филеров. Если бы Анджей не устроил слежку за своим компаньоном и не ухитрился в магазинной сутолоке, куда зашел судья, шепнуть ему, чтобы он не вел за собой домой «хвост», а переждал до вечера у знакомых, то можно было ожидать обыска в доме. После этого случая судья проникся уважением к Анджею.

Слухи в городе ходили разные: многие не верили, что для проверки на лояльность требуется вывоз задержанных в Союз. Но никто не думал и не предполагал, что это закончится Катынью!

В те тревожные ночи Анджею часто снился отец – слабый, незащищенный, такой родной и близкий, смотревший на сына как будто с укором, что тот оказался нерасторопным и не смог защитить его. Кто мог знать и предполагать, что так случится!

Поздняя осень тридцать девятого года приметами природы предвещала суровую зиму, и она прошлась по Восточной Европе, промораживая насквозь пруды, загубив в садах яблони и вишни. Опасность жила рядом с Анджеем. За это время городская милиция пополнилась специалистами из России, но в конспиративной базе НКВД число филеров вроде бы сократилось: «зачистка» нежелательных элементов поуменьшилась и оставшиеся вели только наблюдение в городе. Сам город и

местность, прилегающая к нему, по закону Советов были объявлены пограничной зоной, это давало возможность властям держать под контролем перемещения жителей уезда и приезжих. В любое время суток входить в дома для проверки документов и задерживать всех подозрительных.

Городские власти начали выдавать новые паспорта; одновременно с этим появились объявления о наборе рабочей силы для заготовки леса в Приуралье. Анджей понимал, что при получении нового паспорта возникнут трудности в милиции, поэтому зачастил на своих костылях на рынок к одному белорусу-рабочему, а им выдавали документы в первую очередь. Отдал свои добротные сапоги и получил паспорт на имя Адамчука Ефрема Кузьмича. Теперь он документально был защищен белорусским именем и рабочим происхождением. Новые власти, надрываясь, кричали, что в Польше были угнетаемы нацменьшинства, и особенно белорусы. Это белорусское происхождение пригодится ему потом, для проникновения к партизанам. Анджей даже не стал переклеивать фотокарточку и отпустил небольшую, крестьянскую бородку и усы, как у прежнего владельца паспорта, приобрел домотканую свитку, треух и в этом наряде ходил днем, неузнаваемый даже своими знакомыми. Еще осенью он решил совершенствовать свой немецкий и английский, чтобы пробраться в Латвию, поступить матросом на корабль, а затем присоединиться к воюющим против немцев. Но события опередили его намерения.

Летом 1940 года немцы разгромили Францию, а на Яблочный Спас, когда приходят теплые звездные ночи, русские, по договоренности с Гитлером, заняли Прибалтику, а немцы при этом отхватили лакомый кусок – литовский порт Мемель.

План Анджея – пробраться в Англию и воевать против немцев – рухнул в одночасье! Он был разочарован, но не утратил способности быть осторожным и осмотрительным. Это вошло в привычку: видеть, наблюдать, выискивать подозрительное в поведении окружающих его лиц, в обстановке, не выставляться напоказ. Тот случай в трамвае, когда агенты НКВД чуть не схватили его, научил многому.

Его компаньон – Иосиф Загурский – целыми вечерами читал французские газеты «Le Mond» и «Figaro», привезенные им еще в мирное время из Варшавы, где он бывал на собраниях Союза отставных чиновников по министерству юстиции. И на день юбилея – двадцатилетия «Ржечи Посполитой» – в 1938 году был приглашен на торжественный прием в президентский дворец как ветеран судейской мантии. Как все быстро прошло в жизни: гимназия в Варшаве, студенчество в Петербурге, убийство царя-

освободителя, судейское кресло в Белостоке, потом в Гродно, где встретил старость. Детей у него не было, единственный племянник где-то обретался в Берлине, женатый на немке. И теперь он почитывал старые газеты, разбирал тексты великого Нострадамуса, вспоминал планы генерала-президента о создании новой унии литовско-польского государства «от можа до можа»[24]. Судья был уверен, что англо-саксы разобьют немцев, и ожидал, что Америка вот-вот вступит в войну. Он посоветовал Анджею заняться языками, и тот по вечерам зубрил грамматику, делая переводы с немецкого из Библии, оставленной в доме племянником судьи.

Шел день за днем. В городе по-прежнему с утра стояла очередь за хлебом, им торговали только до обеда. Другого продовольствия в национализированных магазинах не было, и только рынок был единственным источником пропитания; но крестьяне неохотно брали новые советские деньги и предпочитали обмен на вещи – они исчезли с приходом Советов.

И снова была осень, и Рождество Христово, и ранняя весна сорок первого года. Она запомнилась обывателям огромным потоком прибывающего в окрестности города военного люда. Леса наполнились бескрайними рядами палаток, землянок, шалашей, машин. Лесная чаща не могла скрыть такого количества народа, и в ней, ранее безлюдной, теперь, как в муравейнике, шло шевеление тысяч людей.

В народе говорили о скорой войне. «С кем воевать?» – спрашивал Анджей. «Известное дело – Советы с тевтонцами», – отвечал ему старый дед. На рынке появилось много армейской обуви, одеял, белья. Самым ходовым товаром среди военных был самогон. Но здесь милиция не дремала – были ночные облавы, обыски.

Это случилось вечером, в конце мая, когда отцвела сирень и акация одела улицы в белый наряд. Анджей возвращался домой, нес в сумке две книжки на немецком языке, полученные от приятеля судьи, которого он посетил в тот вечер, как вдруг рядом раздался грозный окрик: «Стой, стрелять буду!» – и сразу же винтовочный выстрел, топот ног; мимо него промчался высокий мужчина, а за ним вдогонку двое солдат. И тут же он наткнулся на двух командиров, трусивших рысцой за солдатами. Они отпрянули от неожиданности, но один из них ловко выхватил пистолет и скомандовал Анджею: «Руки вверх!» Они обыскали его и, найдя книги и карманный словарь на немецком языке, переглянулись и повели в комендатуру. Дежурный, маленького роста, с двумя кубиками в петлицах прищурился, разглядывая книги и словарь, тут же позвонил куда-то и сообщил радостным

голосом, что задержан человек с немецкими книжками. Его доставили в ту же самую гостиницу «Будапешт», где он обнаружил базу филеров. Допрашивал его ровесник с простым, добрым крестьянским лицом. Но появился еще один, в штатском, с недовольным выражением лица. По всему было видно, что это начальник первого, и допрос принял жесткий характер. Они долго заставляли признаться, что он немецкий шпион. А потом зверски били вдвоем, особенно старался ровесник с добрым крестьянским лицом. Анджей потерял сознание, потом, снова обретая и теряя его, упорно отрицал вербовку за кордоном и незаконный переход границы.

Утром он очнулся в загородной тюрьме, в тесно набитой разным народом камере. Потом долго лежал, теряя сознание от боли. Его сосед, пожилой, с седой бородой, давал ему пить – есть Анджей не мог, его пайку белобородый прятал в свою котомку. Он кашлял и мочился кровью; спина, грудь, бедра были синие, вздутые от кровоизлияния. Его сосед, наблюдая за ним, сказал: «Били насмерть. За что же они тебя так разделали?» От малого человеческого сочувствия Анджей беззвучно заплакал. Только молодость и здоровый организм дали ему возможность подняться на ноги на десятый день. Ожидая новых допросов, как во сне, он вспоминал, что ему в два голоса кричали: «Ты не белорус, ты не селянин! Посмотри на свои руки, скотина, они у тебя белые и холеные!» А он все отрицал, понимая, что если скажет адрес судьи, то будет беда. Эти побои не устрашили его, а породили злость, желание выжить и отомстить им всем! Он вспомнил задержание отца и его знакомых, охоту на подозрительных, слова пана Загурского «большевики не лучше, чем фашисты», и теперь, после этой кровавой бани, у него в мыслях было только одно: мстить, если он будет жить!

Белобородый сосед терпеливо помогал ему подняться на ноги и целыми днями рассказывал о себе, своей деревне на Новгородчине, как вернулся домой с фронта и был мобилизован в Красную Армию, по какой-то причине провинился – приговорили к расстрелу, бежал вместе с часовым и попал в отряд к Булак-Булаховичу[25].

– Вот уж краснюкам задавали мы трепку, – посмеиваясь, рассказывал он. – И каких только каверз, ловушек, засад они нам ни делали, но наш начальник разведки, поручик Панов, башковитый был по этой части, он их всегда упреждал. Он меня за сообразительность командиром лазутчиков назначил. Бывало, пока отряд на дневке отдыхает, а мои орлы наряжаются в кожаные куртки, у меня красный бант, маузер в деревянной кобуре и предписание-мандат от самого Дзержинского. Был у нас

один художник из уголовников – большой мастак по подделке документов и печатей... Приезжали прямо днем в уезд и сразу в местную ЧК. Я предъявляю документы на выполнение особого задания, все передо мной в струнку. Мои орлы молчат, морды хмурят, напускают на себя туману. К вечеру мы, узнав все, что нужно, – пропуска, пароли, уезжаем в отряд и ночью выступаем. Утром без боя уездный городок в наших руках: вся власть схвачена, начальник «чекушки» и начальник милиции уже на допросе, «чоновцев» разоружили и распустили по домам, комендант гарнизона – молоденький комиссарик – застрелился, а его рота винтовки побросала и руки вверх. Но потом на нас навалились красные казаки-добровольцы, а мы выскочим из-за кордона, ходку по двум-трем селам сделаем, с пяток комиссаров перевешаем и обратно! Но с двадцать первого года, как ввели нэп, так все мужики от нас отвернулись, и мы разбрелись кто куда. Я в Польше остался, в лесничестве объездчиком служил. А как пришли Советы, уволился и пошел бродяжить по деревням, вот тут меня и прихватила милиция. Фуражку пожалел выбросить – след от кокарды остался, вот и замели сюда...

Началось лето, прошла Троица. В тюрьме днем страдали от жары. Анджея больше не допрашивали, но никто не знал, что органам было не до сидельцев здешнего замка. В конце мая в НКВД Белостока явились два гражданских перебежчика и рассказали, что немцы готовят «сигнальщиков», снабженных ракетницами и специальными фонариками. И теперь органы были брошены на задержание нарушителей границы и разоблачение среди них лазутчиков.

Наступила роковая судная ночь для миллионов судеб! Она оставила в истории человечества громадную вмятину, какой не было со дня потопа!

В ту ночь у начальника тюрьмы – лейтенанта Фоменко, составлялись списки заключенных для отправки их в Союз. В полночь ему позвонили из Белостока, и он бодрым голосом заверил, что у него на объекте полный порядок. В пятом часу утра послышался самолетный гул, и горбатые «юнкерсы», блестя крыльями на восходящем солнце, пикировали на центр города. Взрывы бомб разбудили тюрьму, камеры загудели как пчелиный рой. Белосток уже не отвечал, и Фоменко сумел дозвониться только до начальника своего гарнизона и получил указание на вскрытие мобилизационного пакета. Прочитав короткую инструкцию, он тут же дал команду объявить тревогу по тюрьме и построить роту охраны. Через несколько минут у дверей каждой камеры стоял усиленный наряд с ручными пулеметами. К обеду на взмыленном коне примчался посыльный и передал листок

бумаги. Фоменко прочитал его, и через несколько минут во дворе пылал костер, где горела документация тюрьмы, а ее начальник с пистолетом в дрожащих руках подошел к первой камере, впереди него два сержанта с «ручниками». Как только открылась дверь, пулеметчики шагнули за порог и открыли огонь в упор по камере. Она охнула от неожиданности, но длинные, несмолкающие очереди заглушили первые крики. Фоменко кричал: «Меняй диски», – и стрелял из «ТТ» в лежащие тела. Камера наполнилась запахом патронной гари и крови. Потом были еще девять камер и такая же оголтелая стрельба по месиву живых тел. На Фоменко было страшно смотреть – в глазах безумие, на губах пена, руки черные от стрельбы. Так, согласно инструкции НКВД, были расстреляны обитатели гродненской тюрьмы.

Прошло много времени, когда Анджей вынырнул из темноты и вдруг увидел лицо старого судьи. Он понял, что остался жив. Теперь он был в немецком госпитале, не ведая, как в нем очутился. В его палате лежали еще три немецких солдата с обычными гражданскими хворями.

Он прислушался к разговору солдат и понял, что пошел только третий день войны и что Красная Армия почти разбита, а немецкие танки на подступах к Минску. На обход пришел главный врач – крепыш с седоватыми висками. Он больно помял под лопаткой выходное отверстие, сказал несколько фраз по-латыни, скользнул взглядом по лицу Анджея, улыбнулся, довольный результатом лечения.

По ночам, оставшись наедине со своими мыслями, Анджей вновь и вновь вспоминал отца, себя, тюрьму, расстрел и спрашивал себя: почему Советы поставили его вне закона, за какие провинности пострадал его отец, почему ему самому приходилось прятаться, как преступнику, и как свершился этот скорый суд. В памяти осталось: резко распахнутая дверь камеры, оглушающая, в упор пулеметная очередь, больно и резко ударило в грудь, рвануло под лопаткой и… мрак закрыл ему глаза. «Господи! За что ты обрек меня жить в такое время и чем я провинился, чтобы меня отстреляли как бешеного пса?!» От жалости и несправедливости к себе ему хотелось плакать, но глаза были сухими, а сердце разрывалось от обиды, голову заливало кипятком и жаждой мщения всему, что связано с краснозвездным существованием. Здесь, на госпитальной койке он дал обет борьбы с Советами до конца своей жизни. Анджей мысленно тренировался, как выразить на немецком благодарность главному врачу, и это вскоре удалось. Немец был приятно удивлен, завязалась беседа. Анджей рассказал о себе. Врач с сочувствием слушал его, потом сказал несколько

ободряющих слов и покинул палату. Этого было достаточно, чтобы старшая медсестра-немка тоже проявила к нему внимание и любезность. Уже перед выпиской в палату вошел майор Глюкнауз – сотрудник абвера, и судьба Анджея была решена.

Для многих жителей Западной Белоруссии война ушла далеко на Восток; здесь почти никто не сожалел, что Советы исчезли из этих мест, но мало кто радовался приходу немцев. Майору Глюкнаузу эльзасского происхождения, вежливому, с заметной французской галантностью, достаточно было сделать небольшое усилие, и Анджей дал согласие на службу в вермахте в качестве переводчика, со всеми видами довольствия, но без права ношения военной формы. Сначала он участвовал в многочисленных допросах-беседах с пленными командирами Красной Армии, познал армейскую терминологию, их отдельные привычки, создал целую коллекцию подлинных документов: от удостоверения личности генерала до красноармейской книжки.

Когда оккупация показала свою когтистую лапу беззакония, а жизнь и благополучие простого обывателя были поставлены вне закона, когда многие осознали свое ничтожество перед лицом новой власти, вот тогда на громадной территории возникла прелюдия к сопротивлению. Москва, не дождавшись стихийного возникновения партизанского движения, стала внедрять его насильно, забрасывая в тыл массу подготовленных, но иногда необученных идейных энтузиастов для борьбы с фашизмом. И, когда были обнаружены первые признаки вооруженного подполья, диверсий, саботажа, Лисовецкого назначили руководителем группы по борьбе с диверсиями на транспорте.

В те времена окруженцы из Красной Армии еще пользовались почетом и уважением среди простых людей: им сочувствовали, давали приют, делились провизией, показывали тайные тропы в лесах.

Первую диверсионную группу советского подполья в Орше он раскрыл, проникнув в организацию как командир из окруженцев, потом он привел своих «сослуживцев», и, когда были установлены действия каждого подпольщика, все они были арестованы и заменены рабочими и специалистами из Словакии. Его представили к награде. Потом таких операций у него будет много…

Пятерку им подобранных – ядро его команды – подобно обручу, крепила ненависть к Советам. У каждого из них выставлен свой счет большевикам. Обиженных было хоть пруд пруди, но Анджей выбирал таких, кто предпочел бы умереть, но не жить с ними! Так у него оказались два брата-литовца, бежавшие из эшелона при депортации, два белоруса, чьи хутора

были сожжены за оказание сопротивления властям. Замыкал пятерку человек греческого или армянского происхождения, средних лет, с феноменальной памятью, острым, проницательным умом – главный его советник и исполнитель замыслов: найти след к подполью и проникнуть туда. Каждый из пятерки был самостоятельным в своих действиях: мог по ходу действия дополнять свою легенду, приобретать информаторов, перепроверять и направлять их усилия на получение достоверных сведений.

Тактика борьбы с сопротивлением контрразведки вермахта целиком находилась под влиянием гестапо. Контрразведчики абвера, подобно своей тайной полиции, стремились одним ударом сразу ликвидировать всю группу без остатка, как можно шире оповестить население о поимке злоумышленников, арестовать по возможности больше косвенных соучастников и с помощью местной полиции устроить публичную экзекуцию над ними.

У Лисовецкого была другая тактика – он предпочитал различные комбинации: брать не всю группу, а оставлять часть актива на свободе, через осведомителей их лучше было держать под контролем – они были мостиком к партизанам, агентуре спецотрядов НКВД; иногда он выпускал на волю руководителей мелких звеньев, что вызывало у находившихся на воле подозрение о их перевербовке. Позже они попадали в «черные» списки партизан на ликвидацию, а тем разбираться было некогда – шлепнуть и дело с концом!.. Со своей пятеркой вдоль участка железной дороги Орша – Смоленск Лисовецкий сплел тайную мелкоячеистую сеть осведомления с явочными квартирами и целой системой условной связи.

Майор Глюкнауз, к тому времени руководитель «Зондеркоманды Р»[26], сделал его своим нештатным советником по борьбе с диверсиями в тылу группы армий «Центр».

Когда Сазонов, спустя много времени, выстраивал разные версии о загадочных посещениях Лисовецким разъезда Устиновка, он не мог и предположить, что здесь была обыкновенная житейская причина, а она была...

Однажды в Смоленске Лисовецкий встретил свою любовь, и, не знавший материнской любви, ожесточенный смертельными событиями последних лет, он неистово и безоглядно потянулся к ней – единственной, с васильковыми глазами, стройной как тростинка, нежной и отзывчивой, как струна скрипки.

Восточный фронт медленно и расчетливо, но неуклонно отступал. В сентябре сорок третьего года завязались бои на Смоленском направлении. Лисовецкий вырвался на хутор, где

жила его любовь, чтобы отправить ее в безопасное место. И, возвращаясь на следующий день, в тумане раннего утра встретил колонну советских танков. Они стояли в перелеске, как стадо диковинных животных, задрав хоботы орудий к противнику. Он не почувствовал страха – было острое желание выбраться поскорее из окружения. Так он вскоре очутился на явочной квартире, где извлек из тайника нужные документы, обмундирование и утром следующего дня уже был в частях второго эшелона наступающей Красной Армии. Прорваться вперед он не помышлял, а немцы отступили уже далеко. Ему повезло – неожиданно встретил на одной из станций полевой армейский госпиталь. Обмотав голову бинтами, сильно заикаясь, с белорусским акцентом, он пристроился к приемному пункту, где уже лежало и сидело десятка два солдат. А через несколько дней, в команде выздоравливающих он работал по благоустройству госпиталя. Здесь своей аккуратностью и трудолюбием полюбился старшине хозроты Соснину и с его помощью получил подлинную красноармейскую книжку на имя сержанта Княжича.

Глава XIII
ПРОНИКНОВЕНИЕ В РАЗВЕДГРУППУ

Майор Бондарев, с неудовольствием выполняя указания своего шефа, терпеливо листал и изучал литерные дела на все подразделения дивизии в поисках кандидатов для зафронтовой заброски. У него уже рябило в глазах от множества сообщений осведомителей, написанных корявым почерком, карандашом. Изредка в делах попадались более грамотные отчеты резидентов, на хорошей бумаге, выполненные чернилами. В одном из них он нашел сведения о сержанте Княжиче. Осведомитель по прозвищу Бойкий сообщал, что Княжич пришел в телефонную роту в ноябре прошлого года. По своему характеру – скрытный: о себе и своих родных говорит мало, якобы жили они в Западной Белоруссии; до войны работал у немцев-хуторян вблизи Гродно, поэтому немного знает разговорный немецкий язык; мобилизован в Красную Армию в июне 1941 года. Там же имелась отметка, что Княжич проверен по учетам – компрометирующих материалов не имеется.

Бондарев к рекомендациям Сазонова отнесся небрежно. Ему нужно было просмотреть не только литерное дело на батальон связи, но также и архивные учеты на ранее проверяемых, а для этого нужно было обращаться к сержанту Калмыкову, которого он терпеть не мог, и это было выше его сил. Он не мог переломить себя, чтобы подойти с просьбой к этому сержантишке-писарю, любимцу шефа. Но напрасно он этого не сделал, и это выяснится потом, когда он, жалкий и раздавленный случившимся, предстанет перед военным трибуналом.

Сержант Княжич, он же Лисовецкий, с множеством других фамилий, какими он прикрывался в рискованных операциях по партизанскому подполью, обладал железной выдержкой и, главное, чутьем к опасностям! У него была способность предвидеть любую ловушку противника, разгадать ее замысел, запутать противника, навязать ему свою волю и молниеносно нанести удар! Он обрел опыт распознать, где и как работает подготовленный агентурист из спецотряда НКВД, а где – привлеченный к сопротивлению самоучка-подпольщик. Первые отличались своей медлительностью, желанием основательно вникнуть в обстановку, излишней подозрительностью к вновь вовлекаемым, боязнью ввязываться в рискованные операции. Они были более предсказуемы в своих действиях. А вот те самоучки – добровольные разведчики, диверсанты, – жители деревень, городов, станций, вовлеченные неприязнью к оккупации,

подогреваемые организованным сопротивлением партизан и окруженцев, были менее предсказуемы. Они действовали стихийно, без всяких правил, не боялись риска, не страдали занудством подозрения, надеясь на земляческие и родственные связи.

С той поры, как Лисовецкий из госпиталя попал служить в дивизионный батальон связи, он стал готовиться к переходу фронта. Но он знал, что передний край дивизии густо начинен минами. Немцы тоже сплошняком засеяли свой «передок» вновь изобретенными прыгающими «лягушками», натяжными, сюрпризными и другими смертоносными пакостями, лежащими в толще снега. Проскочить с ходу эту смертельную полосу было безумием. Его сержантская должность – механик подвижного взвода – позволяла ему быть вне строя роты, иметь свой рабочий уголок, инструменты. Он быстро освоил ремонт телефонных аппаратов, умение паять, сращивать провода и даже помог отремонтировать взводный мотоцикл. Решить свою задачу – проникнуть в осведомительную сеть – ему помог упрощенный способ работы особистов в среде личного состава. Многие солдаты роты не скрывали своего сотрудничества с контрразведкой, ставя себе это как бы в заслугу. Их никто за это не упрекал, и только за глаза говорили: «Вон, смотри, Рожков-сексот пошел докладывать в землянку к старшине; скоро туда придет «особняк» – старший лейтенант Никифоров». Он, действительно, приходил в старшинскую землянку, двери закрывались, и они «беседовали» там наедине. «Особняк» делал вид, что соблюдает конспирацию, а солдаты деликатно притворялись, что якобы не догадываются о его негласной работе. Каждой из сторон хотелось затратить на эту встречу как можно меньше усилий, не видя в том никакого прегрешения.

Княжичу было интересно знать, проявит ли интерес к нему особист Никифоров. Для этого он сблизился с одним из «этих», кто захаживал к старшине, и однажды в его присутствии в ротной землянке, когда солдаты рассматривали найденную обложку немецкого журнала, Княжич медленно, по складам перевел небольшой текст. Может быть, донесение осведомителя Бойкого пролежало бы в литерном деле без движения, но теперь оно пришлось в самый раз – искали людей для заброски в тыл, и вот тут-то Бондареву и «свезло», о чем он еще долго будет помнить! Причудливая судьба заманчиво раскрыла перед ним свои объятия: после таких упорных поисков, когда ему уже хотелось доложить Сазонову о невозможности выполнения задания, вдруг он лично, перелопатив кучу дел, находит кандидата, да еще какого – белоруса-западника со знанием языка, кадрового

сержанта бедняцкого происхождения!

Потом он будет многим рассказывать, что, обладая необыкновенным «оперативным нюхом», разыскал забытое сообщение осведомителя. И вот именно он, Бондарев, как бывший ответственный и политически достаточно подготовленный политработник – сразу же обратил внимание на этот документ и не прошел мимо него, как некоторые оперработники со стажем чекистской работы. Это говорилось в адрес двух сотрудников отдела, прикрепленных к нему в помощь Сазоновым для выполнения директивы Центра. И тут же, в их присутствии, он долго и нудно доказывал превосходство политических знаний над чекистской практикой и, безбожно перевирая ленинское изречение, сказал:

– Еще на заре революции Владимир Ильич указывал, что выбор коммуниста на руководящую работу определяется не профессиональными знаниями, а политической зрелостью и преданностью партии...

Один из оперработников даже аккуратно записал в блокнот это руководящее ленинское указание, исходящее из уст замнач отдела, и спросил его, в каком томе можно это найти. Тот сделал паузу и с назиданием ответил, что каждому коммунисту нужно читать и перечитывать нашего основателя партии и государства и руководствоваться его трудами в нашей работе, поэтому «читайте всего Ленина и вы найдете там эти слова». После его ухода из землянки второй оперработник, постарше годами, сказал:

– Это я уже не в первый раз слышу и могу сказать, что только политработник утверждает, что не профессиональные знания определяют руководящий пост, а преданность партии и политическая грамотность... – и, чуть понизив голос, добавил: – Между нами говоря, наш Бондарев – мудозвон, корчит из себя шибко политически подкованного и на каждом шагу только об этом и долдонит! А ведь спроси у него, какая разница между агентом и осведомителем – он до сих пор не знает. В этом я уже убедился, общаясь с ним эти дни. И еще я понял, что он дурак непроходимый! А с каким гонором он мне сказал, что партия направила его на укрепление «Смерша», и посмотрел на меня, как на проштрафившегося солдата! А ведь он в нашей работе – ни ухом ни рылом. И, надо же, чтобы сразу на руководящую должность в наш отдел! А я вот еще с финской службу ломаю, а все еще старшим опером, и никакого движения! Ведь по справедливости-то я должен быть у Сазонова замом, а здесь, видишь, прислали из политрезерва эту фигуру.

Младший по возрасту собеседник сочувственно молчал, он целиком был на стороне товарища – он просто не любил пришлых

чужаков. Примерно такой же настрой к новому заму был у всего оперативного состава отдела.

Прошло несколько дней, и Княжич почти забыл про свою «наживку» с обложкой немецкого журнала, как вдруг его вызвали к старшине, где он и познакомился с «особняком». Старший лейтенант Никифоров, родом из Чувашии, широкоскулый, коренастый, с прищуром хитроватых азиатских глаз, без всяких оговорок и вступлений, с подкупающей простотой стал расспрашивать его, откуда он знает немецкий язык. А Княжич, достоверно изображая белоруса-селянина, не торопясь, обстоятельно рассказал «скорбную» повесть о том, как его бедная, беззащитная семья перебивалась с хлеба на воду случайными заработками по найму, и еще о том, как им плохо жилось в панской Польше, и увидели они свет в окошке, когда пришла Красная Армия! И еще поведал о том, что вся его семья работала несколько лет в поместье немецкой семьи, и там, с их детьми, он научился читать и объясняться на этом языке. Во время беседы он, вроде бы по давней привычке, норовил назвать Никифорова «паном старшим лейтенантом», доверчиво и с преданностью смотрел на особиста своими широко открытыми глазами. «Особняк», с детства воспитанный на классовом сознании, как-то проникся и искренне посочувствовал бедному, безземельному белорусу и остался очень доволен беседой – он выполнил задание руководства отдела!

Княжич тоже был доволен результатом своей задуманной игры и отметил про себя, что Никифоров в беседе, напуская на себя важность, обмолвился, что Княжича, возможно, пошлют с заданием за линию фронта, но тут же замолк, как бы поняв, что сболтнул лишнее, внимательно и пытливо посмотрел на собеседника, а тот, изобразив равнодушие и даже полное непонимание сказанного, не проявил при этом никакого интереса. Особист частенько пользовался такой хитростью в беседе, иногда с результатом. И Княжич, вспоминая весь ход беседы, сделал предположение, что им заинтересовались, поскольку он владеет немецким языком, а это значит, что его будут изучать со всех сторон, и если Никифоров обмолвился не случайно, то им займутся серьезно. Его не пугала полная проверка – его родина под немцами, документы подлинные. Вот только предательская запись в красноармейской книжке: «взамен испорченной при выполнении подсобных работ», но тут была подпись начальника полевого госпиталя и печать – все, как полагается в таких случаях. Если будут глубоко и быстро копать, то могут проверить по местам прежней службы, разыскать сослуживцев, знавших личность Княжича Романа Яковлевича, но

для этого нужно, чтобы были живы сослуживцы и время для проверки. Чтобы опознать, его нужно задержать и направить в часть для опознания, но для этого его нужно арестовать, но, спрашивается, за какое преступление и кто даст санкцию на его арест? По подозрению в использовании чужих документов? Но для этого нужно доказать, в каких целях он это сделал!.. Разнобой мыслей – от предположений, как его могут вычислить, до последствий в случае разоблачения – захватили его полностью, но он тут же взял себя в руки, собрался в тугую, чуткую струну и стал ждать.

Усилия Никифорова были замечены: он стал целыми днями бывать в батальоне, чаще посещать старшинскую землянку. Княжич почувствовал внимание и готовность установить с ним приятельские отношения сразу трех сослуживцев, между прочим, ранее не помышлявших о дружбе с ним. Он понял, что его изучают, и принял игру. Двое из них были просто глупы, и каждый из них считал, что только он выполняет задание, поэтому мешали друг другу, а один из них даже наговорил Княжичу на другого. Но Княжич помирил их и позвал помочь ему навесить дверь на землянку, где была его мастерская. А вот третий был въедливый, настырный и прилипчивый как банный лист. Он ходил, наступая на пятки, сопровождая своего подопечного всюду, и даже во вновь отстроенную баню, приставая с вопросами, где родился, кто родители, ходил ли в церковь, где и когда был ранен, в каком госпитале лечился. И все спрашивал и выведывал, а потом пошел по второму кругу с теми же вопросами, надеясь, что собеседник забыл свой ответ. Но для Княжича это были азы ухищрений, он знал, с кем ведет игру, и не доставил ему удовольствия поймать себя на ответах.

Бондарев ходил в отделе именинником, называя себя создателем и основателем разведгруппы глубокого проникновения. Теперь он считал, что выполненное им задание было самым крупным вкладом в оперативные усилия отдела. Кропотливо проводимую обыкновенную рутинную работу по обеспечению боеспособности в частях дивизии он считал второстепенным делом.

Сазонов сдержанно отметил успехи своего зама, тщательно просмотрел материалы на группу, дал указание завести наблюдательное дело и наметил ряд оперативных мероприятий по дополнительной проверке всех кандидатов в разведгруппу, о чем лично проинструктировал Бондарева и приказал ему составить индивидуальный план проверки на каждого кандидата, а позже собрать характеризующие данные на каждого не менее чем от трех источников осведомления. Бондарев, считая, что

проделанная им работа успешно закончена, пытался вступить в дискуссию о том, что подобранные им кандидаты – честные советские люди и собирать какие-то дополнительные материалы об их преданности, сознательности – ненужная затея. Вот, к примеру, взять этого белоруса-западника, ведь он воюет с начала войны, а мог бы еще в момент мобилизации дезертировать. Он же, как истинный патриот нашего социалистического Отечества, воевал не щадя своей жизни и ранение тяжелое имеет – разве это не доказательство его преданности нашей Родине и партии, хотя он и беспартийный.

Вот такие люди, как этот Княжич, являются лучшими представителями, олицетворяющими сталинскую национальную политику. Тут Бондарева понесло вскачь – не остановить. И почти официальным тоном он отчеканил:

– Вот что, товарищ Сазонов, я вам скажу, но вы не обижайтесь – коммунист должен всегда выслушивать критические замечания от товарищей по партии, не только от руководящих лиц из вышестоящих инстанций, но также и от своих подчиненных, коим я являюсь. Так вот, вы, несмотря на свою должность, чекистскую практику, не улавливаете политического момента в оценке надежности наших советских людей! В данном случае вы выразили недоверие пятерым бойцам нашей победоносной Красной Армии, а их дополнительная проверка отнимет много времени, тем самым вы сознательно затягиваете время при выполнении приказа Центра! – последнюю фразу он произнес почти по слогам, со скрытой угрозой в голосе.

Сазонов с досадой посмотрел на своего «ненаглядного» и подумал: «Вот навязался на мою голову! Сейчас придется ему доказывать самые элементарные истины и потратить на него не меньше часа, а мне надо к проверке отдела готовиться. Как бы от него отвязаться?» И вдруг его осенило: «Направлю я его, пожалуй, к начподиву[27] Кузакову».

– Так вот, Алексей Михайлович, – назвав по имени и отчеству своего зама и вложив, насколько было возможно, ноту уважения в свой голос, – я полагаю, что вас следовало бы похвалить, что так горячо отстаивали свою точку зрения, но не могу согласиться по вопросу моего недопонимания политического момента по части оценки верности и преданности советского народа. У меня нет таковых оснований, но, руководствуясь приказами, инструкциями Центра, а также указаниями товарища Абакумова, вижу мой долг в том, чтобы настоять на глубокой проверке подобранных кандидатов. Этого требуют руководящие указания ЦК партии и лично товарища Сталина, и вам, как бывшему политработнику, хорошо известны партийные требования к политической

бдительности, тем более, что мы готовим группу не на пикник, а для глубокой разведки группировки «Центр» и всей эшелонированной обороны глубиной до 400—500 километров. Ставка и Верховный Главнокомандующий возлагают на нас часть задания для разгрома немцев на этом направлении. – Упоминание о ЦК, партийных установках, Ставке ВГК и ее Верховном понизили энтузиазм «ненаглядного», но он не подумал уступать своему шефу и сразу решил воспользоваться его советом – сходить к Кузакову и получить его поддержку, в чем он не сомневался. Мнение начподива, как авторитета, он предполагал в ближайшее время, наряду с другим компроматом, использовать против Дмитрия Васильевича, чтобы добиться его отстранения от должности.

Когда Бондарев изложил свою точку зрения, считая, что его шеф, злоупотребляя служебным положением, преступно затягивает выполнение важнейшего задания, от которого зависит успех операции их фронта, то он как коммунист должен со всей прямотой заявить, что Сазонов – типичный перестраховщик, и его указания относительно дополнительных проверок людей, кто своими геройскими делами на фронте уже трижды доказал свою надежность, не что иное как политическая близорукость, граничащая с преступлением!

Начподив, прошедший школу портфеленосительства в приемной руководителей политорганов, бывший свидетель предвоенных репрессий среди политсостава, чудом уцелевший и наученный горьким опытом бывших начальников, принимавших самостоятельные решения по делам, связанным с риском, теперь взял за правило не проявлять инициативу, не принимать решений по вопросам, вызывающим сомнение, не участвовать в них, не способствовать им, если даже об этом просит самый близкий друг, каковых у него никогда и не водилось в силу его характера. У него для других не было любви и преданности! Он их отсек, как клинком, вытравил, как женщина нежеланного ребенка из своего чрева, под влиянием партийных чисток, того кошмара тридцатых годов: судебных процессов, доносов, оговоров, повальных арестов, крупного и мелкого интриганства, коими была наполнена служебная жизнь политорганов Красной Армии, пришедшая в норму только к началу Финской кампании, а в некоторых округах – только к началу большой войны.

Выслушав Бондарева, Кузаков согласился с ним в оценке действий Сазонова и пообещал всячески поддерживать своего бывшего коллегу. Но внутренний голос его натуры запретил ему участвовать в этом сомнительном деле, и его обещания выдать звонок своим друзьям в приемную Члена Военного Совета и кое с

кем поговорить были пустыми обещаниями.

Глава XIV
О БЛАГОРОДСТВЕ И УМЕ

Весна третьего года войны, почти как в половодье, прорывала плотину Восточного фронта то в одном, то в другом месте. Обнадеживающие вопли из Берлина о создании неприступного атлантического вала и спасении цивилизации от варваров-большевиков постепенно глохли, но у населения рейха, подогреваемого мощной пропагандой и обещаниями фюрера, еще была вера в то, что враг на территорию «фатерлянда» не вступит.

Исполнительность, порядок, дисциплина, отсутствие намеков на поражение среди простых людей Германии делали ее все еще грозным противником. Вся промышленность, несмотря на бомбардировки, работала как часы; так же по-немецки добротно и аккуратно вкалывали заводы Европы, где был на постое немецкий солдат.

На его родине мелкие функционеры регулярно проводили собрания, вовлекая в них не только членов партии, но и домашних хозяек; к ним обратился фюрер, назвав их крепостью нации, их хвалил Геббельс. При рождении сына – будущего солдата вермахта – местный партийный комитет поздравлял роженицу, присылал коляску, полный комплект белья и одежды для новорожденного, с поздравительной открыткой от фюрера!

Но на Восточном фронте в это время появились первые предвестники поражения – переход отдельных солдат на сторону советских войск. Это были еще редкие явления, о каждом из них писали спецсообщения в Ставку или ГлавПУ. Центральные газеты взахлеб, преумножая, преувеличивая, толковали о скором поражении Германии. Но до этого было еще больше года!

Однажды Сазонову представилась возможность принять участие в опросе перебежчика. Это был типичный немец – грузноватый, светло-русый, но малоаккуратный в обиходе. На нем был с заношенными обшлагами, давно не стиранный, мятый солдатский мундир; рядом на лавке – зимнее кепи с козырьком и серо-зеленая шинель. Сапоги – с широкими раструбами голенищ, но уже не яловые, а из какого-то эрзаца, почти нашего кирзового происхождения. Солдат оказался бывшим белобилетником, призванным в сентябре прошлого года и прошедшим трехмесячный курс обучения. Дмитрий Васильевич про себя отметил: это неплохо – в такое время и дать три месяца солдатской учебы; да за 90 дней по 12 часов можно многое усвоить и обучить многому. Он тут же поинтересовался, какую

военную специальность тот получил. Переводчик из разведотдела – бойкий паренек с погонами младшего лейтенанта, со светлым чубчиком волос, вынул солдатскую книжку из папки, профессионально быстро отыскал в ней отметку об учебе и военной профессии.

Из всех слов перебежчика Сазонов уловил одно – «машинен гевеер», значит, пулеметчик. Переводчик подтвердил: солдат первый номер в расчете у ручного пулемета МГ-34. Все присутствующие хорошо знали, что представляет собой пулемет МГ-34 по скорострельности и безотказности. А Сазонову хотелось узнать и многое другое: о настроении солдат, как удалось уйти из расположения, как он пересек передовую, не боялся ли подорваться на минах. Немец с сожалением посмотрел на недоеденную кашу в котелке и начал отвечать. Начальник разведотдела майор Шаров, стройный и подтянутый, торопясь, записывал его ответы, потому что с часу на час должны были позвонить из разведотдела армии с указанием – направить перебежчика в их распоряжение. Не торопясь, изредка поглядывая на Сазонова, угадав в нем старшего начальника, солдат деловито рассказал, что в роты их полка пришло пополнение из очень молодых, едва достигших восемнадцатилетнего возраста белобилетников и бывших отсрочников. Кадровых солдат осталось не более 10—15 человек на роту. Среди солдат запрещается вслух обсуждать положение на фронтах. Унтера и капралы безотлучно находятся с солдатами в капонирах, дзотах. Недавно был случай, когда молоденький солдат решил перебежать, но подорвался на мине, не дойдя до вашей передовой. Его вытащили, но он умер от потери крови.

– Ну, а как же вы смогли пройти передний край? – спросил Сазонов через переводчика.

И солдат толково и убедительно, отчаянно жестикулируя руками, обрисовал крутой спуск оврага, упиравшегося почти в наш передний край. По выступам, где мины нельзя было поставить из-за уклона, он добрался до наших позиций и, лежа в маскхалате, наблюдал, как из дзота в траншеи ушла смена боевого охранения. Тогда он крикнул: «Рус Иван...» Здесь, из его уст, это слово прозвучало, как воронье карканье. Все улыбнулись, как бы снисходительно извиняя его за эту кличку и в то же время сознавая, что перед ними сидит не взятый в плен, с трясущимися руками, а человек, сознательно обдумавший свой поступок; и они, фронтовики, видели в этом добрый знак, потому что каждый из них внес никем и ничем не измеренный вклад, чтобы заставить этого немца решиться на переход.

О, эта отходчивая русская душа! Вот они уже были готовы

сделать для него что-то приятное, никакой злобы, неприязни к нему из-за того, что именно он и его армия пришли к нам и что из-за войны у каждого рухнули планы на хорошую жизнь. Теперь все сидели против него и добродушно смотрели на своего бывшего врага, поделившись с ним тем, что имели: куском хлеба и кашей. Но никто из них в этот момент не подумал, что перед ними солдат вражеской армии, подготовленный профессионал-пулеметчик, и на его счету не один десяток, а может быть, и сотни наших убитых и раненых, а они, забыв об этом, готовы были брататься с ним. Ведь как же! Он добровольно пришел к ним, он не хочет воевать за Гитлера, и поэтому они умилялись, что вот он – немецкий солдат, осознал силу их армии и перебежал к ним!

Комбат, здоровенный парень с румянцем во всю щеку, на участке которого и был задержан перебежчик, тоже как-то хотел показать себя, ему надоело сидеть в тени: вопросы задавали начальник разведслужбы дивизии, бывший студент майор Шаров, и Сазонов. Но комбат, считая перебежчика своим трофеем, тоже начал приобщаться к опросу и хозяйским голосом сказал переводчику:

– А ну-ка спроси этого фашиста, сколько у них долговременных огневых точек против нашего участка?

Сазонов и присутствующие видели, как вздрогнул немец, и переводчик еще не успел ему перевести, а тот уже испуганно, прижимая руки к груди, несколько раз повторил фразу «их нихт фашистен...» Все осуждающе посмотрели на комбата. Но ход опроса и его эмоциональный положительный всплеск для участников был нарушен. И уже без перебежчика и переводчика майор Шаров с сожалением сказал:

– Эх, комбат, комбат, испортил ты нам песню!..

– Какую еще песню? – недоуменно спросил тот.

– А ты, комбат, когда-нибудь видел горьковскую пьесу «На дне»?

– Никогда!

– А где ты жил до войны?

– В Горьком...

– Вот, видишь, какой у тебя замечательный земляк, а ты его пьесу не знаешь. Ну, ладно, у тебя все еще впереди, но эту пьесу ты после войны обязательно посмотри, вот тогда и поймешь, почему испортил песню... А фашистом ты его зря назвал! Вот если бы ты назвал его фрицем, это почти так же, как он нас – рус-иваном – не обидно, вроде бы национальная принадлежность, а фашист – это уже идеология и преступление против человечества. Этот немчик, может быть, и не «партайгеноссе», а перебежал к

нам. Это, считай, уже не враг... Ты с какого года на фронте?

– С сентября сорок второго.

– А я – с июня сорок первого... Вот, скажи, когда мы стали называть их фрицами? Не помнишь, а я тебе скажу – после Курской дуги, когда им задали трепку решающую и наступление вели почти по всем фронтам. Здесь-то мы и доказали, что немца можно бить не только зимой, но и летом. Вот тут и прилепилась к нему кличка «фриц», и это уже обозначало, что у нас пропал страх и одновременно мы научились воевать. И тогда в это слово наш солдат вложил как бы элемент снисходительности взамен официального, бесповоротно жесткого «фашист». Не так ли, Дмитрий Васильевич?!

Сазонов улыбнулся и спросил Шарова:

– Вы в Москве в педагогическом на каком факультете занимались?

– Литературы и языка...

– То-то и заметно, что вы историю возникновения слова убедительно толкуете. Не дают вам покоя лавры словесника Даля, не так ли, товарищ майор?!

День заметно прибавился, и весеннее солнышко уже заглядывало в еловые чащи, где еще лежали толщи снега. Сиротская зима отступала, наполняя реки, речушки, ручьи, озера, болота водой. Постепенно стало подтапливать блиндажи, землянки, кое-где началось вынужденное переселение стрелков на другие квартиры, где было посуше. Выбирали пригорки. Но многие остались на старых местах, продолжая черпать и черпать торфяную жижу котелками из-под полов. «Старики» не могли припомнить такой зимы и обещали вселенский потоп. Постепенно сокращался подвоз продуктов. Тыловые склады их N-ской армии, куда поступало все необходимое для фронта, были заполнены до отказа, потому что начала работать железная дорога, и автомобильный полк на новеньких американских «студебеккерах» без устали возил и выгружал прямо в лесу на слеги, под брезент, бесчисленное количество ящиков, мешков, картонных тюков, перепоясанных металлической лентой, с союзнической помощью: мясной тушенкой, салом лярдом, галетами, сахаром, мукой, чаем. В отдельных штабелях были боеприпасы. Так в лесу образовался целый город из улиц и переулков. Снабжение пошло широким потоком – полуголодный нищенский тыл страны, надрываясь, тащил бремя войны, делая невероятные усилия для фронта. Снабженцы армии дневали и ночевали в палатках, принимая грузы, и молились, чтобы немцы не обнаружили и не раздолбали их. Вскоре привезли громадные маскировочные сети, накрыли город, замаскировали подъездные пути. Но как забросить нужный

груз к дивизиям первого эшелона? Ни гусеничные трактора, ни американские вездеходы не могли прорваться к переднему краю. Оставалось 25—30 самых трудных километров. Вот тогда, пользуясь чрезвычайным законом военного времени, в прифронтовой полосе объявлялась мобилизация всех оставшихся в живых, в основном стариков, женщин, подростков. Одетые в тряпье, на ногах лапти, они молча выслушивали грозный приказ, потупясь, не пытаясь отказаться, а потом в котомках, в мешках наперевес несли мины, снаряды среднего калибра, падали от усталости и голода, медленно тащились к передовой, зная, что без боеприпасов солдат воевать не может.

Два дня тому назад Сазонов встретил такую ходку. В основном это были женщины разных возрастов; были две молодки с детьми. Ребятишки 6—7 лет, по одежде непонятно, не то мальчики, не то девочки, встретив Сазонова и связного на конях, пугливо жались к матерям. Эта растянувшаяся на километр цепочка усталых, измученных женщин поразила его своей обреченностью и покорностью. Они не смотрели вокруг, их не интересовали всадники в плащ-палатках. Они смотрели вниз, под ноги, опустив головы... Дмитрий Васильевич вдруг представил среди них свою мать и сестру, и защемило сердце от жалости к этим безымянным труженицам.

Они поскакали вперед по маршруту и у первого склада увидели трех солдат, сидевших у костра. Сазонов дал приказ начальнику склада собрать всех, кроме часовых, и встретить колонну измученных женщин. Начальник склада – расторопный старшина, узнав, что перед ним начальник «Смерша» дивизии, вмиг собрал десяток солдат и, оставив за себя сержанта – начальника караула, рванул навстречу бабонькам. У костра остался щупленький старичок. Он объяснил, что вчера со своими деревенскими нес сюда снаряды, но занеможил и остался у солдат до утра. И, обращаясь к Сазонову, сказал:

– Извиняюсь, товарищ военный, но скажу, это сердечно вы сделали, что послали солдатушек помочь женщинам. Вот, помню, стояли мы под Ковно в ту германскую, и было это осенью; дожди зарядили – не продохнуть, дороги раскисли. Я в батарее – ездовым-форейтором, снарядов осталось по три на каждое орудие. Наш командир дивизиона – лихой был полковник, упокой его душу, господи, погиб, через полгода, знал, что к нам идет обоз со снарядами, и дает команду послать двух ездовых, встретить и поторопить, поскольку из штаба сообщили: вроде бы немцы готовятся к атаке. Вот фельдфебель Пеньков, тоже упокой его душу, – убили его наши солдаты за то, что был слишком требовательный и чуть замешкаешься, он палец перед твоим

носом вертит и грозным голосом, сгною, говорит, и в палец сделаю, кровью оправляться будешь, понял!.. Это он такую комедь для новобранцев разыгрывал – боялись они его! А потом, как царя скинули, никто Пенькова слушать не стал, а он все по-старому пужал вновь прибывших. И вот один был на всю батарею фулюган, он и выстрелил Пенькову в живот, а сам со страха в бега ударился. Так я маленько забыл, почему я Пенькова-то вспомнил? А, теперь вспомнил! Пеньков-то и дает команду мне и еще одному лихому коннику: аллюром по шляху и встретить обоз! А обоз-то застрял в пойме по уши – едва лошадей спасли. Я вскачь обратно, меня на доклад к полковнику. Я ему – так, мол, и так. Тогда он берет двух офицеров и унтера и мы скачем к обозу. Полковник говорит мне: «Езжай к костелу, и пусть ударят в набат и соберут народ». Ксендз ихний вроде бы не хотел учинять сход, но пришлось стегнуть его плеткой, так он так припустил, что я едва догнал у костела. Собрали народ, и полковник объявляет обывательскую повинность и приказывает с подводами явиться в сей же момент и вывезти снаряды к позициям. Народ, конечно, выполнил приказ, а писарь каждому за подписью полковника дал банковский талон на получение денег за счет военного ведомства... – прикурив самокрутку от уголька, он, поглядывая на Сазонова, продолжил: – И это было во времена царской власти, ну а нынче советская и вроде бы народная, однако нам никто никаких деньжонок за нашу обязательную повинность не дает, хотя наши бабенки, не поенные и не кормленные, на собственном горбу по сорок фунтов тащили по бездорожью! Но вот скажите, товарищ начальник, могла бы ваша армия поделиться харчами с обывателем за наш труд!..

Сазонов густо покраснел и, отвернувшись, стал соскабливать грязь с сапог, пряча лицо от старого солдата. Потом он подробно расскажет об этом в штабе дивизии, и только один Лепин, задумавшись, скажет: «Дорогой Дмитрий Васильевич, наша армия молодая и еще не успела обзавестись правовой регламентацией отношений с гражданскими лицами, учреждениями. Считается, что народ и армия едины, отсюда – труд и расходы обывателей не возмещаются, считая, что армия защищает народ. А Венский конгресс после победы над Наполеоном предусмотрел в правилах ведения военных действий несколько статей, где было указано, что участники военных действий должны по возможности не наносить вреда цивильному окружению и, соблюдая священные принципы частной собственности, денежно возмещать за оказание услуг армии и за нанесенный материальный ущерб. А здесь налицо услуга армии, связанная с тяжелым трудом. Конечно, наши тыловики должны бы поступить по-человечески:

хотя бы в благодарность накормить народ, но для этого нужно проникнуться сочувствием и милосердием! И я тронут, Дмитрий Васильевич, что вы первый обратили внимание на этот факт, и выражаю вам свою признательность за человечность», – и он крепко пожмет Сазонову руку.

* * *

В первых числах марта в дивизию поступило сообщение, что во время передислокации группа штаба 1-го Украинского фронта попала в засаду к бендеровцам, где и был тяжело ранен командующий фронтом генерал армии Ватутин, скончавшийся от ран 28 февраля 1944 года. В коротком сообщении Ставки было дано указание начальнику ГУКР «Смерш» генералу Абакумову принять меры к охране штабов и обеспечению физической безопасности должностных лиц по прилагаемому списку. Предписывалось в недельный срок решить кадровые вопросы по доукомплектованию штабов охраны. Подбор и их проверка возлагалась на службу Особых отделов.

Сообщение из Ставки поразило всех своей необычностью. В действующей армии все считали, что наш основной враг – фашистская Германия, а ее коренные сателлиты – Италия, Венгрия, Румыния, но чтобы на освобожденной территории Украины какие-то малоизвестные для большинства офицеров украинские националисты напали на штаб и убили комфронта – это было выше их понимания!

Политотдельцы всех рангов и званий объяснить толком, кто такие бендеровцы и оуновцы, не могли, но по факту свершившегося они загомонили перед большими и малыми аудиториями во весь голос, нажимая на потерю большевистской бдительности, что порох надо держать всегда сухим, а для разоблачения фашистских прихвостней всех мастей нужно повышать уровень политических знаний и совершенствовать партийно-комсомольскую работу!

Сазонов, тоже ничего не зная ни о бендеровцах, ни об оуновцах, полагал, что это разные формирования. И только приезд майора Куракина, координатора по розыску абверовской и гестаповской агентуры, дал ему возможность узнать об украинских националистах, о польской Армии Крайевой, уже проявившей себя сопротивлением в тылах двух Белорусских фронтов, и многое другое, что должен бы знать начальник отдела «Смерша» дивизии.

Петр Петрович Куракин был высок ростом, худощав. В

довоенном прошлом – доцент кафедры истории в Томском университете, владел немецким и французским языками. Внешне и внутренне – типично интеллигентная личность. Сазонов даже удивился – как мог такой человек из науки попасть в их службу! Но тот, кто его сюда направил, не ошибся! Бывший доцент был автором многих статей по истории российско-германских отношений с середины девятнадцатого века до 1914 года. В его памяти хранились выкладки о развитии промышленности Германии и Пруссии, раскладе политических сил, характеристики дипломатов, многие биографии генералов. Куракин был уже немолодым человеком, в очках, с седыми висками, но с энтузиазмом молодого просвещенца, всегда готового объяснить непонятное, поделиться любыми знаниями, умел выслушать и понять собеседника. Как и каждый увлеченный педагог, Куракин, найдя в Сазонове исключительно внимательного и благодарного слушателя, вкратце поведал ему историю офицерского корпуса Восточной Пруссии, рассказал о высокообразованном генерале Гансе фон Секте – основателе вермахта после поражения Германии в 1918 году. И еще о том, что многие офицеры находились под влиянием его лекций и докладов, прочитанных в Генеральном штабе, и его доктрины: Германия должна укреплять экономические связи с СССР и никогда не допускать войны на двух фронтах.

Сазонов сидел как завороженный и готов был слушать Петра Петровича целые сутки. Потом уже, за чаем, после того, как он ознакомился с делом Лисовецкого, по просьбе Сазонова, он подробно рассказал о возникновении организации украинских националистов и их вожде Степане Бендере. Попивая чаек, Куракин от удовольствия щурил близорукие глаза и, сев на своего любимого конька – историю, с увлечением пояснял Сазонову, что в предвоенный период просоветские настроения были велики в Польше и особенно в Западной Украине – Галиции среди профсоюзов, рабочей молодежи и значительной части интеллигенции. В рядах компартии Польши было много интеллигенции и студенческой молодежи. Партия получала моральную и материальную помощь из Москвы через Коминтерн и вела небезуспешную агитацию в воеводствах среди рабочих и крестьян в тяжелые годы кризиса, охватившего почти весь мир. И на фоне безработицы, упадка промышленности и сельского хозяйства Советская Россия выглядела преуспевающим государством!

В 1936 году Коминтерн исключил компартию Польши из своих рядов, отметив в своем постановлении, что «…КП Польши стала убежищем шпионов и диверсантов…» Так образовался

политический вакуум: в Варшаве социал-демократы сумели выжить и укрепиться, а в Западной Украине в короткий срок национал-социалисты создали движение за автономию Галиции, перетянув часть интеллигенции, молодежь и зажиточное крестьянство на свою сторону. А коммунисты утратили свои позиции по всей Польше. И, заканчивая свой краткий обзор, Куракин сказал:

– Как видите, Дмитрий Васильевич, на пустом месте всегда что-нибудь вырастает – природа не терпит пустоты! Сейчас много непонятного в тактике оуновцев. Мы не располагаем документальными данными из Центрального провода[28] о том, что они вступили на путь сотрудничества с немцами. Но Штаб партизанского движения располагает сведениями о том, что отдельные боевики бендеровцев вступают в контакт с полицейскими комендатурами немцев и ведут борьбу против наших партизан. Много противоречивого и непоследовательного наблюдается в их тактике; Степан Бендера после прихода немцев, на второй день, выступил во Львове на митинге горожан. И стоило ему только заикнуться о создании независимого Украинского государства, так тут же он был арестован гестапо и отправлен в Германию, в концлагерь государственных преступников. Но в то же время немцы из националистов создали дивизию СС – Галичина. Она держит оборону где-то на Львовском направлении. Как видите – сплошные противоречия, но мы с вами должны их учитывать...

Дмитрий Васильевич свыкся с Куракиным и за эти два дня прикипел к нему всей душой! Все в нем было не так, как у многих вышестоящих представителей «Смерша», приезжавших в дивизию с разными делами по службе. Самое отрадное – он не сквернословил, обращался к окружающим на «вы». Его вышестоящие коллеги заимствовали у строевых офицеров-фронтовиков нарочито, без нужды грубое обращение к окружающим, граничащее с оскорблением и унижением. Никто уже на войне не помнил, когда в действующей армии родился вот такой новый стиль поведения и общения с нижестоящими.

До войны наши командиры, и особенно политсостав (под воздействием идеи о том, что их армия – плоть от плоти народная – от осознания, что она такая единственная в мире и должна быть лучшей), были охвачены энтузиазмом внедрения в нее просвещения и культуры! Ликвидация неграмотности, разные кружки, курсы учебы младших командиров, подготовительные курсы для поступления в академию, лекции на всевозможные темы и особенно постижение азов культуры: поведение на службе, в быту, при общении со старшими и младшими по службе – такой

порыв к совершенству, красоте не мог не сказаться на облике Красной Армии. Большинство командиров всех рангов были подтянутыми, вежливыми, внимательными, исполнительными. Так было в кадровой, довоенной армии. Такой она запомнилась в народе! Но война, а Сазонов был свидетель этому, породила новый тип командиров. Они были напористы, грубы, без намека на сострадание и милосердие и, самое главное, не жалели себя и своих подчиненных! Да и откуда было взяться в них этим качествам, если сам Верховный в своих директивах указывал: «Задание Ставки выполнить, не считаясь ни с какими потерями…» Культурой и воспитанием нового офицерства в условиях фронта никто не занимался. Перед ними была одна задача – бить врага! А остальное было как бесплатное приложение. И если офицер был грамотен, вежлив и обходителен с подчиненными, но воевал неважно – ему грош цена! Таких начальство не уважало и не ценило. А вот если командир умел выполнить боевую задачу, согнуть в дугу всех своих подчиненных, говорить с ними только на матерном языке и изредка не брезговать рукоприкладством, такими командирами гордились и начальство, и его солдаты. И чем выше должность, тем больше можно было ожидать откровенного хамства, грубости и пренебрежения в сторону низа.

Многие осуждали эту манеру поведения на фронте, где привыкли к самому худшему – смерти. Грубость и унижение человеческого достоинства считали издержками фронтового быта, старались не замечать их и не обращать внимания.

Дмитрий Васильевич благодарил судьбу, что она посылала ему таких, как начштаба Лепин и координатор Куракин. Они были чем-то похожи друг на друга и обладали очень схожими чертами характера. Пройдет много времени, прежде чем Дмитрий Васильевич получит этому объяснение: оба они в детстве отведали изрядную порцию религиозного воспитания, и одна из многочисленных заповедей – уважать ближнего как себя самого – была абсолютистски воспринята и уже исполнялась ими не как религиозный догмат, а как осознанная жизненная необходимость.

Куракин в начале войны сразу же попал в летнюю, пыльную Москву с затемнением, запомнил ее бомбардировку в двадцатых числах июля и первую панику этого города. После создания Главка с участием самого Хозяина и назначением бывшего начальника Ростовского управления НКВД В.С. Абакумова начальником Главка в составе Наркомата внудел потребовалось разработать и создать структуру этой машины, способной выполнять не только внутренний контроль за действиями больших и малых военачальников, но и противостоять грозному противнику. Таких, как Петр Петрович – гуманитариев со

знанием языка, имеющих представление о системном анализе информации, но абсолютно не представлявших работу армейской контрразведки в деталях, – было не так много, и все они стремились попасть на фронт. Его направили во вновь сформированный отдел Главка, где начальником был выдвиженец с церковно-приходским образованием, но с живым умом, умением по малейшим признакам определять настроение и угадывать желание начальства, получивший первый карьерный толчок в июне тридцать седьмого за процесс над крупными военачальниками РККА, где он проявил свой талант – делать из мухи слона и превращать белое в черное. Он сразу угадал у Куракина качества аналитика и предложил ему войти в группу разработчиков по структуре особистской службы. Наработанные Куракиным и его коллегами обоснования и вариации он сокращал до минимума и выдавал перед руководством главка за свои собственные, а потом, убедившись в способностях Петра Петровича и видя в нем конкурента, он добился его отправки в действующую армию.

Начальник особистов N-ской армии Туманов назначил его главным координатором по сбору и оценке информации, направленной на выявление агентуры абвера в полосе боевых действий их армии: качество их подготовки, способы легализации, связи, а также центров учебной подготовки.

Отчеты, составленные Куракиным, были четкими и емкими по содержанию, получали одобрение у руководства Управления особых отделов Западного фронта, чем полковник Туманов и гордился, подписывая эти документы. Но там знали имя истинного автора, и у них уже существовало мнение о необходимости его перевода в Управление, а Туманов предпринимал отчаянные попытки оставить Петра Петровича у себя.

Со свойственной ему мягкостью, как бы советуясь с Сазоновым, Куракин дал ему несколько дельных советов по делу Лисовецкого: получить санкцию на объявление его в розыск на территории Смоленской области и проверить по приметам, не был ли он задержан среди подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами. Обсуждая ход всех мероприятий по делу Лисовецкого, Петр Петрович сказал:

– Судя по вашим материалам, он действительно мог попасть под летне-осеннее наступление наших войск, и, возможно, он уже служит у нас! Это самый выгодный и безопасный вариант для него. Переходить на нелегальное положение на освобожденной территории ему нет смысла. Он понимает, что может угодить под войсковую или милицейскую облаву. Любое продвижение по этой

территории находится под контролем органов НКВД, местных отрядов «ястребков». А вот армия для него сейчас родной дом! И он там как иголка в стоге сена! Не скрываю, Дмитрий Васильевич, это очень трудно, но искать нужно!..

В заключительной справке по делу он отметил оперативно-грамотные действия по розыску и записал рекомендации: как и где собрать дополнительные сведения на Лисовецкого. Через несколько часов Сазонов с грустью провожал Куракина, как близкого человека, и долго смотрел ему вслед, пока пароконная повозка не исчезла за поворотом в ельник.

Глава XV
ПОДГОТОВКА К ДОНОСУ

Подготовка к проверке отдела и приезд Куракина отвлекли Дмитрия Васильевича от Бондарева, но по всем признакам тот всерьез занялся проверкой кандидатов в разведгруппу. А Сазонову посоветовали съездить в отдел соседней дивизии на правом фланге, где уже были проверяющие. Тамошний особист – добродушный украинец Денисенко – подробно растолковал, где и что ищут проверяющие, дал много хороших советов и, уже в конце беседы, лукаво улыбаясь, посвятил в бытовую часть приема инспектирующих:

– Ты, Сазонов, должен понимать, что они люди живые и, как говорил Карл Маркс, им ничто человеческое не чуждо! Поэтому обрати внимание, чтобы их быт был на должном уровне, создай им комфортные условия, – с украинским акцентом произнес он и пояснил насчет помещения, чистого белья, еды. – Но самое главное, ты им вечером устрой баньку. Человек получает большое удовольствие и через это мягчает телом и душой, и не стесняйся – после бани поставь им спиртяшку и чайку с закусоном… Чего, говоришь, из закусок? Так ты дай команду, пусть отварят мяса. Говоришь, нет мяса, а ты постарайся! Хорошо бы капустки квашеной или огурчиков, но это деликатесы. Вот, говорят, на левом фланге, в дивизии Кучавы, сохранилось несколько деревушек, и там можно выменять на барахло все, чего душа желает, и даже сало! Посади на коня расторопного хлопчика, дай ему белья, обмундирования и, главное, обувку – там ценят ботинки, какие мы недавно получили, – английские, кожаные, на толстенной подошве, с подковами, и он за сутки обернется и привезет тебе, что нужно!

Сазонов поблагодарил Денисенко за советы и, сев на своего смирного мерина, отправился к себе. Вернувшись, он, не мешкая, сразу направил опытного и аккуратного в этих делах сержанта Михайлова на территорию комдива Кучавы, снарядив его кое-чем из излишков вещевого довольствия и выдав ему командировочное удостоверение. Потом вызвал своего верного ординарца Егорова и продиктовал ему, что нужно сделать для приема гостей. Тот аккуратно все записал, а потом сказал: «Вы положитесь на меня, товарищ капитан, я все устрою в лучшем виде». Он, действительно, оправдывал свою мирную профессию завхоза: провел с солдатами генеральную уборку блиндажа, отскоблив затоптанные полы, и выселил дежурного по отделу в землянку к

солдатам охраны, сделал две ширмы из палаточного полотна и закрыл проемы дверей. Кроме того, откопали яму и построили новый нужник, обложили его еловым лапником и дорожку к нему уложили корой и связками прутьев из тальника.

А на следующий день к вечеру возвратился усталый, но довольный сержант Михайлов с обменными трофеями. Он снял вьюк и стал развязывать мешок с картошкой, берестовый бочонок с кислой капустой, огурцами и с десятком моченых яблок, а потом со дна вьюка достал кусок сала, завернутый в полотняный лоскут. Поужинав, он пришел к Сазонову и стал рассказывать о жизни селян двух деревень, отрезанных от внешнего мира непроходимыми болотами.

– Там, товарищ капитан, немец и ногой не ступал и партизан не было – кругом болота и трясины. Коня я у лесника оставил, он на берегу речки живет, а меня он в своей лодке протоками в первую деревушку сплавил, а потом и во вторую – она Большим Бугарем называется. Так вот, скажу вам, что ее жители только понаслышке знали, что война приключилась – немец стороной и при наступлении, и при отступе. Наши – в десяти километрах, не добраться посуху, только с проводником – кругом болота непроходимые. Лес стоит еловый – чаща непролазная. Ну, а народ живет, как при советской власти, и даже лучше, как они говорят. Никаких заготовок, налогов, никаких беспокойств от властей. Немцы и не пытались пройти – там только десант можно по воздуху выбросить! А одному уважаемому старику видение было: будто ему товарищ Калинин разрешил часовню поставить, вот теперь они и молятся. Школа у них есть, но ребятишек только учат читать и писать, другим наукам учить некому. И они сами говорят, что большая грамотность в их жизни не нужна. Деревней управляет инвалид из окруженцев, однорукий, а при нем совет стариков. Вот они и установили у себя «сухой» закон, а кто хоть каплю самогона выгонит, того сразу прямо на сходе и высекут…

Сазонов отпустил Михайлова и не знал, что тот встретит старшину взвода и их разговор случайно услышит Бондарев и что теперь ему станут известны все подробности командировки сержанта за продуктами. Было уже поздно, но Бондареву было не до сна. Он уже мысленно раскладывал по полочкам обвинения против своего шефа! Первое – злоупотребление служебным положением и второе – разбазаривание военного имущества. От самого Сазонова он слышал, что грозный полковник Туманов – взыскательный и придирчивый начальник, а если ему станет известно о злоупотреблениях своего подчиненного, кто должен выявлять и пресекать их в зародыше, чтобы было неповадно другим, то, несомненно, он может сразу снять Сазонова с

должности, и кто тогда, как не он, должен возглавить отдел?! Именно он – бдительный и принципиальный коммунист – обнаружил злоупотребление, доложил, как это положено, своему вышестоящему начальнику… и тот принял соответствующее решение.

Глухая полночь. Чуть-чуть кемарят стрелки на переднем крае, вслушиваясь в ночные звуки. Бондарев тоже не спит, голова пылает от мыслей, сна как не бывало, и он лихорадочно обдумывает, каким образом все это довести до сведения полковника Туманова. Старый, испытанный способ – послать анонимку – не годился! Он знал, это долгий путь, ему нужно быстрее! Поехать к Туманову в штаб армии он не мог, понимая, что для этого нужно разрешение его шефа. Что делать?! Медлить нельзя! Свалить Сазонова за один прием – такая удача выпадает редко! От волнения и уверенности в своей скорой победе мысли путались, ему стало от них жарко. Самое большое удовольствие – представить себе, как его шефа разбирали бы на закрытом партсобрании. Он уже ясно видел стол, восседавшего за ним Кузакова, его заместителя, парторга штаба дивизии и других партийно-ответственных лиц. Заседание очень строгое по-партийному и принципиальное по-большевистски. И он – главный обвинитель по персональному делу политически недостаточно подготовленного, слабого организатора оперативной и воспитательной работы среди личного состава отдела – коммуниста капитана Сазонова Д.В.! Он подумал: «Надо обязательно отточить формулировки обвинения, кратко дать оценку и выводы по вопиющим фактам деятельности Сазонова и подтвердить решение «Смерша» армии о его отстранении от должности…» Теперь этот капитанишка в моих руках», – и с этой мстительной мыслью Бондарев забылся хорошим сном.

А утром он уже не шел, а бежал, тяжело отдуваясь, в политотдел поделиться, какие он заполучил компроматные материалы на Сазонова. Кузаков выслушал и даже оживился. На его небольшом лобике собрались горизонтальные морщинки – явный признак умственной работы майора! А было над чем задуматься. Сам Кузаков напрямую ввязываться в это дело не желал: пусть Бондарев сам постарается все сделать, – но оказать помощь он был согласен.

– Ты говоришь, что надо срочно сообщить Туманову. Так вот, на днях у нас закончат установку защищенной связи. Это, конечно, не «ВЧ»[29], но все равно немцам не по зубам. Она предназначена для связи с вышестоящим руководством армии и фронта. Сейчас я посмотрю, есть ли среди абонентов ваш Туманов, – и, посмотрев в небольшую зеленую книжицу, добавил:

– есть, полковник Туманов под номером 005. Говорят, что завтра привезут специальный телефонный аппарат и установят его в штабе, но разрешение на переговоры будет давать полковник Лепин, а в его отсутствие – начальник оперативного отдела майор Жариков. Позвонить ты сможешь, когда будет отсутствовать Лепин, а с Жариковым мы договоримся. Но тебе нужно подготовиться и доложить кратко, без всяких заиканий. И сделай основной упор на злоупотребление служебным положением и корыстный интерес. Говорить при этом нужно убедительно, надеюсь, что ты потренируешься. Учти разговор по новой связи должен быть не больше пятнадцати минут. Говорят, она автоматически отключается. И еще тебе скажу, «материальчик» на Сазонова ты подобрал неплохой, но было бы лучше добавить про его моральный облик. Ты говоришь, нет фактуры, а я тебе скажу, что надо искать среди окружения. Вот ты говоришь, что он придирчив, а ты найди недовольного его требовательностью и пусть он тебе расскажет: может, Сазонов при разговоре матерком выразился – это годится для морали. А вот если бы ты нашел какой-нибудь фактик аполитичности, к примеру, если он при разговоре непочтительно отозвался о своих начальниках, политических или партмероприятиях, вот тогда это был бы замечательный гарнир к основному блюду, как говорил мой бывший начальник, Член Военсовета, генерал Григорий Афанасьевич! Это была бы отдельная тема для заслушивания его у меня в политотделе! А ты говоришь, что времени у тебя для этого мало – работать надо больше, Бондарев, крутиться и обороты прибавлять! Давай, проникай в массы, ищи, и ты найдешь там, что тебе нужно! Усек? – И с чувством превосходства Кузаков посмотрел на Бондарева.

Этими словами он закончил беседу и поспешил сесть за материалы доклада на тему: «Вопросы партийно-идеологического воспитания в действующей армии», подготовленного ему бывшим преподавателем литературы и русского языка, ныне младшим инструктором политотдела младшим лейтенантом Майдановым. Читая его, он не подозревал, что его подручный ловко скомпилировал из довоенных журналов «Большевик» материалы по этой теме, где она посвящалась производственникам. А он разбавил ее примерами боевой отваги, патриотизма, верности коммунистическим идеалам, служению по ленинско-сталинским заветам во фронтовых условиях до полной победы над фашизмом. Начподив втайне надеялся представить доклад во фронтовое политуправление и застолбиться там творчески мыслящим руководителем. Уходя с адъютантской должности, из свиты Члена Военного Совета на должность начподива не гвардейской, а

обыкновенной стрелковой дивизии, он мечтал прослыть этаким отцом-комиссаром. Лавры фурмановского героя многим тогда не давали покоя. Но, увы, те времена прошли, все изменилось, и он, душа и предводитель коммунистов дивизии, – во втором эшелоне штаба и вдали от комдива, а тот даже и не замечает своего комиссара, и теперь рядом с ним начштаба Лепин, а ведь должен был Кузаков занять это место! «Говорят, что Лепин из бывших военспецов, а вообще-то по выправке видно – ходит как будто лом проглотил! Вот если Бондарев прорвется в начальники, то можно с ним вдвоем как-нибудь спихнуть Лепина – на учебу или на повышение, и тогда комдив наш!» Вот такие мелкие, суетные мысли не давали Кузакову покоя. И ведь намеревался говорить в докладе о высоких, бескорыстных интересах коммуниста, его священном долге перед народом, а сам связался с этим нудным дураком Бондаревым, потворствовал и советовал ему в подлых делах, это разве по-коммунистически, а?! Но тут же прекратил самокопание – припадок совестливости исчез с мыслью: «Да разве я один такой?! Уж я-то насмотрелся на номенклатурный люд, секретарей обкомов, горкомов, председателей разномастных советов, генералов из ГлавПУ, – все как один, если удается – тянут одеяло на себя! Уж, казалось, генерал Кузнецов – сама совесть, чист и непогрешим, как Николай-угодник, но именно он назначил подполковника Храмцова начальником политотдела корпуса за то, что тот, будучи начподивом в авиации, организовал отстрел лосей с «кукурузника», а мясом подкармливал родственников Кузнецова, проживавших в Подмосковье. И это, несмотря на то, что Храмцов даже в резерве на выдвижение не значился и имел выговор за коллективную пьянку, но был утвержден в должности на военном совете единогласно.

Доклад понравился начподиву многочисленными формулировками из партийного арсенала: «мы оправдаем доверие партии и народа», «окруженные заботой и вниманием ВКП(б)», «у коммуниста действующей армии только одно право: там, где трудно, быть всегда впереди», «благодаря гениальному замыслу нашего Верховного Главнокомандующего надломила хребет Красная Армия фашистскому зверю» и много других, звенящих, бьющих прямо в десятку ярких метафор, сравнений. «Ай да Майданов – молодец. И недаром он преподаватель-словесник – складно пишет, надо поощрить!» Он всегда завидовал образованным. Сам Кузаков только в начале службы, призванный как партиец, был на курсах политработников, а потом завертела его адъютантская судьба, и беспрерывно, лет десять, почти без отпуска, с ежедневными разносами он и не вспоминал про свою

учебу. Нет, неправда! Однажды он обратился к своему начальству с просьбой направить его на учебу. Генерал Левченко, не злой по природе человек, но задерганный многочисленными арестами в Северо-Кавказском округе, и сам со дня на день ожидавший ареста, сказал ему: «Ты, Кузаков, и не думай об этом, твоя служба порученцем и адъютантом тянет больше, чем на две академии. Гордись этим!» Больше Кузаков не заикался об этом и остался с начальным образованием. Читать он умел бойко, а наложить резолюцию – так по этой части у него был большой опыт!

А Бондарев в это время засел за подготовку устного доноса полковнику Туманову. Здесь он дал волю своей фантазии, обвиняя Сазонова в подрыве боеготовности дивизии, приписывая ему разложение отдела и разбазаривание военного имущества! Он считал, что Туманов, выслушав его, незамедлительно примет меры! Давненько так «творчески» не работал Бондарев! Он сидел у себя в отсеке, взмокший от волнения и злобы, и все писал, и писал! Нет, он не вспомнил, что, когда у него были трудности по работе, Сазонов ненавязчиво, доброжелательно давал ему советы и учил его азам службы без чувства превосходства! И, конечно, Бондарев забыл, что его шеф, на которого он пишет сейчас донос, обвиняя его во всех смертных грехах, спас ему жизнь при обстреле! Считая, что Сазонов у него в руках, он не хотел даже и вспоминать, что тот дал ему задание по проверке разведгруппы. И что это нужно выполнить в указанный срок. Уверенный, что дополнительная проверка ничего не даст, он накатал несколько справок о встречах и беседах с осведомителями, получившими задание для перепроверки ранее поступивших сведений на кандидатов в разведгруппу. Встреч и бесед с осведомлением он не проводил, считая, что это излишняя волокита и блажь его шефа. А то, что он совершил служебный подлог, его не беспокоило! Он был так уверен в каждом из этой пятерки! И особенно в этом белорусе Княжиче! Считая его своей благоприобретенной собственностью, Бондарев не сомневался в его надежности. Из всей пятерки только Княжича нельзя было проверить по месту рождения, но Сазонов на всякий случай направил запрос в Штаб партизанского движения о его проверке по Гродно.

Результаты проверки всех кандидатов по прежним местам службы были положительные и только по Княжичу вызвали несколько вопросов, из его части сообщили, что он пропал без вести в июле, а госпитальные документы подтверждают, что он поступил туда в начале сентября. Сам он пояснил, что был контужен и почти не помнит, сколько дней лежал в ротной медчасти, потом в накопителе, а затем уже в госпитале. И вроде бы все правда, но расхождения значительные! Однако все

сомнения решились в пользу проверяемого. Потому что всем хотелось побыстрее подготовить группу и доложить руководству. Больше всех этого хотел Бондарев! И сейчас всю пятерку направляли пройти курс ускоренной подготовки по разведке. Сазонов с самого начала, когда только получил приказ о подборе и проверке зафронтовой разведгруппы, не знал и не мог знать, что в окружении генерала Абакумова и, конечно, с одобрения Верховного, родилась идея – иметь свою разведку! Но высокое начальство не пожелало объяснить замысел, зачем и почему параллельно армейской разведке создается своя, «смершевская»! Старожилы помнили, что служба Особых отделов в начале войны[30] была переведена из Наркомата Обороны в грозный и устрашающий НКВД. Сделано это было по личному указанию Верховного. Расчет был прост. Особисты стали независимы по службе от армейского командования и наряду с политорганами осуществляли свой контроль за командованием, поставляли свою информацию! А весной сорок третьего, когда ввели погоны, а на фронте были значительные успехи, Верховный снова возвратил свои «глаза и уши» в систему обороны. И, надо сказать, еще в те времена, при введении новой формы, особисты отметили неудовольствие некоторых персон из бывшего комиссарского состава. Они тихо возмущались и роптали, что проливали кровь в гражданскую войну против белых, золотопогонников и, мол, совсем не нужно было наследовать форму классовых врагов! Абакумов доложил об этих настроениях, и Верховный тут же в краткой повелительной форме объяснил сомневающимся, что это нужно рассматривать как возвращение к традициям русской армии, и сразу все замолчали! А вся множественная «главпуровская рать» через партполиторганы, комсомол, отмечая переход на новую форму, устно и письменно словословила и расточала похвалу Его мудрости!

Но для чего же создавались две разведки в армии?! Ходили слухи, что так решил сам Верховный для улучшения системы перепроверок! А еще поговаривали насчет яиц, которые нужно хранить в разных корзинах, и возникновения здорового духа соревнования между разведками.

И еще в эти дни Москва щедрой державной рукой присвоила и повысила генеральские звания во фронтовых управлениях контрразведки, а ее шеф был удостоен звания генерал-полковника! А между тем Западный фронт, обессиленный осенними наступательными боями, как будто застыл в декабрьские дни, так и продолжал стоять, перебиваясь местными боями за улучшение позиций, артиллерийскими дуэлями, поисками разведчиков и снайперской стрельбой. Командование

фронта старалось изо всех сил показать активность, боевитость своих частей и требовало от их командиров не давать покоя противнику и держать его в напряжении. Но враг не проявлял беспокойства, не нервничал и преспокойно зимовал на заранее грамотно укрепленных и обустроенных позициях, заняв, по возможности, все высоты, и так же вел из дальнобойных орудий обстрел наших дорог, артпозиций, иногда, по всей вероятности, для поддержания своего боевого духа!

Наш фронт жил своей трудной жизнью в лесных болотистых краях и ждал своего часа. Он его дождется, и в разгар лета белорусский балкон будет разрушен на куски, а генералы когда-то угрожавшей Москве группы «Центр» в спешке и растерянности будут совершать ошибки, одну за другой, вплоть до границ Восточной Пруссии! Но это будет потом, а сейчас героические обитатели Западного фронта не ведали, что там, в Ставке, решается вопрос о переименовании их фронта, назначении нового командующего, Члена Военного Совета, начальника штаба. И здесь тоже были суета, большие и малые интриги, свои симпатии и антипатии! Гораздо проще сформировать штаб нового фронта, а вот переделать старый на новый – задача не из легких!

Старожилы штаба фронта, заслышав о грядущих переменах, наперегонки побежали к своим друзьям-покровителям, хорошо знакомым по службе, учебе... И каждый из них хотел укрепить свои позиции, остаться в теплом местечке и не мыкаться где-то в безвестности, в созданных кадровиками фронтовых резервах. И если бы был такой прибор, улавливающий стремление человеческих замыслов и количество энергии, потраченной для достижения одной цели – не дать столкнуть себя с насиженного местечка, ну а если и менять его, то с выгодой, – то прибор этот отметил бы бессонные ночи, мучительные раздумья и показал бы умственные ухищрения, различные комбинации... Чего только не придумывали горемыки, лишь бы усидеть в своей норке, как премудрый пескарь! Пускалось в ход все, что могло повлиять на удержание места: подхалимство, угодничество и даже далекое гарнизонное знакомство своих жен! Но тот, кто имел свою «ручонку» в Генштабе, Наркомате, – те могли быть спокойны – для них сделают исключение; оставят на месте и не понизят в должности.

Глава XVI
ФРОНТОВЫЕ СЛУХИ

Ни одна математическая модель не смогла бы отобразить создание таких коллективов, как штаб фронта. Творцам новейшей истории также будет не под силу раскрыть таинство их зачатия и рождения!

В мемуарах прославленных полководцев об этом ни слова, а ведь было бы о чем рассказать. Но они в общей атмосфере Великой Победы не желали омрачать ее чело описанием каких-то мелочей вроде подбора кадров. ГлавПУ и Главлит вынесли бы протест, объяснив, что это не укладывается в рамки соцреализма и может повредить воспитанию советского человека! Литературные критики, кого и близко не допускали до маршальских воспоминаний, кстати, написанных умными, способными, но совершенно беспринципными людьми, уверенными, что их труд пройдет при единодушном одобрении общественности и положительных рецензиях в периодической печати. И ни один из тех, кому надлежало разобраться с полководческими изложениями фактуры, подчас необъективной, порой откровенно завышающей способности авторов по выигранным сражениям, не выступил с опровержением откровенного вранья! И, как правило, мемуары, за некоторым исключением, излагались неинтересно – скучным и бедным языком, с полным отсутствием душевных переживаний по принятым решениям и возникающим сомнениям. Пожалуй, только неутомимые кадровики – крючки аппаратные, могли бы увлекательно рассказать о подборе, расстановке основания пирамиды, где на вершине стоял комфронта – персона, никем не обсуждаемая и назначаемая самим Верховным!

Подобрать под командующего штабистов – офицеров – даже для опытного кадровика было трудной задачей. Для этого по прежним местам его службы собирались сведения о его привычках, вкусах. Учитывалось все: какой чай пьет, какие карандаши предпочитает, какую водочку он изволит употреблять и еще много разных бытовых мелочей. Конечно, узнать об этом кадровики были обязаны. Они отвечали головой за тех безвестных, кто разделял с командующим его нелегкую, полную разных встрясок фронтовую жизнь! И считали, что его окружение должно быть приятным по форме, исполнительным по содержанию и желательно молчаливым, но сообразительным по обстоятельствам!

Если кандидатура на должность начальника его штаба оговаривалась с ним в Ставке, то Член Военного Совета, по-старому комиссар фронта, назначался самим Верховным! Так достигался противовес при соблюдении принципа единоначалия командования!

Командующий фронтом никогда не мог по собственному желанию освободиться от назначенного комиссара: даже если они не терпели друг друга, они вынуждены были при этом безропотно заниматься своими делами. Заведенный порядок и воля Верховного были выше взаимных амбиций и обид.

В те времена все приготовления к переменам в штабе фронта держались в большом секрете, но слухи не знали препон. Иной раз они возникали на пустом месте, но так же, как слабое эхо, глохли без реального подтверждения и соответствующего расклада событий. Но были и очень устойчивые! Их с интересом обсуждали, потому что они были связаны с приметными личностями.

Так не без основания появился слух, что Член Военного Совета генерал Мехлис[31] скоро будет освобожден от должности. Причина была одна – не сработался с комфронта, генералом армии Соколовским. О Мехлисе по фронту ходили разные истории. Из противоречивой молвы вырастала фигура почти фантастическая! Что он, якобы как старые комиссары, презирал специально сработанный со всеми удобствами блиндаж и часто ночевал на передовой, под одной плащ-палаткой с пулеметчиками, и ел с ними из одного котелка. Даже находились те, кто с ним дневал и ночевал на передовой! Один клялся и божился, что отдал ему свои кирзовые сапоги, потому что его хромовые генеральские развалились. А другой утверждал, что был свидетелем того, как генерал отдал своему шоферу месячную зарплату, узнав, что у того в деревне сгорела изба! Такие былины слагались в основном в солдатской среде. Им хотелось иметь вот такого главного комиссара: справедливого, делившего с ними все лишения и тяготы войны и очень взыскательного к отцам-командирам. На этот счет тоже была история. Где-то на Дону, застав пьянствующих в блиндаже комполка и его замполита, он разжаловал последнего в рядовые, а командира полка отдал под трибунал и тут же повел полк в атаку и выбил немцев с хутора!

Солдатская молва о нем – их защитнике, благородном бессребренике – летела впереди него! Если сложить все истории, то получилось бы, что он был на всех фронтах почти одновременно! Благостные истории солдатского воображения о подобном неистовстве комиссара были совершенно противоположны рассказам о нем среди генералов,

политработников высокого ранга. Самый желчный, раздражительный, мелочный в обидах, злопамятный даже по пустякам – вот краткий абрис единственного человека, кто мог обращаться к Верховному по имени и отчеству в память о тех днях, когда тот под огнем оппозиции работал в Секретариате ЦК ВКП(б). В отличие от наивных солдатских сказов о настоящем героическом комиссаре, здесь знали, что он зачастую занимался доносительством! Был излишне придирчив к командирам и политработникам при посещении боевых частей переднего края. А уж всем известная история от мая сорок второго года, при Крымской операции, когда он навязал свою волю более осторожному и деликатному генералу Козлову, и в результате немецкий генерал Манштейн разгромил их армию: двести тысяч пленных, вновь отобранный весь юго-восточный Крым, не говоря уже о тысячах убитых и раненых, умиравших от безводья по дороге к Керчи. Верховный простил, отложив разбирательство его вины на послевоенный период! А через некоторое время, отойдя от крымского разгрома, он забыл о своих ошибках, длительно подлечиваясь в подмосковном Архангельском и, будучи Членом Военного Совета на одном из фронтов, без устали писал доносы на комфронта, но вскоре был оттуда отозван, находился в резерве Ставки, а потом снова был послан и опять отозван! Эти художества, пожалуй, никому не простили бы, а ему все сходило с рук.

Глава XVII
КТО ПРОВЕРЯЛ ОТДЕЛ

Сазонов был в курсе фронтовых сплетен и удивлялся многому, но сейчас его мысли были заняты только предстоящей проверкой. И, наконец, утомленный ожиданием, дождался приезда проверяющих. Их было четверо – два майора и два капитана.

Одному майору было около тридцати. Сергей Николаевич Ковалев, с румянцем на щеках и внимательными серыми глазами, был руководителем группы. Он был взят перед войной с четвертого курса юридического факультета Московского университета для укрепления органов, обескровленных по инициативе самого шефа – Ежова. В начале войны, когда на особистов был повышенный спрос, основной костяк Центра ушел на руководящие должности в особые отделы Красной Армии. Ушел и Туманов, став начальником Отдела N-ской армии и захватив с собой своего подчиненного и любимца, в ту пору сержанта Ковалева, и держал его рядом, ожидая, когда тот наберется опыта, чтобы сделать его своим заместителем. Он ценил своего любимца за грамотность и умение схватывать суть дела, за энергичность и дипломатические способности.

Второму майору было за сорок: с мягкими манерами, начитанный, владеющий немецким языком, он перед войной пострадал за близость к одному репрессированному; руководителю контрразведки страны. На следствии «признал» себя виновным, за что презирал себя, и, если бы не война и не усилия друзей, настоявших на его освобождении как профессионала-агентуриста по немецкой линии, он так бы и остался в лагере! После освобождения некоторое время занимался в Москве разоблаченной абверовской агентурой. В то время его группа установила отличительные признаки паспортов, сделанных в Германии для легализации своей агентуры в СССР. Аккуратность и качество подвели немецкую разведку: скрепка в середине их паспорта была сделана из качественной нержавеющей стали. В нашем отечественном паспорте скрепка производилась из простой проволоки и оставляла в середине паспорта ржавый след. Немало было разоблачено агентов абвера по этим признакам!

Потом он вел подготовку кадров для работы в партизанских спецотрядах. Работать в Центре рядом с теми, кто выбивал из него показания, он не мог. Он был острым на язык и однажды за

фразу о том, что собственное достоинство у нас на Лубянке может укоротить жизнь, был приглашен к секретарю парторганизации отдела, где ему было сделано внушение и напоминание о его лефортовских признаниях. По этой причине он замкнулся в себе и пристрастился к медицинскому спиртику в компании со стареньким, земских времен, врачом Четверухиным – соседом по лестничной клетке.

И только в сорок третьем году ему удалось уехать на фронт. При восстановлении в правах ему засчитали партийный стаж не с 1920 года, а с момента выдачи нового партбилета, а при введении новой формы его, капитана госбезопасности, аттестовали на майора, тогда как он должен был получить звание не меньше полковника. Все это, вместе взятое, тяжелым грузом обиды лежало у него на душе и постоянно огорчало. Он был уроженцем Вильненской губернии и унаследовал от отца, преподавателя гимназии, фамилию Красовский, а при крещении ему дали имя Зиновий.

Третий проверяющий, худой и высокий, лет за тридцать, капитан по фамилии Разин, считался в их отделе специалистом по борьбе с антисоветскими проявлениями. До войны два года работал в секретно-политическом отделе Ростовского областного управления НКВД.

Другой капитан – Слободенюк – обладал феноменальной памятью на содержание действующих инструкций, приказов, ориентировок Главного управления «Смерша» и при проверке мог с закрытыми глазами отыскать недостатки их выполнения. В его личном деле лежал строгий выговор за злоупотребление алкоголем. И теперь, проводя проверку периферийных отделов, он проявлял старание, надеясь, что его рвение будет замечено, а выговор снимут.

* * *

Менее способный или, как говорят в народе, бесталанный человек, с большим самомнением и амбициями, чтобы утвердиться в своем окружении, стремится быть всегда на виду. Так случилось и с Бондаревым. Как ему хотелось, чтобы проверяющие обратили на него внимание и оценили его недавние успехи в подборе разведгруппы. Он даже завел для этого папку, куда вкладывал копии сообщений осведомителей, проверочные материалы, полученные из официальных источников. Собирал это специально, чтобы в беседе с проверяющими можно было легче убедить их в своих чекистских способностях.

Первым для своей беседы Бондарев выбрал майора Красовского, полагая, что возраст, воспитанность и их равенство в званиях дадут возможность расположить его к себе. Был твердо уверен, что майор заинтересуется его информацией, и тогда он сможет вскользь обмолвиться о фактах политической незрелости своего начальника, а, будь руководитель более подготовленным, дескать, успехи отдела были бы гораздо выше!

И без всякой проницательности можно было уловить в бахвальстве Бондарева, его примитивных пояснениях по подбору разведгруппы откровенный намек на нерешительность и перестраховку своего начальника. Майор молча выслушал Алексея Михайловича, а тот истолковал молчание как согласие с изложением фактов и добавил еще несколько замечаний в адрес своего шефа. На лице майора появилась строгость – он остановил собеседника на полуслове:

– Вы, кажется, голубчик, запели арию не из той оперы! Вы полагаете, что мы приехали сюда разбирать ваши взаимоотношения с начальником отдела?! А если не полагаете, так зачем отрываете меня от дела?! Мы здесь не только ищем недостатки, но также и намерены оказать вам помощь в текущих делах!

Бондарев не ожидал и не предвидел такого поворота, и попытался доказать, что товарищ майор его не так понял. Красовский же всем своим видом показал, что разговор окончен, и углубился в лежащие перед ним бумаги. Поняв, что ему не удалось заинтересовать проверяющего, Алексей Михайлович вышел от него расстроенным. Майор ему не понравился – надо же, назвал его голубчиком, да еще прочитал нотацию, что приехал сюда заниматься делом! Если бы он был настоящим партийцем, то проявил бы интерес, как обстоят дела в отделе, какое настроение, какова политическая закалка личного состава? Вот такие вопросы он задал бы майору, если бы они поменялись местами!

И он вспомнил, каким был мастером по выуживанию «жареных» фактиков от его подопечных, приезжающих из районов. Он не стеснялся расспрашивать обо всем: кто и сколько пьет, кто с кем спит, не брезгуя сплетнями, досужими вымыслами, слухами о жизни районного аппарата. Именно с его подачи было установлено, что новорожденный у прокурорской четы был крещен в церкви. Все это подвергли расследованию. Факт подтвердился и прокурора исключили из партии; потом он едва устроился работать банщиком – нигде не брали на работу, ведь исключен за грубое нарушение устава партии. И еще вспомнил, что его умением выведывать подробности о жизни

района восхищался сам зампред облсовета Иванушкин: всегда просил подбросить ему для депутатской сессии что-нибудь интересное и непременно хвалил за это, включал его в закрытый список на денежную премию.

И, вспоминая былые дни гражданской жизни, успехи по работе, спокойную и размеренную жизнь в облсовете, Бондарев тяжело вздохнул и направился к Кузакову поделиться сомнениями в деловых качествах проверяющих, посетовать на то, что его не замечают по службе, затирают и что какая-то бездарь руководит им! И он заранее знал, что Кузаков выслушает, будет поддакивать, но палец о палец не ударит, чтобы использовать свои связи и помочь ему свалить Сазонова. Его раздражала осторожность и нерешительность Кузакова. Он подталкивал его к действиям, но тот говорил, что ему нужно закрепиться здесь, в дивизии, и в связи с уходом Члена Военного Совета Мехлиса нужно ожидать перемен во всем политуправлении фронта, – тогда он и предпримет меры. Время шло, на руках у Бондарева были такие козыри против Сазонова, а он не имеет возможности доложить полковнику Туманову, как его подчиненный подрывает устои службы, разлагает своими действиями оперативный состав! Он весь кипел от нетерпения и все время заглядывал в заветную тетрадь, наизусть заучивая свою обличительную речь.

С приездом проверяющих Сазонов безвылазно сидел у себя в блиндаже, чтобы быть поближе к ним и, когда нужно, сразу дать справку по любому вопросу. Он уже свыкся с их нахождением в отделе – все они не так уж жаждали крови проверяемых, как ему представлялось сначала. К тому же он нашел, что Ковалев и Красовский зачастую сдерживали рвение своих двух капитанов придраться к срокам выполнения приказов по Главку, соблюдению инструкций по делопроизводству, формам отчетности и другим изъянам в никем не любимой канцелярщине.

Уже в первый день, за ужином, Красовский, посмотрев на орден, медаль и нашивки за ранения Сазонова, поинтересовался о наградах оперативного состава. Дмитрий Васильевич откровенно рассказал, что не все его офицеры имеют боевые награды.

– Да что там наши особисты, – с горечью отметил он, – за Смоленск комдив только стал «Краснознаменцем», а начштаба пожаловали орден Отечественной 2-й степени... Это почти так же, как нашему дивэскулапу. Пока те воевали по-настоящему, он во втором эшелоне пил очищенную водочку и спал напропалую со всеми медсестрами!

Разговор стал общим, и кто-то сказал:

– Конечно, скуповато отметили дивизию. Вот, говорят, на

южных фронтах наград дают больше – за форсирование Днепра одних только «Героев» присвоили больше ста, а наша армия тоже Днепр форсировала в двух местах и Смоленск освободила...

Но кто-то ответил:

– Смоленск не Киев, и Днепр здесь был уже!..

Красовский переглянулся с Ковалевым и начал:

– А вы последний анекдот по части наград в нашей службе слышали?! Так вот, в отдел «Смерша» истребительной дивизии приехал начальник Особого отдела воздушной армии и стал распекать здешнего начальника по поводу того, что отсутствуют результаты по оперативной работе – мало заводится дел, нет арестов. А тот отвечает, что разрабатывать некого – все орденоносцы, некоторые по два-три ордена Красного Знамени имеют, а командиры полков – Герои Союза. Тогда его начальник говорит: сделай, мол, завтра под любым предлогом строевой осмотр личного состава дивизии, и я тебе укажу, кого нужно разрабатывать и арестовывать! Утром личный состав построен и старший особист осмотрел весь строй и сказал: «Вон, видишь, на левом фланге пять субчиков стоят без наград, вот на них и заводи дела! – «Не могу», – отвечает дивособист. «Почему?» – «Да это же мои оперуполномоченные».

Все дружно засмеялись, и начались истории, как награждают и какие коллизии при этом случаются. Так, капитан Разин глуховатым голосом поведал о том, как одного ротного командира за геройский поступок представили к награде. Прошло много времени: комполка обиделся за невнимание и посылает представление во второй раз. И опять там молчат. Тогда он посылает в третий раз, и вдруг через месяц ротному приходят сразу три ордена Красной Звезды. Окружающие не догадывались, что творилось на душе у майора Красовского. Вся прожитая жизнь и испытания, выпавшие на его долю, состарили его раньше времени, и все прошедшее виделось им уже не в романтической туманной дымке лет, в борьбе с поверженным классом, а как отвратительное насилие по партийным директивам над доверчивой массой.

Ну как забыть декабрь двадцать девятого года, по сути, последнего года существования нэпа. Тихий болезненный голос председателя ОГПУ Менжинского был еле слышен в дальних рядах зала заседаний. В абсолютно установившейся тишине доносилось с Лубянской площади тарахтенье колес, цоканье подков по булыжной мостовой и звонкая трель трамваев. Председатель назидательным тоном, еще спокойно говорил о задачах строительства бесклассового общества, укреплении планового государственного хозяйства, ликвидации частной

собственности и о том, что отступление партии окончено и она вступает в новый этап истории! И, перейдя к задачам ОГПУ, он начинал с философского рассуждения о том, что любой разрушенный уклад общества при первой же возможности опять возвращается в свои старые формы. Поэтому Органы нашего государства день за днем, все шире и шире должны проникать в глубину нашего общества, в его умы! Видеть все зарождающиеся процессы и выявлять осколки старого мира, не давать им склеиваться, сливаться, объединяться в группы, организации, формирования любого толка, будь это творческие, профессиональные, богословские и всякие другие… Как вооруженный отряд партии, как первая фаланга нашего общества, чекисты должны выявлять, обобщать и принимать оперативные меры к недопущению возникновения нерегулируемых процессов в нашем обществе.

Это была речь образованного интеллектуала-политика, владеющего не только всеми европейскими языками, но и полдюжиной азиатских. «Ему бы не меч пролетарский в руках держать, а кафедру в университете», – еще тогда подумал Красовский. После Менжинского он неоднократно слышал Генриха Ягоду, потом Ежова и его заместителя Берия. Образованность руководства органов заметно убавлялась. Он запомнил выступление Лаврентия Павловича накануне своего ареста. Оно было жестким, требовательным, и сам Берия, преуспевший и набивший руку на многочисленных активах в Грузии, наслаждался своим грузинским произношением. И оно нравилось многим, потому что Вождь тоже был грузин: говорил с акцентом и тоже знал, что это нравится всей стране! Но в отличие от Менжинского Берия не изучал гуманитарный курс, у него был свой стиль, стиль преданного Вождю партийца! Вспоминая первую и последнюю встречу с Берия, Красовскому запомнились отрывистые, рубленые фразы о том, что, чем шире невод осведомления, тем больше в нем будет интересных сведений о жизни наших масс. А сеть осведомления должна пронизать все наше общество, поэтому мы будем больше знать о нем и сумеем выработать тактику для подавления враждебных проявлений в любой среде, в различных ситуациях! И до сих пор в ушах звучал голос с усиленным грузинским акцентом: «Мы не должны оказаться в роли пожарных. Где-то занялось, и мы летим во весь дух гасить пламя. Но, когда все в дыму и пламени, пожарнику труднее работать – здесь могут быть издержки времени, материалов и жертвы! А если бы инспектор вовремя пришел, осмотрел, предупредил, то не было бы загорания и ущерба! Только осведомление и агентура позволяли органам выявить,

предупредить, повлиять на умы людей и их действия. И потом решить, что нам делать: предупредить их, а может быть, пресечь сразу, в зависимости от масштаба событий, количества людей, возможного политического ущерба. Наша партия учит нас подходить к событиям диалектически, но классовые интересы при этом должны соблюдаться. Это наш компас в политической жизни!..»

А что было за два года до этого? И в памяти явно выплыло жаркое лето тридцать шестого года. На Лубянке было известно, что Вождь отдыхал в своей резиденции под Сочи. И вдруг оттуда телеграмма наркому Ежову. Поползли слухи о ее содержании, где указывалось, что в странах капиталистического окружения карательные органы в борьбе против рабочего класса применяют любые средства, а поэтому необходимо ответить теми же мерами в борьбе со шпионажем и другой подрывной деятельностью вражеских разведок! Это был сигнал к Большому террору в стране. И Вождь знал, кому поручить выполнение его директивных указаний, и не сомневался в исполнительности бывшего сотрудника секретариата ЦК ВКП(б)!

Пять дней и ночей руководящий состав наркомата в бешеном темпе готовил материалы к выпуску приказов и инструкций по оперативной и следственной работе. Так пошло с этого жаркого лета повальное избиение арестованных, обязательные для следователей ночные допросы! Судьба миловала Красовского – не допустила участия в этой дикой вакханалии. Как специалист по немецкой разведке он был занят разоблачением агентуры Генерального штаба Германии. Дело закончилось выдворением двух дипломатов германского посольства в Москве, арестом абверовского агента – ювелира по профессии и перехвата ценностей на несколько миллионов рублей. За что он и был отмечен в приказе по наркомату.

Со скрежетом пролетели два вулканических года после роковой сочинской телеграммы Вождя. В Москве прошло несколько разоблачительных процессов, а потом втихую, без публики и адвокатов, на полную мощь заработало Особое Совещание[32] и знаменитые «тройки»[33]. Пожар репрессий перекинулся на периферию.

Это было время, когда органов боялись в стране как огня! В Умани, где Красовский был в командировке, местный отдел НКВД располагался на улице Добролюбова – обыватели стали называть ее улицей Душегубовой. При встрече с сотрудниками органов они переходили на другую сторону улицы. Все шептались об арестах, ходили разные слухи о заговорах против власти, вредительстве, всесилии органов. А радио и печать трубили и призывали к

разоблачению врагов народа!

Но удар был нанесен и по самим чекистам. Ежовские «рукавицы» добрались и до собственной когорты. В первую очередь пострадала Лубянка. Многие ее руководящие сотрудники были в близких отношениях с репрессированной партийной верхушкой и прошли через их дела как преступные связи, подлежащие аресту. Красовскому тогда еще не верилось, что его коллеги, кто в гражданскую войну и после нее, рискуя жизнью, выполнял задания партии, вдруг в одночасье стали шпионами и вредителями! Но они признавались, и он сам убеждался в этом, знакомясь с протоколами их допросов.

Во второй половине тридцать восьмого года Политбюро партии приняло закрытую резолюцию, где было выражено недоверие высшим должностным чинам госбезопасности и там же было решено укрепить Наркомат внудел новыми кадрами. Так, на руководящую работу в органы пришли выпускники высших партийных школ, военных академий. Их отличала беспредельная преданность делу партии и лично Вождю народов, возникшая, в основном, не от любви и уважения, а от всеобщего страха перед беспощадной силой репрессий. Заменить репрессированных сотрудников НКВД – а их было около пятнадцати тысяч – партия сумела, но профессиональный опыт, приобретенный в эпоху революции, был утерян, и там же были оставлены принципы соцзаконности, гуманности и революционного благородства! Кроме того, была нарушена необходимая для секретной службы преемственность между старшим и новым, пришедшим ему на смену, поколениями. Поспешное массовое выдвижение на руководящие должности без изучения личных качеств, способностей будущих руководителей разведки и контрразведки, с упованием только на преданность партии и знаменитое ленинское «каждый коммунист должен быть чекистом» вызвало у оставшихся кадровых сотрудников горечь разочарования и досады. Именно в то время на Лубянке родился анекдот о руководящем лице из числа партукрепленцев. К нему поступает рапорт оперработника о намеченной вербовке иностранца, где указывалось, что вербовка будущего агента будет проводиться под «чужим» флагом[34]. Руководитель в резолюции отметил: «Почему под чужим? Что, у нас своего флага нет?!»

Гораздо позже Красовский понял, что некомпетентность большинства партмобилизованных позволяла им отдавать любые приказания без риска, что у них возникнут сомнения в необходимости и законности их выполнения. Это было удобно для руководства партии и НКВД! Многие из партийного пополнения, как ему стало известно по возвращении с Колымы,

отсеялись, не выдержав темпа работы в органах, нервных перегрузок, обязательных ночных бдений. Но какая-то часть приспособилась, закрепилась, втянулась, постепенно наращивая свой чекистский опыт работы.

Глава XVIII
НАЙТИ ВИНОВНОГО

Красовский в душе с предубеждением относился к тем, кто прибыл в органы по партразнарядке, однако его нынешний шеф – майор Ковалев Сергей Николаевич – был для него исключением. В отделе его ценили за работоспособность, цепкость ума: он мог по незначительным деталям восстановить картину события. Кроме того, он был умеренным сторонником обвинительного уклона по оперативным разработкам, а по делам дознания строго придерживался закона. Полковник Туманов называл его за приверженность к соблюдению юридических норм «законником», но был всегда уверен в объективности его суждений и заключений по возникающим делам.

Майор Ковалев был душевным человеком; от студенчества в нем сохранились открытость и умение ценить дружбу. Четыре курса юрфака Московского университета давали ему возможность логично и четко излагать свои мысли и быть главным составителем докладных записок для отчета перед фронтовым управлением контрразведки. В его университетском образовании глубокий след оставили лекции представителей старой школы юристов-законников с вольнодумствующим уклоном и новой – во главе с восходящей на юридическом небосклоне звездой – профессором Вышинским. От старой школы остались привнесенные в его сознание сомнения по вопросам внутренней политики советского государства, а из новой – необходимость мер принуждения при строительстве социализма в отдельно взятой стране, при нарастающем сопротивлении свергнутых классов! О масштабах и истинной направленности репрессий он имел до поступления в органы смутное представление.

Однажды, а это случилось вскоре после освобождения Смоленска, Туманов поручил ему провести среди личного состава их армии розыскные мероприятия по выявлению лиц, имеющих какое-либо отношение или знающих, при каких обстоятельствах Смоленский партийный архив[35] попал к немцам. Никто, кроме всесильного начальника «Смерша», генерала Абакумова, не знал замысла этих мероприятий. Только он был посвящен в их предысторию. Разве мог генерал забыть тот майский день запоздалой весны сорок второго года! Его неожиданно вызвал к себе в Кремль сам Хозяин! Генерал редко видел его в таком возбуждении. Не здороваясь, он встретил его со словами: «Товарищ Абакумов, ви чувствуете, когда ваши подчиненные вам

врут?!» И, не дожидаясь ответа, набирая обороты злости, с еще большим акцентом, сверкнув желто-коричневым (не по возрасту!) блеском глаз, он прошел мимо него грозный, неумолимый, пахнущий крепким табаком. И генералу безумно хотелось в этот момент не только вытянуться, что и было сделано, а упасть на колени, целовать руки Вождя и принять из них любую кару! Ну а он, умевший с одного взгляда определять истинную преданность, понял душевное состояние генерала и, устав от вспышки гнева, продолжил: «Ваши люди в августе прошлого года доложили мне, что при отступлении из Смоленска все ценное и достойное было эвакуировано на Восток, а сейчас выясняется, что забыли самое главное – партийный архив! Преступно забыли и отдали фашистам самое ценное оружие! Ви, генерал, еще мальчишка и нэ знаете, что такое архив партии, и я вижю по вашим глазам, что нэ знаете и нэ представляете, во что это ротозейство обойдется нашей партии и государству!» Потом гроза миновала, и, облегченно вдыхая свежий весенний воздух, генерал сел в свой «Паккард» с номером МА-09-99. Не удержавшись, все-таки поехал в Колпачный переулок: там его верный слуга – полковник Кочегаров – уже присмотрел для его постоянного местожительства особняк, где до революции была глазная клиника доктора Снегирева. Расторопный секретариат вечером того же дня подготовил генералу справку о том, что могло быть в Смоленском партархиве, а в приемной уже сидел бледный и трясущийся от страха главный архивариус государственного Октябрьского архивного хранилища, большевик с дореволюционным стажем Иосиф Перельман. Но откуда ему было знать, зачем и почему его привезли на Лубянку? Но Абакумов знал, что из справки он не почерпнет того, что может рассказать живой, насмерть перепуганный специалист о значении архивов. Хозяин, как всегда, был прав! Оказывается, там хранились все документы со времен создания первого Совета рабочих и крестьянских депутатов, первого губкома РКП(б)! Ну и, понятное дело, там осели все решения, постановления, направляемые из ЦК партии времен гражданской войны.

– Понимаете, товарищ генерал, – говорил Перельман, уже понявший, что его не расстреляют, – там же находились закрытые сов. секретные постановления ЦК, политбюро по борьбе с политпартиями кадетов, правыми и левыми эсерами, с политическим бандитизмом, реакционными церковниками, а также и все материалы по правому и левому уклонам борьбы с кулачеством!

И далее архивариус, уже совсем отошедший от испуга, с удовольствием пил крепкий и очень сладкий чай и искренне

смеялся генеральскому сравнению: чай должен быть крепким и сладким, как поцелуй женщины! Абакумов обладал природными способностями быстро схватывать главную нить и материю существа дела. Теперь он полностью убедился, насколько Хозяин был более прозорлив и предвидел возможный урон от потери партархива одной области. Только Он ясно представлял, что в архиве, как в капле воды, отразились все тайны многотрудной жизни и борьбы возглавляемой им партии, тайны создания невиданного в истории государства двойного и даже тройного внутреннего контроля! И предполагалось, что это на века! Ну кто мог подумать, что за два месяца войны войска противника возьмут Смоленск! А где были те, кто должен был выполнить указание ЦК партии и Комитета обороны об эвакуации имущества и государственных архивов?! А виной всему, как считал Вождь, русское разгильдяйство, безответственность этих разжиревших чиновников!

Генерал внимательно дослушал старого большевика и позвонил – вошел порученец, вручив объемистый пакет Перельману. Генерал поблагодарил архивариуса и распрощался с ним. Только дома, раскрыв пакет, тот обнаружил большую пачку грузинского чая, ванильные сухари и несколько пачек печенья. Генерал знал, как поддерживать авторитет органов!

Вождь излил бы свой гнев сразу, на кого полагалось, но тут началось майское наступление немецких войск на Дон, Кавказ, Сталинград. Оно заслонило и отодвинуло расследование пропажи Смоленского партархива на лучшие времена.

А они наступили уже осенью сорок третьего года, когда был взят Смоленск. И вот тогда на стол Верховного легла справка, объемом не более двух страниц машинописного текста, о результатах хозяйничанья гитлеровцев в Смоленске! Ничто не тронуло его в этом документе: ни то, что город был разрушен почти полностью и остался на зиму без топлива, воды, продовольственных запасов, без стройматериалов, с подорванными мостами через Днепр, заминированными полями, где подрывались жители города в поисках картошки, ни разграбление музея с художественной галереей, похищение иконостаса из городского собора. Красным карандашом он жирно выделил из всего текста только одну строку – о захвате немцами партархива и сделал на полях пометку: «Тов. Шкирятову[36] – создать комиссию, разобраться и доложить через месяц о результатах… Тт. Берия, Абакумову – оказать помощь в расследовании».

Его указание было выполнено в указанный срок! При этом нашли виновных! Так, часть вины взвалили на генерала

Лукина[37], не сумевшего отстоять Смоленск. Какую-то часть вины возложили на коменданта города, его помощников по эвакуации имущества и других мелких сошек из числа гражданских лиц, не успевших дать дёру на Восток. Комиссия грозного и въедливого Шкирятова с помощью органов внудел и «Смерша» выявила больше двадцати человек, изобличенных в трусости и халатности при выполнении своих обязанностей. Почти все они были осуждены, а двое – генерал Лукин как пленник и помкоменданта Бочкарев, убитый при бомбежке, – остались без наказания.

Ковалев, проявив находчивость и расторопность, выполнил приказ своего начальника, используя возможности армейских кадровиков, что помогло установить оставшихся в живых офицеров, кто мог бы дать показания по отдельным эпизодам обороны Смоленска. Только Ковалев с его юридическим подходом смог добиться того, что ни один офицер их армии не попал в число обвиняемых, – все они прошли по делу как свидетели. Красовский после этого проникся уважением к Ковалеву, и у них, несмотря на разницу в возрасте, установилась дружба и взаимопонимание.

Глава XIX
УПУЩЕНИЯ В РАБОТЕ ОТДЕЛА И ФИНАЛ ПРОВЕРКИ

Когда Бондарев пришел к Кузакову, чтобы поделиться мнением о проверяющих и высказать обиду на майора Красовского, тот сидел погруженный в читку служебной почты. Алексей Михайлович сел и стал ждать. Начподив, прервав чтение, сказал:

– Вот, слушай, тут прислали распоряжение из ГлавПУ с выпиской из Главлита[38]. Сообщают, что запрету подлежит исполнение песни «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца», музыка Н. Богословского, слова В. Агатова. Теперь это редкое явление, а вот, помню, до войны к нам в секретариат Члена Военного Совета пришел целый список из Главлита. Каких там поэтов и писателей только не было! Я запомнил тех, кого читал: Бабеля, Бруно Ясинского, Пильняка, – и там было указание – изъять из обращения все их книги. И у нас сразу уменьшился библиотечный фонд. Только потом мы узнали – всем им высшую меру дали! Здорово почистили этих писателей! Многие из них были откровенными троцкистами, а какие деньги они гребли за свои книги! И, говорят, что у каждого машина, дача! Ты скажи, Бондарев, чего им не хватало?! И вот всегда эта интеллигенция качается, неустойчивая какая-то. Помнишь, Бондарев, как Маркс и Ленин говорили о ней? Вот… а ты говоришь!

Потом они переключились на текущие дела, и Алексей Михайлович опять жаловался на Сазонова, на отсутствие у него политического опыта и партийного подхода. Но нерешительный Кузаков долго слушал его, зевал и молчал. Ему уже надоело слушать одно и то же, новых фактов не было. И, откровенно говоря, приелся ему Бондарев со своими жалобами. И, глядя в сторону, он сказал:

– Ты, Бондарев, хотя и собрал материал на Сазонова, но, откровенно говоря, он у тебя слабый и недоказательный! То, что он посылал своего подчиненного в деревню менять шмотки на сало, это еще не преступление и даже не проступок, потому что факт его личной корысти отсутствует, а доказать хищение военного имущества тоже невозможно – у него любой солдат скажет, что это было его личное имущество, а доказать обратное почти нельзя! Усек?! – И, скроив серьезную мину на своем угодливом лице, он сделал паузу и продолжил: – И разве не я

наказывал, чтобы ты обратил внимание на его морально-политический облик! Я тебе говорил: ищи недовольных вокруг него. Ты ухватился за один факт, а их должно быть больше...

Бондарев вернулся в отдел, взял у Калмыкова пухлый том исполненных документов, стал искать копию своего запроса и совершенно случайно наткнулся на сообщение из УНКВД по Орловской области о повешении пособника оккупантов Николаева и о том, что его сын служит в их дивизии, а эти сведения направляются для оперативного использования. Бондарев сначала не поверил резолюции Сазонова. Как он мог отправить такой материал в архив?! И почему он не довел этот факт до сведения замкомполка по политчасти?! Ведь сокрытие этого факта от политорганов – должностное и политическое преступление! От возбуждения у него тряслись руки, и, радуясь своей находке, он едва справился с волнением, переписывая запрос в свою заветную тетрадочку. Когда Бондарев вышел из блиндажа, серый мартовский денек показался ему сплошным очарованием; все в нем ликовало: наконец-то он обладает серьезным материалом против своего шефа! Давно уже не ощущал в себе такой радости. Просто не верилось, что Сазонов мог так опрометчиво поступить с этим сообщением. Как же ему хотелось уничтожить, растоптать Сазонова! Как он ненавидел и презирал его за манеру запросто разговаривать с подчиненными, за дружеский настрой ко всем в отделе и даже за его чуть хрипловатый тенорок! Сейчас Бондареву хотелось поделиться с кем-нибудь своей удачей! Но этим человеком был только Кузаков. Хотя Алексей Михайлович был недоволен его нерешительностью, тот оставался единственным, кому он доверился и кого посвятил в свои тайные дела.

Выйдя из блиндажа и находясь в буйно-приподнятом настроении, Бондарев и сам не заметил, как ноги снова привели его к начподиву. Как ему везло в этот день! Обычно у Кузакова с утра то совещание, то заседание, и идут к нему разные парторги, комсорги, пропагандисты или кто-нибудь из редакции дивизионной газеты – и все с какими-то бумагами, планами по усилению, расширению, охвату политической учебой, политинформациями для личного состава. А здесь вдруг никого! Только один прыщавый парторг роты управления, лейтенант Карцев, пришедший к начподиву по личному вопросу. И вот уже минут десять – пятнадцать Бондарев сидел как на иголках, а из-за двери все слышался голос с просительной интонацией посетителя. Но наконец-то этот слюнявый Карцев выкатился, и взмокший от нетерпения Бондарев почти бегом кинулся в отсек к Кузакову. А тот, посмотрев на него, сказал:

– Вижу, вижу, ты новенькое что-то наковырял, выкладывай!

И Бондарев, волнуясь от возбуждения, рассказал о своей находке. Лоб Кузакова покрылся морщинами. Это был признак его размышлений. Потом он молча взял телефонную трубку и попросил соединить с оперативным отделом штаба дивизии. Закончив разговор, он сказал:

– Через полчаса полковник Лепин выезжает в артполк, и ты будешь звонить своему Туманову. Помни, что говорить нужно кратко, не больше пятнадцати минут. И еще, не говори скороговоркой и не волнуйся, а то он не поймет. Ну а самое главное, не забудь сказать, что ты выполняешь долг коммуниста без всякой корысти, докладываешь ему о злоупотреблении своего начальника и что ты сожалеешь о случившемся, но твой партийный долг обязывает тебя поставить руководство в известность о свершившемся факте.

Когда Бондарев взял трубку и услышал басистый зуммер, а потом щелчок и голос: «Туманов слушает», – у него что-то ёкнуло в груди. Его внезапно ударило в испарину, и, уже не слыша себя, он громким голосом доложил свою должность. В это время невидимый собеседник успел сказать ему: «Вы не старайтесь говорить громко, я вас прекрасно слышу...» Это как-то ободрило Алексея Михайловича, и он, уже более спокойным голосом, стал излагать суть своего обращения по заранее приготовленному тексту. Форма доклада была краткой и заняла около десяти минут. Когда он закончил, тот же телефонный собеседник вежливым, но твердым голосом сказал: «Если вы закончили, то попрошу все это изложить в рапорте на мое имя и прибыть с ним ко мне завтра к десяти часам утра. Полагаю, что в ваших интересах никого не посвящать в наш разговор. Вызов будет вам сделан по линии политотдела армии». На этом доклад был закончен.

Кузаков, ожидавший его около переговорной комнаты, кинулся к нему:

– Ну как, как он тебя воспринял?!

– Вроде бы ничего.

– Давай рассказывай!

И Бондарев, желая в глазах начподива казаться более солидным, сделал паузу и спокойным тоном сказал:

– Завтра. На личную беседу меня пригласил, только я прошу никому об этом...

– Ну, это понятно, – заметил Кузаков, и у него забрезжила надежда, что теперь они действительно с Бондаревым в паре смогут воздействовать на окружение комдива, нейтрализовать некоторых, например этого бывшего военспеца Лепина, и

установить хорошую партийную атмосферу, а то ведь командиры полков почти не замечают его, хотя ведь он должен быть вторым лицом в дивизии. И Кузаков с выражением готовности услужить и сделать что-то приятное сказал:

– Я восхищен тобой, доложил ты классно! Он у тебя даже никаких уточнений не попросил, настолько ты ему четко и грамотно изложил. Уважаю тебя за то, что ты моим советом воспользовался – подготовиться к разговору. Другому сколько ни советуй, а проку никакого!

Бондарев выпрямился и едва удержался, чтобы не упрекнуть того в нерешительности и нежелании оказать ему помощь через свои связи, но удержался, считая, что Кузаков ему пригодится в дальнейшем. В целом они остались друг другом довольны, и Бондарев поспешил в отдел, чтобы написать рапорт. Часа через два в отдел поступила телефонограмма о вызове коммуниста Бондарева в политотдел N-ской армии.

А в это время Сазонов готовился к назначенному майором Ковалевым совещанию в отделе по вопросам состояния борьбы с антисоветской агитацией и пропагандой среди личного состава дивизии. Сообщение по этой работе готовил проверяющий, капитан Разин. Чтобы не застать врасплох Сазонова, Ковалев раскрыл перед ним результаты проверки:

– Вы понимаете, что капитан Разин в ходе проверки собрал много фактов, когда ваши сотрудники не обращали внимания на антисоветскую сущность высказываний, не проводили предупредительно-профилактическую работу среди личного состава, так что учтите эти обстоятельства и постарайтесь оптимально объяснить причины недоработок…

За эти суетные дни Сазонов упустил из виду «ненаглядного» своего. И хотя во время совещания он узнал, что Бондарева вызвали в политотдел армии, однако не придал этому значения.

По сообщению капитана Разина, этот участок работы запущен и сотрудники отдела не реагировали на высказывания антисоветской направленности, не принимали действенных мер по пресечению особо злостных реплик по отношению к нашей партии и советской власти. Так, например, сержант Куликов в кругу своего расчета говорил, что у них в деревне столбы поставили, провода повесили, а электричества не дали, но провели только одну «брехаловку», то есть радиосеть. И он же говорил: посмотришь под пуговицей на кальсонах, а там вши, как на партсобрании, сидят дружно и дремлют. К тому же вот рядовой Уханов допустил нецензурные выражения на лекции пропагандиста дивизии на тему: «Национальная политика ВКП(б)». Так, на слова лектора «царская Россия была тюрьмой

народов» он вслух сказал: «Ну и ебись ты конем!»

Потом капитан цитировал еще много высказываний, подрывающих колхозный строй, и зачитывал из текста, как повозочный из полкового хозвзвода Гамаюнов сказал, что «хорошо жилось до колхозов, когда были ТОЗы[39], лишь тогда только немного и обустроилась деревня, а потом в колхозе все стало общее – значит, ничье! А МТС[40] пашет через пень-колоду – никто за это не отвечает, а в конце года на трудодень сто грамм зерна». Другой его собеседник, солдат Кулевич, ранее находившийся на оккупированной территории и призванный через полевой военкомат, говорил: «Как войну закончим, так на селе должны быть перемены. Я так кумекаю – вернули погоны, вернут и загоны[41]». А рядовой Кураев даже спел частушку антисоветского содержания: «Едет Сталин на карете, а карета без колес. Ты куда поехал, Сталин? – Ликвидировать овес».

И не только рядовые, но и офицеры допускают безответственные высказывания и порой разглашают государственные тайны. Лейтенант-воентехник Зайцев в кругу собутыльников полностью раскрыл спецмероприятие, когда он участвовал в засаде на бежавшего из-под ареста бывшего командира «железной дивизии» Гая[42], и при этом выразил сомнение в его принадлежности к врагам народа!

Потом капитан Разин бодрым голосом зачитал заключение о результатах проверки, отметив при этом, что в дивизии устный антисоветизм стал бытовым явлением, а контрразведка не обращает внимания на вражеские высказывания, не ведет профилактику среди тех лиц, кто с враждебным умыслом допускает выпады против мероприятий партии и правительства и клевещет на советский общественный строй!

– А что делает в это время Особый отдел? – вопрошал капитан, оторвавшись от текста и обращаясь прямо к Сазонову. – Оказывается, он только наблюдает и регистрирует антисоветчину! Разработок на такие явления отдел не заводит, политорганы не информируются...

Сазонов понимал, что по закону Разин прав, но слишком суров и жесток был этот закон! Ну а многих, кого проверяющий записал в антисоветчики, он за врагов не считал и знал, что все они, когда надо, безропотно отдадут свои жизни за нашу власть и правительство, а выразиться матерком о порядках в стране, колхозе, на предприятии, в адрес малого начальства – так это первое дело для них! Там, у себя дома, их еще сдерживал страх перед органами, а здесь, на фронте, где смерть была рядом, они считали, что никто не будет придираться, если вслух обмолвиться о власти не так, как говорят политработники, славословя заботу

партии и правительства о трудящихся. Ну, что с ними поделаешь?! И как их переубедишь, если лозунги и обещания хорошей жизни остались словами, а действительность была другой! И он вспомнил арест политрука Волкова в ноябре сорок первого. Если разобраться по существу, он не замахивался на советскую власть, но позволил себе вслух поразмыслить о несоответствии нашей довоенной доктрины и критикнуть Верховного! Однако закон-то очень суров! Десять лет лагерей для Волкова – много!

Разин закончил свой критический обзор и спросил, есть ли к нему вопросы, но их не оказалось. Тогда Сазонов, как положено, заверил проверяющего, что оперативный состав учтет все критические замечания по данной линии работы и выполнит рекомендации по устранению недостатков... И еще много слов благодарности было сказано в адрес проверяющих за ценные указания, советы и помощь по конкретным делам! На этом совещание окончилось.

Все расходились, довольные тем, что совещание не затянулось и что они успеют к обеду. А у Сазонова был запланирован и согласован с Ковалевым вечер отдыха для проверяющих. Пусть не думают потомки, что на фронте только и делали, что стреляли и совершали героические подвиги. Такое представление о войне могли создать газеты того времени, где только и было: умение бить фрицев; героика от рядового до генерала, трезвость и высокая культура на фоне преданности Родине! Солдаты и офицеры, изображенные во фронтовых очерках, не расставались с томиками стихов Маяковского или с книгой «Как закалялась сталь» Н. Островского, знали только бои и сражения и пили... только чай! Отработанные, отфильтрованные по единому штампу ГлавПУ и Главлита, другой жизни о войне газеты показывать не могли!

Как советовал Сазонову его коллега Денисенко, для вечера отдыха нужна была баня. Об этом он договорился с командиром саперов майором Собинским. Их баня была шедевром инженерного искусства! Бревенчатая красавица с петушком на камышовой крыше, с крыльцом и навесом, с перилами из березовых жердей, в глубине ельника она смотрелась как сказочный теремок. В просторном, теплом предбаннике стояла длинная железная печь и широкие лавки со спинками. Парная – такую ищи, по всей дивизии не найдешь! Специально подобранные булыжники и несколько чугунных чушек были заложены в срезанную часть трофейного понтона, нагреваемого с улицы. Ковша воды хватало, чтобы паром охватывало всю парную, сработанную из осиновых плах. Откуда-то солдаты достали

березовые веники, но в ходу были и можжевеловые. В бане стоял смолистый запах леса, свежего дерева и земляничного мыла.

Мылись в бане долго. Три-четыре захода в парную утомили гостей. Распаренные, уставшие, но довольные, они возвращались в блиндаж и, увидев на столе давно забытую на вкус цивильную снедь, дружно выразили свой восторг. Как было приятно после бани сесть за такой стол. Ординарец Сазонова с блеском оправдал свою довоенную должность – завхоз. Он предусмотрел все для застолья. Длинный стол из снарядных ящиков был накрыт белой бумагой, на полу и по углам лежал лапник, издавая приятный лесной дух. В офицерской столовой он раздобыл тарелки, вилки, стаканы, а четыре фонаря с чистыми стеклами уютно освещали весь отсек. Разведенный спирт стоял в холодном термосе. Сельские дары, полученные в обмен: капуста, огурцы, моченые яблоки, сало и американская консервированная колбаса, – были порезаны и разложены по тарелкам. Ведро вареной картошки, закрытое двумя одеялами, томилось, ожидая своей очереди. Сазонов скромно выслушал похвалу. Он был несказанно рад, что все удалось и Егоров не подвел – стол на славу; проверка заканчивается, не предвещая неприятностей. В дивизии все спокойно, а Бондарев отказался от товарищеского ужина – ему завтра в политотдел армии.

Первый тост, как это было давно принято у армейских офицеров, – за Верховного! А когда уже наполовину опустел термос и было сказано немало тостов: за любимую Красную Армию, офицерский корпус, за скорую Победу, за здоровье проверяющих и гостеприимных хозяев, – и еще не была потеряна радость первого опьянения, когда алкоголь волшебно отпустил еще молодые, но порядочно истрепанные войной нервы, погружая их в безмятежный покой и послебанную телесную легкость, настраивая на добрые дела и сердечные слова, тогда за столом появился знаменитый певец и гитарист – старшина Костя Шкипер со своим другом – виртуозом игры на домре, Мишей Казаковым. Сазонов одолжил их на вечер у командира батальона связи. Сам комдив иногда приглашал их к себе, слушал и подпевал, когда Костя начинал распевные, но грустные «Реве та стогне» и «Гляжу я на небо».

За столом уже установилась тишина, и старшина взял несколько аккордов, и вместе с домрой они повели дуэтом довоенные мелодии. Говорят, что запахи и звуки по-особому действуют на память. А здесь, на фронте, все, что было связано с мирной жизнью, ценилось особо! И, слушая эти простенькие мелодии, они отдыхали душой; их охватывала радость, что они живы, здоровы, сидят со спиртиком в теплом блиндаже, немцы не

бомбят, не обстреливают... А до боли знакомая по танцплощадкам и фильмам музыка устроила им радостную встречу с прошлым. Четвертый год шла война, и они уже подзабыли лица родных и любимых, а песенные слова бередили память. И, очарованные мелодиями и словами, они радовались и грустили об уходящей молодости, фронтовых утратах в ходе этой долгой войны.

Уже опустел термос со спиртом и был выпит чай из двух чайников. Время шло к полуночи. Дважды на «бис» был исполнен репертуар только входившего в моду киноактера Марка Бернеса, и сурово задушевная «Темная ночь» всякий раз заставляла блеснуть слезой глаза почти каждого из них. Но, каждому – свое. И Бондарев, выйдя из соседней землянки, усмотрел еще одно прегрешение Сазонова – исполнение запрещенной ГлавПУ песни в расположении блиндажа, о чем он непременно доложит завтра Туманову.

Глава XX
НЕУДАВШИЙСЯ ДОНОС

Утром, наскоро позавтракав, Бондарев, возбужденный предстоящей встречей, сел в двуколку и погрузился в размышления. Сейчас он не сомневался, что его усилия не пропадут даром. А для чего же еще его тогда вызвал Туманов?! Наверное, из того телефонного доклада полковник понял, что он имеет дело не просто с клеветником, а с бывшим совотвetработником областного масштаба, прошедшим практику в политорганах корпуса Ставки Верховного Главнокомандующего и выдвинутым для укрепления Особого отдела. И если он этого не знает, то Алексей Михайлович напомнит ему об этом. Несмотря на то что дорога пошла через глухой ельник и двуколку бросало по корням из стороны в сторону, он, не обращая на это внимания, продолжал мысленно укреплять свои позиции перед грозным полковником и делать прикидки, как тот воспримет его и какой сделает вывод. О том, что по совокупности фактов поведения, не достойных руководителя и коммуниста, Сазонов будет снят с отдела, Бондарев уже не сомневался!

Но какая польза будет лично ему, если Туманов назначит нового начальника, а он так и останется замом?! Значит, все его усилия и старания будут напрасны?! От таких мыслей ему стало жарко, он расстегнул полушубок, и утренний холодок ранней весны освежил его. И он снова и снова возвращался к этим мыслям. Но как сделать, чтобы полковник остановил выбор на нем?! Советоваться по такому деликатному вопросу даже с Кузаковым он бы не стал. Теперь он сам должен сделать такой ход, чтобы Туманов обратил на него внимание.

На память пришла подобная история, случившаяся с ним же при повышении по службе. Тогда он работал в отделе капстроительства облисполкома. Не без удовольствия он вспомнил схватку двух гигантов области – секретаря обкома Никитина и предисполкома Максимова. Спор между ними возник из-за строительства дороги. Максимов выбил в Москве приличную сумму денег для строительства единственной дороги в райцентр, где был оборонный завод союзного значения. Секретарь обкома партии был не против строительства, но ему хотелось, чтобы дорога прошла мимо его загородного дома и он, не глотая пыль проселка, мог бы в машине, с ветерком, за четверть часа быть в своем уютном доме, кстати, реквизированном его предшественниками у местного богатея

Дорофеева. Но военный завод был в другом направлении, а Никитин возжелал ездить по хорошей дороге, и это препятствие он думал устранить мирным путем. Сначала он предложил сделать небольшой крюк, чтобы дорога пролегла мимо его резиденции, а потом уже дальше, куда надо! Но проект, разработанный в закрытом институте и утвержденный в Москве, не предусматривал лишних километров. Секретарь был настойчив и повел настоящую войну против облисполкома. Отдел капстроительства был вызван в полном составе в обком партии, где была поставлена задача – найти недостатки в проекте. Долго искали недостатки и почти отчаялись, как вдруг Алексей Михайлович обнаружил в нем отсутствие визы главного контролера военного ведомства по капстроительству. Он сумел попасть на прием к Новикову, все объяснил и был удостоен крепкого секретарского рукопожатия, а через несколько дней проект был отозван, и в обкоме стали спешно готовить пленум об ошибках в капстроительстве области. И, конечно, сняли Максимова. Многие сожалели об этом и говорили, что мужик он был технически грамотный, в чертежах и сметах разбирался. А вот секретарь обкома не был силен даже в грамоте. Вышел из семьи потомственных пастухов, но говорит, что со стадом управлялся умело и община была им довольна, а потом из окопов ушел в революцию и стал, как он говорил, партейным профессионалом! Как только Максимова освободили от должности, пришедший ему на смену, менее понимавший в строительстве, но более сговорчивый, сумел построить дорогу к дому секретаря обкома, а Бондарева назначили заведующим сектором по охране гостайн. Он тогда очень гордился, что сумел найти зацепку и проект завернули, и считал, что получил должность по заслугам, а то так бы и прозябал в капстроительстве.

И сейчас он тоже должен сделать рывок и добиться, чтобы Туманов оценил его как политически зрелого, принципиального коммуниста, на которого он всегда может опереться в нужный момент! Он снова выстраивал цепь фактов, собранных им против своего шефа. Ему казалось, что их с излишком хватит, чтобы того не только сняли с должности, но и наказали по партийной линии. Вот здесь Кузаков мог бы внести свою лепту... Картины, одна отраднее другой, виделись ему: как Сазонов что-то лепечет в свое оправдание, а его принуждают признать свои ошибки и просчеты, а он сидит бледный, с опущенной головой!.. Однако никакого снисхождения и скидок к нему, хотя он в дивизии с начала войны: и отступал, и наступал с ней, и два ранения... Так у многих коммунистов гораздо больше заслуги, пусть этим не кичится! На

этом Бондарев заканчивал представлять картины уничтожения своего шефа, считая, что с ним уже все кончено. «Но вот, что же сказать Туманову о себе, чем возбудить и укрепить его доверие и симпатию?! А не поступить ли мне так, как это было тогда у секретаря обкома – прямо в лоб и сказать, так, мол, и так, рассчитывайте на меня, товарищ полковник, в любое время, если что-то случится, я всегда могу сделать для вас все, не жалея сил и, если потребуется, жизни! И в случае чего я вас всегда буду информировать обо всем! Что делать и куда деваться Туманову от таких слов, а?! Прогнать... Но, надеюсь, он человек воспитанный, не позволит себе такого... Да и мои слова, что он такой умный и пользуется громадным авторитетом во всех частях армии, неудовольствия в нем не вызовут, возражать он не станет. А то, что я его маленько перехвалю, так от этого еще никто не умирал! И, может быть, после таких слов он поймет, проникнется ко мне и назначит меня на отдел?» От такого исхода дела у Бондарева захватывало дух и радость заполняла все его существо. И тогда ему казалось, что сегодняшний солнечный день был с ним заодно!

Штаб N-ской армии располагался в небольшом, на редкость хорошо сохранившемся городке. Поговаривали, что еще в конце осени сорок третьего года Западный фронт, собирая последние усилия для наступления, получил приказ Ставки о переходе к обороне. Тогда и была подготовлена последняя операция по освобождению Сенежа. Противник, огрызаясь огнем артиллерии и шестиствольных минометов, в спешке, боясь окружения, отошел на заранее подготовленные рубежи в двух десятках километров. В отличие от тех населенных пунктов, что раньше встречались в полосе наступления дивизии, где, в основном, торчали молчаливые печные трубы, Сенеж выглядел уютно, несмотря на громадные маскировочные сетки над домами главной улицы. Кое-где около домов, приткнувшись к заборам, стояли коротенькие американские джипы – «виллисы». Бросались в глаза указатели на фанере, досках от снарядных ящиков с надписями «Хозяйство Лунькова» и многих других, известных лишь офицерам из штаба армии. Впервые за много месяцев Бондарев увидел и женщин в форме. Ему навстречу шли две девицы в аккуратно подогнанных и ушитых в талии шинелях, в сапожках, сверкая коленками стройных ног, разговаривающие между собой и не обращающие внимания на призывные взгляды встречных мужчин.

Дом армейского «Смерша» выделялся добротностью, хорошим забором и двумя часовыми у ворот. Вышел начальник караула, сержант в новой шинели, и, бегло посмотрев на удостоверение, сказал, что двуколка будет ждать Бондарева в

хозвзводе. Открыв калитку, он проводил его в канцелярию, где сидел пожилой старшина с лысиной и, не обращая внимания на вошедших, быстро отстукивал на машинке. Сержант предложил раздеться, и Бондарев запрятал свой полушубок в большой шкаф; сел, открыл планшет и вытащил свою заветную тетрадку.

Полковник Евгений Иванович Туманов, в хорошей шерстяной гимнастерке и поскрипывающей портупее, выглядел моложаво для своих пятидесяти. Он сидел за столом с зеленым сукном, углубившись в какие-то бумаги. Стол ему достался от немцев. Судя по оставленным бумагам, здесь располагались вермахтовские снабженцы. При внимательном, на случай минирования, осмотре помещения на ножке стола была обнаружена инвентарная металлическая бирка, явно указывающая на то, что дубовый красавец стол принадлежал смоленскому горкомхозу. «Экие барахольщики, – подумал тогда Туманов о немцах, – притащили из Смоленска, не поленились. Тоже мне, поклонники красоты и комфорта!..»

Во время читки его мысли возвращались к вчерашнему звонку по «ВЧ» из Центра своего старого друга Перфильева. По его намекам Евгений Иванович понял, что в скором времени ожидается замена комфронта и Члена Военного Совета. Об этом здесь говорили уже давно, слухи о их взаимной неприязни давно были предметом обсуждения шоферов штабной автороты. Они, кстати, всегда оказывались первыми, кто был в курсе внутренних взаимоотношений руководства фронта.

Командующий фронтом – генерал Соколовский[43], как знало его окружение, был решительным и властным человеком и единоначалие понимал без остатка в свою пользу. Член Военного Совета – генерал Мехлис был болезненно самолюбив, стремился превысить свои полномочия, вмешиваясь в командование частями фронта.

Туманов помнил первое знакомство с Мехлисом, когда тот прибыл в штаб Западного фронта, собрал в первый же день всю верхушку политработников четырех армий и начальников Особых отделов и, никому не дав слова, сам два часа говорил об укреплении политического руководства фронта, высказывался о мягкотелости прежнего Члена Военного Совета генерала Булганина и потребовал от особистов тесного взаимодействия с политорганами, признания их старшинства и усиления политического контроля за армейским руководством.

Мехлис, небольшого роста, черноволосый, с проседью на висках, метал громы и молнии в адрес всего командного состава фронта, обвиняя всех в отсутствии твердости в достижении поставленных целей, медлительности и, самое главное,

недооценке партийно-политической работы и умалении роли политорганов.

Была и еще одна встреча с Мехлисом, когда случилась драка пехоты с кавалеристами-башкирами на почве дележа захваченных трофеев. Тогда он немедленно созвал всех начальников Особых отделов армий и прочитал им лекцию об интернационализме и нерушимой дружбе народов. Все понимали, что потасовка между стрелками и кавалеристами произошла из-за брошенного немцами барахла. Но Мехлис усмотрел в этом национальный конфликт и упрекал особистов в том, что они не ведут предупредительную работу по выявлению фактов шовинизма в частях. Никто не возразил ему, но все поняли, что он хотел показать свою волю и влияние на органы контрразведки, чтобы создать легенду о своем могуществе. По агентурным сведениям особистов, офицерский корпус был на стороне комфронта. Все знали о его командном и штабном опыте работы в войсках с самого начала войны. Штаб его фронта был воплощением аккуратности и порядка. А штабы частей пополнились офицерами, способными к штабной работе, и в этом была заслуга генерала Соколовского. А что касалось Мехлиса, то, как сказал поэт, «…без радости была любовь, – разлука будет без печали», – слишком уж он перегибал палку и все заботился об авторитете политорганов. И, конечно, любил, чтобы его восхваляли, но грубой лести не выносил, а вот если кто-то намекал ему о его масштабном понимании марксизма, а еще лучше, если упоминался Институт Красной профессуры, где он закрепил свое политическое образование, тогда, как рассказывали свидетели этих бесед, его нельзя было остановить – он мог часами со слезами на глазах рассказывать о кузнице интеллектуальных партийных кадров…

Вошедший старшина прервал размышления Туманова о судьбе руководителей фронта и доложил о прибытии Бондарева. Евгений Иванович достал заметки, сделанные им во время телефонного разговора с Бондаревым, и несколько минут сидел в раздумье. Он свято соблюдал правило – принимать решения только тогда, когда уже собраны исчерпывающие сведения! Не допускал скоропалительных выводов: делал все основательно и весомо. Такую традицию он установил и для своих подчиненных, а потому прослыл среди них требовательным, но справедливым. Он хорошо помнил, как несколько месяцев назад сам подписал рапорт о выдвижении Сазонова на место начальника отдела взамен убитого майора Гуськова. Тогда кадровики из фронтового управления хотели подсунуть на эту должность своего полуспившегося кадровика, но Туманов, не высказывая им вслух

недовольства, быстро написал рапорт о заполнении вакансии и утвердил его прямо у начальника управления. А теперь ему надлежало рассмотреть официальное обвинение против своего выдвиженца и решить его судьбу! Тут же, на столе у него, лежала справка по личному делу майора Бондарева. В ней все было гладко: грамотой не обижен – средне-техническое образование, послужной список без замечаний, политически подкован, морально устойчив, в действующей армии с марта сорок второго года, призван по партмобилизации.

Вошел Бондарев и, доложив о прибытии, протянул рапорт Евгению Ивановичу. Пока тот читал его, Алексей Михайлович сидел за приставным столиком, рассматривая зеленое сукно большого стола, с волнением ожидая реакции полковника. Туманов, прочитав до конца, предложил Бондареву рассказать подробнее по всем пунктам, в чем именно он обвиняет Сазонова. И предложил начать с того факта, когда его начальник преступно затягивал проверку подготовленной разведгруппы. И, успокоенный внимательно-заинтересованным и даже поощрительным взглядом собеседника, Бондарев полностью пришел в себя и с большим оживлением, без запинки пояснил весь этот эпизод, не забыв при этом упомянуть о своих заслугах по выполнению боевого приказа Центра.

Когда он с ненужными подробностями стал излагать технику проверки каждого кандидата, Туманов остановил его и начал задавать вопросы о том, какие основные требования заложены в приказах Центра по проверке лиц, привлеченных к сотрудничеству с военной контрразведкой. Это было слабое место у Алексея Михайловича, и полковнику с первых же слов стало ясно, что Бондарев не знает простейших азов особистской работы. Как могли кадровики направить его в отдел без подготовки и почему он согласился занять эту должность, не пройдя стажировку, возмущался про себя Туманов. Его удивляли самонадеянность и апломб майора. Из его пояснений можно было заключить, что он единственный в отделе как бывший политработник может правильно оценить всестороннее значение фактов и дать им верное толкование на основе его опыта политотдельской работы. А его часто повторяемые фразы «поверьте мне как бывшему политработнику», «мой политический опыт подсказывает мне...» вызывали у Туманова легкое раздражение и антипатию к собеседнику. И тут же он спокойным тоном, но строго и непреклонно отверг первый пункт рапорта о бюрократизме и перестраховке его начальника, указав при этом Алексею Михайловичу на слабое знание им приказов, и вынудил его согласиться, что он не прав в своем обвинении.

Первая неудача обескуражила Бондарева, и он немного сник, но надеялся на оставшиеся в запасе еще два весомых факта, где Сазонов обвиняется в проматывании военного имущества, разложении личного состава, а также в сокрытии сведений от политорганов о казни немецкого пособника, который оказался родным отцом боевого офицера дивизии. Тем самым Сазонов не только злоупотреблял служебным положением, но и совершил должностное и политическое преступление! Вот так строго оценил Бондарев ошибки в деятельности своего начальника и полагал по старым, довоенным меркам, что тот заслуживает не только отстранения от должности, но и рассмотрения дела в военном трибунале! Это мнение он и высказал полковнику. Так, постепенно, шаг за шагом, Туманов стал понимать основной побудительный мотив Бондарева, заставивший его обратиться с рапортом, откуда было видно, что майор фиксировал всю деятельность своего начальника в течение многих дней целенаправленно: собрать компромат, чтобы начальника отстранили от должности. И, дабы убедиться в правоте своего предположения, полковник, не перебивая, долго слушал Бондарева о серьезности проступков Сазонова и их политических последствиях, о чем тот говорил почти шепотом, с придыханием, желая тем самым возбудить у слушающего ответственность по изложенным фактам.

Туманов же, когда очередь говорить дошла до него, спросил, может ли военнослужащий иметь запасную пару обмундирования или обуви и имеет ли он право распорядиться ими, и Бондарев вынужден был ответить положительно.

– Ну а тогда, – продолжил полковник, – будем считать, что вопрос о проматывании имущества и, как вы указали в рапорте, его нежелательных политических последствиях снимается, – и очень строго посмотрел на майора – тому уже было не по себе! Однако еще теплилась надежда на то, что Туманов скорее всего оставил на последнее самый серьезный проступок его шефа – сокрытие от политорганов поступивших материалов в отношении капитана Николаева. Бондареву казалось, что, обсуждая этот факт, полковник отбросит свою строгость, встанет из-за стола, пожмет ему руку и выскажет слова благодарности за партийную принципиальность и высокую бдительность. Ведь это не шутка – скрыть от всех такой материал! И кто мог позволить себе сделать это?! Оказывается, сам начальник Особого отдела! Но такой благостной картины Бондарев не дождался.

Туманов посмотрел на часы, небрежно, как показалось Алексею Михайловичу, взял со стола рапорт и со строгим лицом, глядя прямо в глаза, стал делать ему выговор за то, что этот

рапорт – результат всеобщего безделья в их отделе, а проверка работы сотрудников показывает, что многие просто устранились от работы и воспитания личного состава. Вместо того чтобы заниматься делом, собираете материал на своего начальника, тратя на это служебное время! Потом с издевкой отметил, что собранные факты выеденного яйца не стоят и что подобные вопросы надо было решать у себя в отделе – в рабочем порядке! И на эти пустяки майор тратит время, которое он мог бы употребить для усиления боеготовности дивизии, а также время самого полковника, несущего ответственность за всю N-скую армию! Из раздражительной тирады следовало, что Бондарев, хотя и имеет политический опыт работы, не совсем правильно оценил действия своего начальника, а собранные им факты не заслуживают рассмотрения в армейском отделе «Смерша».

Как и многие старшие офицеры, Туманов любил распекать своих подчиненных, встреча с ним никогда не была для них праздником. Вспоминая старую пословицу «Доносчику – первый кнут», он решил разделаться с майором так, чтобы тот заказал себе и друзьям собирать компромат на своего начальника. В его страстном обличении дивизионный отдел уже именовался группой беспринципных бездельников, затеявших склоку между собой, а Сазонов проявляет разгильдяйство, не требуя с каждого работника отчета за каждый час работы, и что это происходит в условиях борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, когда каждый должен отдавать все свои силы на разгром врага, а не заниматься пустым делом. И указал при этом на лежащий перед ним рапорт.

Бондарев настолько растерялся под гневным напором упреков, что не мог даже слова вставить в обличительную речь полковника, сидел красный от волнения и не мог понять, что же случилось с Тумановым. Ведь в начале беседы он так внимательно слушал его, не перебивая, не делая замечаний, и вдруг все повернулось против него. Он пытался уточнить, что есть еще и факты, пока не изложенные им, но полковник, шлепнув ладонью по столу, сказал:

– Все понятно, майор. Сазонов даст мне письменное объяснение по ним. А что касается вашего сообщения о том, что ваш начальник и группа проверяющих слушали запрещенную песню «Темная ночь», так тех певцов просто не известили о запрете. И они об этом не знали.

На этом беседа закончилась. Бондарев, удрученный ее результатом, вышел во двор. Был первый, настоящий весенний день: с солнцем, теплом, голубым небом, чириканьем воробьев; но все это уже не для него. Он сел в двуколку и хотел одного –

скорее очутиться в своем блиндаже – единственном убежище для него; отнюдь не понятого и оскорбленного в своих лучших намерениях – пресечении всех нарушений и злоупотреблений по службе! И Бондарев уже сам верил, что ехал сюда только с этой целью и совсем забыл о своих радужных мечтаниях – быть начальником отдела! Было обидно, что Туманов даже стакан чая не предложил ему; во рту все пересохло, хотелось пить и есть! И он уже не видел красот весеннего дня, не замечал обратной дороги, а думал только о своем поражении. Привыкший к тем гражданским, довоенным меркам виновности, когда у них в обкоме могли принять любую анонимку на неугодного сотрудника, рассмотреть ее и принять решение о наказании, Бондарев был искренне возмущен тем, что Туманов, располагая такими фактами о служебной деятельности Сазонова, не только не принял их во внимание, но обвинил весь отдел и его лично в безделье. Всю вину за свою неудачу он возлагал на полковника: тот не оценил его партийного долга, не прислушался к изложенным фактам и не дал им надлежащей принципиальной оценки. И он уже намеревался обратиться во фронтовое управление «Смерш» с обжалованием своего рапорта, но передумал, вспомнив слова Кузакова о солидарности особистов. Поэтому Туманов и старался защитить честь мундира и не выносить сор из избы – так объяснил он для себя причину своей неудачной вылазки с рапортом.

Ко времени возвращения солнце уже лежало на горизонте. Обед, принесенный ординарцем, был чуть теплым, но Бондарев, не замечая этого, съел его с аппетитом и без угрызений совести за свое неудавшееся наушничество завалился спать.

Глава XXI
ОПАСЕНИЯ ТУМАНОВА

Когда Бондарев только выехал из Сенежа, Туманов уже звонил своему любимцу Ковалеву: поинтересоваться, как идет проверка, и потом еще долго говорил с ним.

Откровенно сказать, полковник побаивался доносчиков. У него был свой горький опыт по этой части. А случилось это два года назад, после того, как был отведен первый удар немцев от Москвы, когда Западный фронт вытеснил их ценой больших усилий. В то время к нему в отдел из Центра приехала группа сотрудников со сверхсекретным заданием. Особисты действующей армии тогда мало еще знали о вновь созданном в НКВД 4-м управлении – главном штабе диверсий и террора в борьбе с фашистской Германией. Вся его деятельность была окружена глубокой тайной за семью печатями: упоминание о нем в телефонных переговорах и в переписке было строго запрещено.

Приезд группы офицеров из Москвы был прикрыт легендой, связанной с разоблачением абверовской агентуры. К их приезду за двое суток саперы построили мощный блиндаж с перекрытием в три наката, а для охраны был поставлен взвод автоматчиков. Если бы Туманов имел возможность заглянуть в конфиденциальную переписку секретариата НКВД, то ему открылись бы причины возникновения замысла и конечная цель секретной миссии приезжей группы «центровиков». Именно здесь, в переписке, прошло первое сообщение нашей радиоконтрразведки о появлении у немцев мощного радиопропагандистского центра в Варшаве. В ЦК партии сначала не придали значения этому сообщению, считая, что фашистская пропаганда груба и топорна для советских людей, и к тому же слушать радио нашему населению было нечем – радиоприемники были конфискованы в самом начале войны! Так и осталось неизвестным, как в Варшавский центр попал дореволюционный харьковский актер Блюменталь-Тамарин, сын народной артистки Блюменталь-Тамариной, игравшей в Московском Художественном театре. Поступив на службу к немцам, он стал мастером антисоветской пропаганды: создал цикл игровых передач о заседаниях Политбюро. Автор всяческих диалогов, реприз, он сам, имитируя голос Отца народов, произносил монологи, давал реплики в беседах со своими мнимыми кремлевскими соратниками. И очень убедительно изображал Его задушевность и мудрость в беседах с «рабочими», «крестьянами»,

«интеллигенцией», руководителями Красной Армии, органов НКВД и с бывшими товарищами по партии из троцкистско-зиновьевского блока.

Несколько раз Верховный в своем кабинете сам настраивал свой роскошный «Телефункен» на Варшаву и сквозь треск атмосферных разрядов слушал свой собственный голос – более четкий и улучшенный умением профессионального артиста, но с характерным грузинским акцентом и неправильными, только ему присущими речевыми ударениями. Но вместо открытого, громогласного восхваления Его гениальности, государственной мудрости и утверждения всенародной любви к Нему, здесь была ядовитая пародия, усиленная схожестью интонации его голоса. Слушал Он молча – ничто не выдавало его волнения, если бы не пальцы, яростно ломавшие папиросы для трубки. Все кипело в нем от бешенства, но тот, кто вещал и издевался над оным на потеху всему миру, сейчас в Варшаве и недосягаем для Него, и это бесило еще больше! То же самое он испытывал, читая по ночам ядовитые филиппики в свой адрес от бывшего соратника, а потом конкурента в борьбе за власть, засевшего в Мексике. Но ведь добрались наши люди и до него. Выполнили свой долг перед Родиной! А что мешает им сейчас пробраться в Варшаву?! И твердой рукой Он тут же делал пометки в рабочей тетради. И каждый раз красным карандашом на материалах радиоперехвата писал короткие резолюции: «Тов. Берия Л.П. – принять меры к глушению этой пакости, изучить возможности ликвидации радиоцентра...»

Многие из верхушки НКВД белели от страха и злобы, читая хлесткие и не лишенные художественного воображения текстовки под «вождя». И только в конце сорок первого года с большим трудом разыскали дальнего родственника варшавского пародиста. Несмотря на то что он был белобилетником, его «призвали в армию», где на конспиративной квартире он прошел курс обучения и был подготовлен для заброски очень рискованным способом через линию фронта. На карту была поставлена жизнь белобилетника «N»: легенда предусматривала его попадание в плен при боевых действиях; но он был «вдохновлен» и обработан таким образом, что даже без нажима, добровольно согласился на выполнение задания всесильных органов!

Сначала приезжие на фронт москвичи по инструкциям, рожденным в кабинетной тиши, так засекретили свое задание, что ни один из них шага не мог сделать самостоятельно! Вся их команда сидела в блиндаже, как прикованная, не подпуская никого даже на порог! Они выползали наружу только лишь с

заходом солнца, когда наступала ночь, – так оберегались секретность задания и, самое главное, личность того, на кого была поставлена высокая ставка в Москве! Он же, одетый в затрапезное солдатское обмундирование, выходил затемно в их сопровождении и молча «гулял» среди расставленных постов, готовя себя к неизбежному. Во главе приезжих центровиков был поставлен доверенный самого Берия; полковник Ломидзе. То, что он был исполнительным и по-кавказски преданным своему шефу, сомневаться не приходилось. Но инструкции, полученные в Москве, полностью сковали его деятельность. Сам Ломидзе – статный, могучий грузин – впервые выполнял такое ответственное задание. До этого он работал снабженцем в НКВД Закавказья, потом в Москве по этой же части. И вдруг его вызвал сам Лаврентий и направил в то самое грозное управление, где готовили диверсантов и террористов, для выполнения, как ему сказали, особого чекистского задания. Высокий, с открытым мужественным лицом и щеточкой усов, в ремнях портупеи, в длинной кавалерийской шинели, с деревянной коробкой маузера, являя собой как бы образец мужества и геройства! Но внешность часто обманчива; Ломидзе был трусом и панически боялся всего, что связано с фронтом: выстрелов, бомбежек, артобстрелов, – но искусно маскировал свою боязнь. И все предосторожности, якобы связанные с их заданием, Ломидзе выполнял в основном для собственной безопасности.

Туманов убедился в этом, когда они однажды днем объезжали стык двух дивизий и попали под минометный обстрел. Ломидзе, бледный от страха, бился в истерике, матерясь и тыча кулаком в лицо шофера, выкрикивал что-то по-грузински... Такое полковнику Туманову пришлось видеть впервые. Хотя красавец-грузин страшился не только этого! Он боялся свалившейся на него ответственности за порученное задание, был неуверен в своих действиях, не доверял никому и, не зная тонкостей службы в передовых частях, требовал проверки кроме штабных офицеров еще взводных, чьи солдаты будут нести охранение.

Дни шли. Немцы предпринимали кое-где контратаки, что было удобным моментом для переброски объекта «N» к противнику; но Ломидзе колебался и медлил. Все это до предела измотало Туманова и на докладе во фронтовом управлении он взмолился помочь ему, подтолкнуть Ломидзе к активности. Те позвонили кому надо в Центр и уже оттуда дали взбучку Ломидзе, а он на следующий день кричал на Туманова, что не позволит обвинять свою группу в нерешительности и не допустит шельмовать его, направленного самим Лаврентием Павловичем! И это действительно было так – дальновидный шеф выбрал

Ломидзе с выгодой для себя. Если задание будет выполнено, то это еще раз покажет, что Нарком внудел вездесущ и, несмотря на занятость, ведет контроль операции через своего человека. И уж на всякий случай, если что-то сорвется и придется показывать Хозяину виновника, – тот увидит такого представительного земляка; иногда ему нравились красивые люди.

В операции по выводу к противнику объекта «N», так именовался в документах родственник Блюменталь-Тамарина, принимали участие и войсковые офицеры. С ними работал сам Туманов да еще особист полка, на чьем участке намечался отвод батальона, невыгодно вклинившегося в оборону немцев.

Перемазанный глиной полковник Туманов возвращался с передовой. В планшете у него лежал схематично изображенный участок батальона с фамилиями ответственных офицеров. Ломидзе было отобрал у Туманова схему участка и пытался заставить его дать подписку о неразглашении ее содержания. Евгений Иванович отказался и хотел по-хорошему доказать абсурдность такого требования. Но обидчивый грузин запомнил эту стычку.

По завершении задания, на товарищеском ужине Ломидзе перехватил лишнего. И обронил тетрадь с черновыми записями по операции с объектом «N». Утром тетрадь была уже у Туманова, и при отъезде группы он вручил ее Ломидзе. Тот лицемерно обнял Туманова, сказав, что не забудет его благородства. И, действительно, не забыл!

По возвращении в Москву, будучи уверен, что Туманов не упустит возможности доложить руководству насчет тетради, он тут же написал рапорт, где обвинил недавнего помощника в нарушении конспирации; изощренный ход клеветника-доносчика! Несколько раз Евгению Ивановичу пришлось писать объяснительные записки своему начальству и доказывать свою правоту.

Ну а объект «N», когда боевое охранение «случайно оставило» его одного в окопе, увидел идущих на него немецких солдат и поднял руки. А потом был лагерь для военнопленных и несколько месяцев нахождения в этом аду; он выдержал все. Еще там, на конспиративной квартире, ему говорили о возможных на его пути терниях и опасностях, но тот был уверен, что его наставники рассчитали до мелочей весь его маршрут, и это вселяло в него надежду и стойкость. И, согласно легенде, дал знать о себе открыткой признанной кинозвезде рейха, великолепной Ольге Чеховой[44]. Русские актеры всегда были особо солидарны между собой, когда с кем-либо из них случалось несчастье! Та откликнулась, обворожительная и неотразимая, приехала в

лагерь. Потом был дан обед, где она передала свою невинную просьбу о военнопленном «N». На следующий же день тот, преобразившийся, в дорогом костюме и кожаном швейцарском реглане, выглядел вполне респектабельно и покинул эту юдоль страдания.

Где-то в далеких архивах и по сей день лежат его сообщения об успешном внедрении в варшавский радиоцентр и задание, переданное ему связником из польского подполья о ликвидации артиста-пародиста. А остальное было делом техники. Объект «N» был интеллигентным человеком и не мог сразу решиться на выполнение приказа Центра. Он колебался, ведь бывший артист признал его как родственника, пригрел, устроил к себе в звуковую студию, заботился о нем. В сутолоке отступления немцев из Варшавы, где-то по дороге в Германию, Блюменталь-Тамарин без шума был ликвидирован польскими подпольщиками. Но Туманов об этом узнает гораздо позже, когда будет неожиданно награжден за участие в выполнении «важного» правительственного задания. Не обойден был наградой и сам шеф внудел, и его бравый полковник Ломидзе, получивший орден Ленина за героическое участие в этом деле. Туманов даже и не возмущался такой несправедливостью, что этот трус получил высшую правительственную награду! В существовавшей системе награждения было много несправедливостей. И он хорошо знал, что аппарат кадровиков, подчиняясь общему бюрократическому порядку, отработал свой стиль заполнения наградных листов и отделывался в них общими трафаретными, цветистыми фразами: «проявил мужество», «вел себя героически», «благодаря высокому мастерству и настойчивости», «своим примером вдохновлял подчиненных». Эти фразы маскировали иной раз совсем не героические дела. Повинуясь указаниям начальства, к наградам представлялись подхалимы, прилипалы и прочие угодливые типы, коих было полным-полно и на фронте, и в тылу! Наши потомки вряд ли распознают из победных реляций, лежащих в архиве, тех, кто, наряду с настоящими героями, был награжден незаслуженно. И орден будет одинаково украшать и подлинных, и мнимых, но, как гласила поговорка того времени, «война все спишет». И иногда, действительно, списывала многое.

Глава XXII
КОНЕЦ ИНТРИГИ И МНЕНИЯ О ДЕПОРТАЦИИ

Проснувшись, Бондарев вспомнил вчерашний разговор с Тумановым, и горечь обиды охватила его, настроение испортилось. Вяло одеваясь, он мысленно спрашивал себя, стоит ли идти сейчас к Кузакову и что сказать ему о результатах поездки. А ведь, похоже, начподив возлагал надежды на лучший исход дела. Раздражение нарастало, и когда по остаткам мыльной пены он обнаружил, что его кисточкой для бритья кто-то пользовался, вызвал ординарца, и, вспоминая все прошлые промахи по обслуживанию его персоны, стал читать ему долгую и нудную нотацию, без мата, но с употреблением слов: «тупая башка», «бездарь беспамятная», «молчишь как истукан» и других выражений, доставшихся ему в наследство от матушки.

Ординарец был гораздо старше Алексея Михайловича; чуть сутулый, со скорбным лицом, он молча слушал майора, смотря себе под ноги. Он привык к подобному обращению. Ему часто так выговаривали еще дома, на гражданке: сначала отец, потом начальство на почте, где он служил конюхом. Выслушивание брани в свой адрес он принимал как жизненную необходимость. И глядя, как майор распаляет себя по пустякам, шептал про себя: «Господи, пронеси грозу и прости ему, рабу божьему!..»

Выпустив пар и чуть улучшив этим настроение, Алексей Михайлович побрился, умылся. Провинившийся ординарец, виновато улыбаясь, принес в котелке концентратовую рисовую кашу, поставил на стол остатки офицерского доппайка: масло, печенье – и тихо притворил за собой дверь. Бондарев любил сидеть один и медленно, не спеша есть.

С восходом солнца противник начал обстрел тыловых дорог. Снаряды, где-то на большой высоте, распарывали весенний воздух, и оттуда, с высоты, шел звук, как при грозе, похожий на треск разрываемого материала. Потом прерывистое урлюкание смолкало, и издалека, оттуда, куда упал снаряд, доносился приглушенный звук разрыва. Бондарев стоял на пороге блиндажа, и ординарец за его спиной сказал: «Вот ведь какой фашист: знает, что по утрам подмораживает и наши тыловики, пока не раскисло, везут ближе к позициям боеприпасы и провиант. Вот он и долбит! Недаром эти дни «рама» частенько наведывалась – когда было пасмурно, она не летала, а как развиднелось, так и начала

жужжать – высматривать. Вот артиллерия ихняя большого калибру и бухает по нам».

Подошедший связной позвал Алексея Михайловича к проверяющему, майору Ковалеву. Войдя в дальний отсек блиндажа, Бондарев увидел Сазонова и двух проверяющих, сидевших с мрачными лицами, не обещавшими ничего хорошего. Майор Ковалев начал с того, что он, по поручению полковника Туманова, должен провести служебное расследование и выяснить, где и при каких обстоятельствах Бондарев познакомился с секретными материалами, поступившими из ГлавПУ. Алексей Михайлович не сразу догадался, что речь идет о том документе, который показал ему начподив Кузаков. И, конечно, не распознал ловкий ход Туманова – наказать сразу двоих: Бондарева и того, кто ознакомил его с документами.

Ковалев вел опрос быстро и напористо. Уточнив, при каких обстоятельствах Бондарев познакомился с секретным документом, он через дежурного вызвал майора Кузакова. Когда тот вошел и увидел двух неизвестных ему майоров и сидящего перед ними Бондарева, он вдруг всем своим существом почувствовал опасность. Много раз приходилось ему видеть в штабе округа своих сослуживцев после таких бесед, когда с них срывали знаки отличия и уводили, ошеломленных и растерянных от страха, в сопровождении вооруженного конвоя! Да разве можно было забыть ужас, рождавшийся от одного взгляда на тех, кто был уже обречен, и радость, что на плахе не ты! Он уже не помнил, испытывал ли он тогда сожаление к обреченным, но смертельный страх, что он мог оказаться среди них, и облегчение, что эта участь миновала его, как пролетевшая шальная пуля, запомнились ему навсегда.

И когда эти двое, на вид очень обходительные и культурные, представились Кузакову сотрудниками Особого отдела армии и сказали, что вынуждены пригласить его на беседу, у него подкосились ноги и в груди что-то ёкнуло. Майор, который был помоложе, вежливо, но настойчиво задавал вопросы, а Кузаков, поглощенный страхом, не думая что-либо скрывать, без утайки, подробно рассказал, как он познакомил Бондарева с главпуровским документом, но сейчас понимает, что допустил ошибку. И майор Ковалев сразу же выложил свой главный обвинительный козырь: на каком основании начподив способствовал майору Бондареву в использовании спецсвязи и знал ли он, с какой целью тот обращается к полковнику Туманову? Кузаков тоскливо, с досадой посмотрел на Бондарева и промолчал. Ковалев же, не давая времени на обдумывание, пригрозил, что, если начподив не желает об этом говорить здесь,

об этом будет доложено Члену Военного Совета армии. Это сломило Кузакова, и, упав на колени, он стал умолять не ставить генерала в известность о его досадной оплошности. И тут же, с сердечной откровенностью он обвинил Бондарева в том, что тот обманул и воспользовался его доверчивостью. Алексей Михайлович, в свою очередь, не остался в долгу: откровенно выложил, что все факты на Сазонова обсуждались им с Кузаковым и что тот был не только полностью согласен, но даже одобрял и советовал доложить Туманову. Кузаков стал возражать, а Бондарев, распаляясь от гнева и чувствуя, что терять ему нечего, выложил все, что знал о начподиве. Перепалка могла бы перейти и в потасовку, но Ковалев пользуясь правом дознавателя, строго отчитал Бондарева, указав ему на недопустимость сбора компромата на своего же начальника. Крепко досталось и Кузакову. Ковалев с юридическим обоснованием разложил вину Кузакова в пособничестве и клевете на офицера – руководителя «Смерша» дивизии и к тому же отметил, что именно он, как руководящее лицо политорганов дивизии, должен был убедить и остановить Бондарева в подготовке необоснованных действий!

Презирая друг друга, они сидели молча, пока Ковалев по всем правилам устраивал порку им – вчерашним сотоварищам по невоплотившемуся замыслу! Они вышли из блиндажа, проклиная в душе тот день и час, когда познакомились и вступили в союз с сомнительными целями!

* * *

Через несколько дней после отъезда проверяющих поступил долгожданный приказ о присвоении Сазонову звания майора. Событие это отметили, как полагается. Поздравляли многие: полковник Лепин подарил шитые золотом погоны; Бондарев тоже поздравил, но тут же вскользь заметил, что ему майорское звание было присвоено почти год назад.

После истории с доносом, когда он был подвергнут экзекуции в узком кругу, среди своих особистов, Бондарев всех сторонился и, приходя на доклад к Дмитрию Васильевичу, избегал смотреть ему в глаза. Хотя тот великодушно простил его и без всякого пристрастия разговаривал с ним, как будто ничего не произошло. А вот начштаба Лепин, узнав, какая выволочка была устроена двум майорам, посмеялся и процитировал отрывок из крыловской басни – о непостоянстве дружбы двух барбосов.

С весенним теплом мартовских дней на Западный фронт из Москвы пришли известия о выселении чеченцев, ингушей,

черкесов, балкарцев, калмыков со своей территории. Говорили, что эти народы не оправдали доверие партии и правительства, и поэтому их выслали в Казахстан.

Всех начальников Особых отделов неожиданно вызвали во фронтовое управление «Смерш». На совещании при гробовом молчании был зачитан закрытый Указ Верховного Совета, где говорилось о ликвидации автономий и выселении коренных народов, их населяющих. Присланный Абакумовым генерал огласил приказ по «Смершу», где Особым отделам предписывалось в десятидневный срок выявить в воинских частях военнослужащих и вольнонаемных лиц соответствующих национальностей и препроводить их к месту сбора для отправки в места высылки их соотечественников. Известный среди особистов балагур и острослов подполковник Кружилин спросил:

– Товарищ генерал, я до войны служил в Северокавказском округе. Интересуюсь, каким образом удалось выселить горцев – там же труднодоступные места?!

Московский генерал, рисуясь, сделал долгую паузу и с чувством особой важности стал рассказывать, что эта уникальная оперативно-войсковая операция готовилась в строгой секретности. В ней участвовали пограничные, внутренние войска и оперативный состав НКВД и Особых отделов. Этой акцией непосредственно руководили известные в НКВД генералы Серов и Кобулов. Общее руководство ее подготовкой и проведением осуществлял нарком Берия. Потом генерал радостным голосом сообщил, сколько было автомашин и вагонов, подготовленных для вывоза людей. И еще с увлечением рассказал, какие тактические приемы были использованы при подготовке выселения. Так, прибытие войск в Чечню и Ингушетию было «легендировано» под маневры Северо-Кавказского военного округа. Для этого воинские части были расквартированы даже в дальних аулах. Везде наладили и исправили действующую в районных центрах радиотрансляцию и заготовили тексты обращения к населению на местных языках, наметили дикторов из числа парткомсомольского состава. Мужчин и подростков, чтобы сразу конвоировать из одного места, было решено собрать в местных клубах на торжественные собрания в связи с годовщиной Красной Армии. Перечисленные мероприятия по выселению, как сказал генерал, подготовленные в короткий срок и тщательно спланированные, позволили без единого выстрела выполнить сложную задачу, поставленную партией и правительством, которые высоко оценили оперативное мастерство участников операции и представили их к наградам[45].

К московскому генералу обратился начальник Особого отдела

кавалерийской бригады. Он спрашивал, как ему поступить, если у него служит зам. комбрига по тылу, подполковник-ингуш, имеющий пять орденов, из них три – Красного Знамени! Генерал, не дав закончить лестную характеристику офицера, весь напыжился и бесстрастным тоном, как будто речь шла о лошади, которую нужно списать по старости, сказал:

– Приказ нужно выполнять безоговорочно, без всяких исключений на звание и награды...

Если бы генерал знал, что ингуш Алиханов еще юношей служил в германскую у своего дяди вестовым в конной дивизии, потом перешел к красным, мотался по всем фронтам гражданской войны, командовал эскадроном, полком и закончил войну в Туркестане! Он был любимцем бригады. Никто так не любил лошадей, как он! В своей неизменной черной бурке, со своим ординарцем рыскал день и ночь, добывая провиант для бригады. Гораздо позже Сазонов узнает о судьбе лихого конника: его миновали клинок и пуля в гражданской, но закрытый Указ сразил наповал! Надев все награды под бурку, он в сопровождении особиста прибыл на сборный пункт. Когда начальник конвоя, лейтенант НКВД, из бывших сверхсрочников, увидев Алиханова с орденами во всю грудь, приказал снять награды, старый кавалерист отказался выполнить приказ. Двое охранников избили его и бросили в теплушку. До места ссылки земляков он не доехал – в ту же ночь куском колючей проволоки гордый горец вскрыл себе вены и умер, не перенеся стыда и позора.

Вопросов по обсуждению мер по закрытому Указу больше не поступало. Все сидели молча, с сосредоточенными лицами, ощущая тяжелую длань Великого насилия, но никто из присутствовавших открыто в этом не признался бы. У большинства из них не возникало никаких сомнений, что эта мера необходима, тем более что она была утверждена в верхах. И, по установившейся с давних пор партийной традиции, они все единодушно приняли и одобрили злодейское постановление ЦК партии и бесчеловечный Указ, обрекший на муку сотни тысяч ни в чем не повинных людей...

Гениально созданная Система принуждения исключила право человека на выражение сострадания и милосердия. Здесь действовал принцип – кто не с нами, тот против нас, и боялись все! А если у кого-то и было сочувствие, то под страхом неприятностей он прятал его, стараясь не показать свою слабость. Так было и с Сазоновым. У него было свое мнение, и он высказал бы его, но, оглядываясь на своих коллег, увидел на их лицах выражение отстраненности и понял, что он одинок в своем сочувствии и что никто из них не разделит его взглядов и не

поддержит его!

А в это время докладчик из Центра переходил к задачам особистов на нынешнем этапе войны. Впечатлительный Сазонов приметил, что приезжий генерал одет в хорошо сшитый китель с золотыми погонами, синие бриджи, поблескивающие лаком сапоги. Среди сидящих членов президиума, в скромных гимнастерках, торчащих книзу из-под ремней, с полевыми погонами, он выглядел олицетворением власти – далекой, недоступной Москвы. Неприятие всего облика франтоватого генерала породило у Дмитрия Васильевича критическое отношение к его докладу.

Однако же заметим: люди того поколения, оставшиеся в живых, помнят, что когда некто выступающий перед любой аудиторией начинал говорить о победах на фронтах, то непременно упоминал, что все это достигнуто благодаря гениальному руководству Верховного Главнокомандующего и руководимой им Коммунистической партии большевиков. И на этот раз тоже все встали, аплодируя, и длилось это несколько минут. Президиум был у всех на виду, и было заметно, что там все устали аплодировать и поглядывали на московского генерала, но тот продолжал самозабвенно, с неослабевающей энергией хлопать, поглядывая на президиум, а фронтовые генералы, подчиняясь примеру высокого гостя, неотрывно смотрели на него, и с воодушевлением лупили в ладоши. Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот «энтузиазм», но золотопогонный визитер, наконец, по-видимому, устал и прекратил это соревнование; занял свое место, утирая лицо и шею белоснежным платком, и продолжил свой доклад. Генерал ссылался на государственную мудрость Верховного и его личные указания о переводе Главка Особых отделов из органов НКВД в Наркомат Обороны – это позволило приблизить особистов к Красной Армии, к ее политорганам и в тесном единении успешно выполнять поставленные задачи по разгрому врага. Он неоднократно обращался к своим записям и сообщал о тысячах разоблаченных агентов немецкой разведки. Многие из присутствующих знали цену этим наспех обученным шпионам из наших голодных пленных. Настоящих, умелых агентов и диверсантов из них было гораздо меньше. Вполне вероятно, что у абвера были и умелые, матерые пособники, и Дмитрий Васильевич слышал и знал об этом по документам, но ему не довелось лично повстречаться с ними; и уж он никак не предполагал, что один из них, опасный и умелый, пройдет рядом с ним.

А генерал перешел к вопросу насущных и перспективных задач, из которых вытекало, что теперь, когда Сазонов получил

обязанность вести оперативную разведку, руководители Особых отделов должны освоить это важнейшее направление работы – Москва ждет результатов!

Почти весь руководящий состав Особых отделов был скептически настроен к новым функциям. Все это требовало дополнительных усилий, новых средств, людей, а эту работу предполагалось выполнить без увеличения штатов. И, самое главное, возникала серьезная ответственность за подбор, изучение воспитания спецагентов-разведчиков. В обычной, повседневной работе особистов риск провала разработки не влек за собой ответственности, возникшей теперь, в условиях опасной борьбы с противником на его территории. И генерал, как бы возражая маловерам, стал убеждать, что у армейских чекистов имеются все условия для успешного выполнения задач, поставленных самим Верховным! И обильно подсластил пилюлю, похвалив оперативный состав фронтового управления, и выразил надежду, что личный состав оправдает доверие руководства Главка и лично товарища Абакумова!

Вскоре был объявлен перерыв. Все вышли из полутемного ангара, приспособленного для совещаний, кинопоказов, выступлений артистов. В глаза ударил солнечный свет; по небу плыли белые облака, дул свежий ветерок, посвистывая в маскировочной сетке, свисающей с ворот ангара. Штаб Западного фронта (через пару недель он будет называться 3-м Белорусским) располагался возле Смоленска, на территории немецкого аэродрома. Вокруг торчали замаскированные зенитки, в капонирах стояли замаскированные «доджи» с новыми скорострельными пушками на случай налета.

Сазонов заметил, как вокруг балагуристого Кружилина собралась кучка офицеров. Он подошел ближе и услышал его сочный басок:

– На нашем совещании должен был присутствовать сам Член Военного Совета Мехлис, он такого случая никогда не пропускал. Большой мастак говорить красиво и замечательно. И те, кто перед ним выступал, всегда выглядели бледно, а он, как всегда, говорил последним и очень долго. Вроде бы до него все уже высказались обстоятельно – нет, он обязательно начнет все снова, свернет на философию и обязательно вспомнит Гегеля и Канта.

Кто-то спросил Кружилина:

– А чего это он в этот раз к нам не пожаловал?

И тот, чуть понизив голос, сказал:

– Поговаривают, что отозвали его в столицу, вот поэтому вы и видели в президиуме рыжего полковника – теперь он временно за него.

После совещания особисты спешно разъезжались по своим частям. Сазонову так хотелось перемолвиться с кем-нибудь, и вдруг он увидел соседа – Денисенко. Он не забыл, как тот с душевной простотой давал ему советы по случаю приезда проверяющих. Хитро улыбаясь, Денисенко спросил:

– Ну, как тебе, Сазонов, понравился батькин указ? Ты, как образованный человек, мне скажи, было ли когда-нибудь при царях такое, чтобы целый народ наказать?! – И, понизив голос и не без опаски оглядываясь назад, Денисенко продолжил: – У меня на ПК[46] стоит дюже грамотный человек – бывший инженер на гражданке, ведет переписку со своими земляками с Западной Украины, а они служат в других частях. Они ему сообщили, что за убийство комфронта Ватутина три села было сожжено, а всех селян погрузили, как скот, в товарняк и отправили в Сибирь. Нам же все время говорили, что большевики самые гуманные… И как же это получается, из-за каких-то бандитов страдает весь народ! Так могли делать только фашисты, а мы же – освободители. Об этом на каждой политинформации говорят. Никак не могу понять такой жестокости. Если разобраться, то Северный Кавказ – это не глубокий тыл. И какую опасность представляли чеченцы, ингуши вместе с калмыками на февраль этого года?

Сазонов неожиданно в его словах услышал свое, пережитое, много раз обдуманное – то, что рождалось в нем, когда он в одиночку рассуждал о драконовских мерах к тем, кто без умысла, нечаянно оступился перед советской властью и понес тяжкое наказание, но и после этого будет жить с клеймом. Мстительная Система предусмотрела после отбытия наказания оставлять его навечно в картотеке органов для наблюдения за ним! Тогда Сазонов считал, что только он один видит несправедливое отношение к тысячам людей, попавшим в беду по воле обстоятельств. А теперь рядом с ним появился единомышленник, из его же службы, думающий и тоже осуждающий излишнюю жестокость политики своего государства. Как он был благодарен этому добродушному украинцу за то, что тот понимал его и разделял его взгляды. Проговорив всю дорогу, они расстались друзьями.

Глава XXIII
ВЕЩИЙ СОН

Наступила весна третьего года войны. Весь фронт от Баренцева до Черного моря двигался неуклонно на запад. На юге наши войска подбираясь к Крыму, месили прикарпатскую грязь, нацеливаясь выйти к западной границе. И только один Западный фронт, не сдвигаясь с места, подобно овчарке, молча готовящейся к прыжку и понимающей, что перед ней стоит опытный и сильный зверь, ждал подкрепления и команд из Центра.

Штаб фронта не располагал полными данными о противнике. Отдельные сведения, поступавшие из блокированных партизанских отрядов и разведывательной авиации, говорили о том, что немцы подготовили оборону на многие сотни километров в тыл, а на ее преодоление потребуется немало сил и умение всего фронта.

Разведотделы армий Западного фронта безуспешно пытались заполучить в прифронтовой полосе хотя бы минимум сведений, но противник заполонил ее маневрирующими группами из егерских частей, мотодозорами, передвижными радиопостами для обнаружения наших радиосредств. Наши разведчики неоднократно переходили линию фронта, но немцы их тут же обнаруживали и, пользуясь превосходством в силах и средствах, гоняли, как зайцев, по лесам и болотам, не давая им нигде обосноваться даже на сутки. Разведподразделения фронта несли тяжелые потери. Резерв разведки из опытных, смелых и отчаянных таял, как мартовский снег, а результатов все не было. Большое армейское начальство уже косо поглядывало на руководителей разведки, упрямо заставляя их вновь и вновь бросать не первосортных, но просто рядовых разведчиков, набранных в частях из числа добровольцев, туда, к черту в зубы, на верную смерть! Хорошего разведчика нужно долго учить, натаскивать, тренировать как боксера, а времени на это не было – зато был приказ, который нужно выполнять, не считаясь с потерями.

Надеяться, что разведчики смогут найти приют и помощь у жителей прифронтовой полосы, не приходилось. Немцы задолго до стабилизации фронта выселили оттуда все местное население, и эта полоса стала «мертвой» зоной, без единого дымка и огонька, без собачьего лая и санного следа. И только карканье ворон и волчий вой по ночам оживляли этот покинутый людьми край!

Однажды в дивизии Сазонова в траншею боевого охранения

спрыгнул подросток, одетый в куртку и штаны из телячьих шкур, мехом наверх и в белой лохматой собачьей шапке – он походил на лесное привидение. Послушать его приключения пришло почти все дивизионное начальство. Было интересно, как он сумел пересечь больше ста километров прифронтовой полосы противника. Мальчишка говорил медленно, чуть заикаясь и подбирая слова; когда же начал рассказывать, как зимой от тифа умерли его мать и сестра, а коровенку загрызли волки белым днем во дворе, расплакался, уткнувшись в колени стриженной в лесенку головой, и только худенькие плечи вздрагивали от его беззвучного плача. Он рассказал, что его семья жила на лесном кордоне – от остального мира их отделяли непроходимые болота, и пройти к ним можно было только тогда, когда они замерзнут. Учился он в соседней деревне и окончил перед войной четыре класса. Отца призвали в армию. Весной сорок третьего года немцы выселили соседнюю деревню, а дома сожгли. В начале зимы мать пошла добыть соли и на одном из подворьев сгоревшей деревни нашла тайник с тряпьем, принесла домой – с того времени и началась хворь. Мать с сестрой сгорели в тифозном жару, бредя и не приходя в сознание. На дворе тогда был мороз, земля застыла; он вырыл в подполье могилу, вытаскал землю ведрами и зарыл их в собственном доме. Волки приходили каждую ночь, но сарай был из хорошего теса и они только пугали корову. Ну а однажды днем он выпустил ее, и осмелевшая волчья стая ворвалась во двор. Сам он едва успел вбежать в дом и сквозь щель видел, как они, щелкая зубами, кидались на корову, а она все пятилась к сараю. Еще мгновение, и все было кончено.

А он подобрал то, что осталось от их кормилицы, запер дверь, сварил остатки костей с мясом и через день ушел на восток. Шел без компаса, ночевал в ельнике, привязав себя к стволу, дрожа от холода. Видел несколько раз по просекам немецких солдат на вездеходах и на лыжах. Хорошо, что уже был наст – он шел, не проваливаясь, не оставляя за собой следов.

Когда же ему показали макет местности на пути его движения, воспроизведенный по распоряжению полковника Лепина, он, удивленный, долго стоял перед ним, глядя на раскинувшиеся массивы лесов, болот, речушек, а потом уверенно указал места, где он видел немецких солдат. Глядя на игрушечные избы деревень, он сказал: «Дядечка, у вас здесь неправильно показано – Никитовку немчура сожгла, одни трубы остались; по этому проселку до райцентра сорок верст. Мы с тятенькой, когда я учился во втором классе, ездили сдавать клюкву и заячьи шкурки в райпо, а по дороге в завируху[47] попали – еле спаслись!..»

Так по крупинкам собирали сведения о затаившейся, безмолвной стороне, где чужие солдаты с тоской и опаской глядели на необозримую даль безлюдного пространства, ожидая своей незадачливой судьбы.

Руководство «Смерша» поспешно приняло в Москве решение о возложении на его органы разведывательных функций. Если здраво разобраться, то армейские особисты не были готовы заниматься еще и разведкой в действующей армии – для этого нужен был опыт, навыки, кадры и время для того, чтобы обучить разведчиков всему, что им может потребоваться для успешного выполнения задания. Сазонов вместе с другими особистами сомневался, что разведка «Смерша» за такой короткий период станет более эффективной, чем армейская. Но в решении была ссылка на то, что Верховный самолично дал указание генералу Абакумову заняться разведкой в действующей армии. И какие после этого могли быть разговоры, сомнения! Ни на одном совещании никто из руководства особистов не высказался о предстоящих трудностях по организации нового направления работы. Все промолчали и согласились с решением Москвы – знали, что указания Верховного не подлежат обсуждению, а должны выполняться неукоснительно и в срок!

На фронте, где каждый день и час могли быть последними на этой грешной земле, у многих, где-то в подсознании, появлялись зловещие предчувствия неотвратимой беды задолго до ее прихода. И у многих были свои приметы на этот счет. Так было и у Дмитрия Васильевича перед каждым его ранением. Ночью к нему во сне приходил уличенный в мародерстве красноармеец. Связанная с ним история случилась еще осенью сорок первого года, при отступлении к Калинину. Дивизия Сазонова, до смерти измотанная долгим отходом, бомбежками, боязнью окружения и отсутствием продовольствия и боеприпасов, отступала на восток. Однажды на марше они получили приказ ударить во фланг немцам, громившим соседнюю дивизию, через пару часов без артподготовки атаковали противника, смяли его боевое охранение, и, открывая стрельбу по убегающим в панике немцам, батальон передового полка выскочил по широкой поляне прямо на проселочную дорогу, где его и встретили около десятка бронетранспортеров, растянувшихся вдоль дороги. Почти в упор ударив по батальону и выкосив его наполовину, они продолжали, как в тире, расстреливать залегших перед ними стрелков да их командиров. А потом задним ходом, медленно, огрызаясь огнем крупнокалиберных пулеметов, безнаказанно отступили, показав свое броневое превосходство. Вечером к Сазонову подвели здоровенного верзилу в короткой шинели – поймали, когда тот

ползал среди убитых и обирал их. В руках у него был вещевой мешок, набитый деньгами. Расправлять и разглаживать их у него не было времени. Он выворачивал внутренние карманы гимнастерок и брюк и, находя деньги, комкал их липкими от крови пальцами и совал в свой «сидор». Обшарить одежду убитого и найти в ней потайное место, где покойный мог хранить свои кровные, было непросто. Крови было много: застывая на убитых она превращалась в желе и была холодной на ощупь. Но он не брезговал и полз от одного к другому, шаря по холодным телам своими окровавленными длинными ручищами, выбрасывая письма, фотокарточки, вдавливая их локтями в болотную жижу. За этим занятием его и поймали солдаты из похоронной команды. Он не успел даже вытереть руки от крови и она темнела между пальцами траурной каймой. Сазонов запомнил его длинные руки, обросшее многодневной щетиной лицо, горящие глаза и убежденность в том, что он прав. «Ты мне скажи, командир, зачем мертвым деньги?! – вопрошал он глухим голосом. И, обращаясь к тем, кто его задержал: – А мне они очень нужные. У меня дома семь душ – младшенькой три, а старшему только зимой будет пятнадцать. Грех я большой взял на душу – обирал мертвых, но ведь это ради детей, чтобы они выжили». С передовой его повели двое, похожих на него, обросших, в заляпанных болотной жижей шинелях, со злым блеском в глазах. Не довели – застрелили по дороге, объяснив, что тот был убит при попытке к бегству. У солдат к мародерам был свой счет!

И вот уже вторую ночь приходит во сне к Сазонову этот красноармеец, держась левой рукой за окровавленный висок, а в правой руке у него вещмешок, раздувшийся от скомканных кредиток. И опять, как тогда, он спрашивает: «Товарищ командир, а зачем мертвым нужны деньги?!» Сазонов хотел ему ответить, но каждый раз просыпался, пораженный явью сна, который предвещал какие-то неприятности. Он вспомнил, что перед первым и вторым его ранениями солдат тоже являлся к нему во сне. Но сейчас-то откуда ждать напасти? По службе у него полный ажур: проверка отдела прошла благополучно, получил звание, полковник Туманов признал работу положительной. А предчувствие, поселившись в нем, не исчезало и, как заноза, изредка давало знать о себе.

И вдруг, как снег на голову, неожиданно пришел запрос из учебного центра, куда была направлена пятерка будущих разведчиков. Просили перепроверить и подтвердить сведения на сержанта Княжича: при каких обстоятельствах он поступил в полевой госпиталь, установить лиц, находившихся вместе с ним, опросить их, выяснить все до мельчайших подробностей о его

нахождении там.

При этом Бондарев, ознакомившись с запросом, вместо того, чтобы обсудить, как лучше выполнить задание, начал возмущаться – пытался доказать ненужность дополнительной проверки Княжича, так как тот воюет с первых дней войны и, отступая от самой границы, мог свободно дезертировать, но остался в части, имеет ранение, по службе зарекомендовал себя положительно. Кроме того, уполномоченный Никифоров письменно подтвердил его надежность, никаких «зацепок» в процессе негласного изучения не поступило. Затем Бондарев повторил, что хотя его контрразведывательный опыт еще небольшой, но политическое чутье подсказывает ему, что дополнительной проверки Княжича в данном случае не требуется.

Сазонов с досадой поморщился: после той полупубличной порки, учиненной Бондареву проверяющими, тот стал реже ссылаться на свой политический опыт, но иногда позволял себе напомнить окружающим, что пришел в отдел из политорганов. Дмитрию Васильевичу не хотелось вступать в бесполезные словопрения со своим «ненаглядным», и он попросил Калмыкова принести литерные дела по батальону связи.

Теперь уже трудно установить, кто придумал заводить такие дела, но в них оседало все, что попадало в тайную, мелкоячеистую сеть политического контроля военной контрразведки. Чем меньше ячейки, тем больше было сведений о внутренней жизни подразделения. На официальном языке это называлось информацией о боеспособности части. Под эту рубрику можно было отнести все, что было запрещено уставом. Бывший начальник Сазонова – майор Гуськов – любил, когда литерное дело было увесистым и пухлым: «Я по одному виду литерного дела могу сказать, чего стоит «опер» этот или тот...» У него в чести всегда были те сотрудники, кто без устали собирал любые сведения – по поводу и без повода, лишь бы наполнить литерное дело и создать видимость оперативной работы. И Гуськов укоренял, поощрял такую традицию и требовал расширения осведомления. Но не только он требовал этого – все руководящие установки Главка «Смерш» твердили об усилении и совершенствовании аппарата осведомления и боеспособности армии и флота. В литерные дела поступал мутный поток сведений солдатского быта: от кражи портянок, самовольных отлучек, азартных игр на деньги, небрежного обращения с оружием и многого другого, что не представляло интереса для особистов, а скорее было материалом для командиров и политработников по воспитанию личного состава.

Продираясь сквозь дебри литерного дела в поисках

необходимых материалов, предстояло запастись терпением. Не без улыбки Сазонов читал случайно попавшееся на глаза сообщение осведомителя о том, что во время карточной игры сержант Скворцов читал стихи антисоветского содержания: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ!..» Старший лейтенант Никифоров, в чьем оперативном обслуживании находился батальон связи, давая задание по данному факту, указал: «Продолжить наблюдение за Скворцовым и выяснить, что он имел в виду под «голубыми мундирами». Исполнительный, старательный Никифоров – ему чуть-чуть не хватало образования – закончил семилетку и пошел на работу – помогать отцу. Трудно было ему, выходцу из деревни, постигать возможность использования техники связи, не говоря уже о поэзии. Но на политзанятиях он старательно конспектировал историю ВКП(б) и обогатился знанием борьбы с врагами партии. Поэтому даже пытался завести разработку на двух солдат с фамилиями Каменев и Зиновьев, полагая, что они могли состоять в родстве с упомянутыми в «Кратком курсе» врагами.

Наконец, Сазонов выбрал из литерного дела несколько донесений на Княжича: все они были малосодержательными, почти слово в слово повторяли, что сержант Княжич хорошо относится к своим обязанностям, освоил материальную часть подвижного взвода, все приказания выполняет добросовестно, на политзанятиях принимает активное участие, враждебных высказываний не допускает, политику партии и правительства одобряет. И только двое осведомителей из шести подметили за Княжичем заслуживающие внимания особенности.

Осведомитель Гром – из людей, обладающих способностью толково излагать свои мысли, – указал, что Княжич, по его же словам, окончил только приходскую школу, однако в политике он разбирается лучше, чем замполит роты. Говорит, что последнее время работал слесарем, но объяснить, какой у него разряд, не мог. Гром утверждал, что Княжич слишком аккуратен в быту, знает правила гигиены и поэтому не похож на выходца из сельской местности. И еще у него есть навыки в медицине: он очень умело сделал «источнику» перевязку на плече – так могут делать только профессиональные медики. И в конце донесения он приходит к выводу, что Княжич не тот человек, за кого себя выдает! В справке по данному сообщению оперуполномоченный Никифоров пишет, что Гром, хотя и наблюдательный и грамотный осведомитель, но страдает по части выдумывания, помешан на том, что вокруг него одни шпионы.

Другой осведомитель – Верный – сообщил, что у Княжича

поддельная красноармейская книжка и поэтому он никому ее не показывает и держит в потайном кармане. Других доводов по этой части осведомитель не приводил. Но проверка этого факта все опровергла, и только один факт остался без подтверждения: в своей части Княжич числится без вести пропавшим в августе 1943 года, а проверка по госпиталю свидетельствует, что он поступил туда в сентябре, и запись в красноармейской книжке подтверждает выдачу ее взамен испорченной.

Сазонов не раз встречался с небрежностью учетов и записей в госпиталях и в частях, и он уже был склонен убедить себя в этом, но глядя на запрос, уловил в себе смутное беспокойство; близость ожидавшей его какой-то неприятности. В голову лезла всякая чертовщина и этот вещий сон про мародера! Повторяя про себя, что все это не к добру, он позвал Бондарева, усадил его по своей учительской привычке рядом и продиктовал план перепроверки Княжича.

Глава XXIV
ПУТЬ К ПОДЛОГУ

В душе Бондарева бушевала буря: он уже просто не выносил Сазонова. Горячая ненависть захлестывала все его существо, не давая сосредоточиться на предстоящих делах. Ему казалось, что после тех унизительных и позорных сцен с проверявшими и с начподивом Кузаковым его шеф просто издевается над ним; унижает его, занимаясь мелочной опекой. Вот и сейчас – посадил рядом и почти насильно заставил писать план по дополнительной проверке Княжича. Мысленно вступая в полемику с Сазоновым, он доказывал ему ненужность этих мероприятий. И на кой черт понадобилось уточнять, когда Княжич прибыл в госпиталь и почему имеются расхождения во времени его прибытия туда! Ведь и дураку ясно, что Княжич – надежный человек! Уже триста раз он доказал свою преданность советской власти и трудовому народу, поскольку сам из батрацкой семьи.

Все, что исходило от шефа, претило его натуре, и только от одного сознания, что тот командует им, дает ему указания, контролирует, – возмущало, подмывало действовать вопреки его распоряжениям! И сейчас Бондарев думал не о том, как лучше и быстрее выполнить приказ Сазонова, а о том, как создать видимость работы и все сделать по-своему. План того, как это провернуть, чтобы Сазонов ничего не заподозрил, созрел сразу же на выходе от него. Бондарев теперь с горечью вспоминал, как ему не удалось свалить этого бездарного учителишку, а ведь тогда казалось – еще одно усилие, и тот будет повержен! Но полковнику Туманову не хватило партийной принципиальности, и он предпочел поддержать этого аполитичного типа! Еще бы! Они все заодно, им не нравится, что в их особистскую среду вошел политически подготовленный офицер, преданный партии и имеющий богатый опыт руководящей работы! Такие мысли и общий настрой удручали его, делали раздражительным и сварливым, и всю свою злость он, как обычно, сорвал на ординарце.

Сазонов, проверив условным звонком по телефону готовность полковника Лепина встретиться с ним, шел к нему, предвкушая радость встречи. Все, о чем бы ни говорил Лепин, было интересно – такой уж он был человек! Многое Сазонов хотел бы заимствовать у полковника: безукоризненно точный язык, логику рассуждений, лаконизм, способность выделить главное и сделать ненавязчивый вывод. Все это вместе сильно отличало его от

многих, с кем по долгу службы приходилось встречаться Сазонову.

Фронт и действующая армия провели за время трудной войны селекцию среди офицерства; постепенно оно заполнялось теми, кто был более способен выполнять приказы! Но по сравнению с командирами кадровой армии у них появились другие привычки в быту и общении и особый стиль поведения.

Сазонов помнил и знал довоенный комсостав. Теперь эти командиры встречались редко, их можно было угадать сразу: по выправке, по подчеркнуто уважительному, на «вы», обращению к младшим по званию, по умению сохранить свое и сберечь достоинство подчиненных, по отсутствию в их лексиконе разухабистого мата.

У новых же офицеров процветало «цуканье» к младшим, возрожденное из худших пороков царской армии, – теперь оно называлось «оттяжкой». Оттянуть младшего с употреблением изощренных ругательств за любую провинность и устроить из этого публичный спектакль стало для многих из них делом доблести и особого офицерского шика. Так уж устроен человек – скверное к нему липнет быстрее и, самое главное, заразительно действует на других. Старшие при этом старались прослыть остроумными и находчивыми и не считались с тем, что младшие иной раз годились им в отцы – мода диктовала такой вид воспитания и никто, как было известно Сазонову, не воспрепятствовал этому, не запретил «оттяжку» подчиненных. Как ни странно, но в этом принимала участие и военная интеллигенция. Начальник штаба Западного фронта, генерал Покровский, признанный авторитет штабной культуры, мог на совещании сказать: «Это отдаленно напоминает беспорядок третьей степени – пожар в бардаке во время наводнения!..» Командир артполка, бывший доцент Ленинградского университета, молодой красавец, построив в каре личный состав и явно подражая кому-то, чуть-чуть в нос, с большими паузами говорил: «Орлы, я сам люблю бардак, но предпочитаю, чтобы в нем каждая б... знала свое место». Полк восхищался находчивостью своего командира и отвечал ему дружным поощрительным ржанием.

Сержантский состав тоже безнаказанно вносил свою лепту в воспитание рядовых. Однажды на вокзале Сазонов сам был свидетелем того, как тумбообразный патрульный старшина с двумя медалями «За отвагу» на необъятной груди, отчитывая солдата за неотдание ему чести, сиплым командирским голосом грозно вопрошал: «Говоришь, не заметил меня?! Я тебе что, мандовошка, чтобы меня не увидеть?» И далее, не сбавляя

свирепости, прошелся насчет глаз нарушителя воинской дисциплины, сравнив их с гениталиями жеребца. Молоденький, робкий солдатик только краснел и моргал глазами – он отродясь не слышал такого сквернословия.

По дороге к штабу Сазонов почти плыл в некоторых местах по воде: она разлилась и стояла, покрытая прошлогодней листвой, и только в еловых чащах еще кое-где лежал снег. В тот год весна словно ополоумела – целую неделю стояла невиданная в этих краях теплынь. Солдаты уходили от воды, перебираясь из низины на взгорки, и снова рыли капониры, землянки, щели, ладили шалаши из березовых жердей и елового лапника.

Сазонов встретился с начштадивом в дальнем отсеке штабного блиндажа. Уже был накрыт стол для чая, и Лепин, как всегда подтянутый, приветливо встретил его и усадил за стол. За чаем он рассказал об ожидаемом пополнении дивизии, которая, по его словам, через пару недель при таких темпах вливания свежей крови войдет в норму и будет выглядеть богатой невестой с хорошим приданым. И сам же, оживленный перечислением частей, поступающих в дивизию, сказал:

– Полагаю, как только подсохнут дороги, мы скрестим шпаги с фельдмаршалом Бушем. Вчера я слушал передачу из Берлина. Геббельс считает, что только провидение подсказало фюреру назначить командующим группой «Центр» одного из лучших генералов вермахта, обладающего полководческими способностями и арийским характером, которые он проявил чуть ли не во чреве матери. И диктор взахлеб с восторгом вспоминал, что дивизии его 16-й армии пронеслись по Франции, как ураган, сметая все на своем пути. Нам-то известно, что во Франции они даже чехлы с пушек не снимали, обошли линию Мажино и, не встречая сопротивления, катили по асфальту до Парижа. Посмотрим, каков он будет здесь в деле! Это ему не Франция и не сорок первый, а сорок четвертый, и мы кое-чему научились за это время! – заметил Лепин и, достав из папки документ, передал Сазонову. – Ознакомьтесь, Дмитрий Васильевич, это по вашей части.

Читая документ, Сазонов сразу понял, что речь идет о группе зафронтовых разведчиков, подобранных его отделом, где отличился Бондарев. Там были со знанием дела расписаны мероприятия по их переброске через фронт. Для этого предусматривалось многое: и отвлекающие маневры на участках соседних дивизий, и участие лучших саперов дивизии на разминировании прохода, проводников-разведчиков, наблюдателей за передним краем с острым глазом, и взаимодействие с войсковой разведкой. Ответственность за

переброску группы возлагалась на Особый отдел N-ской армии, а механику действий и время операции должен был определить и согласовать с войсковиками Сазонов. Он не знал, да и откуда он мог знать, что намеченная разведоперация, где он был исполнителем, должна была стать первой ласточкой честолюбивого генерала Абакумова и его присных о возложении разведфункций на Особые отделы. Это было масштабное, но рискованное предложение, побывавшее у Верховного и получившее Его согласие, но не одобрение. Он сомневался, что «Смерш» может успешно справиться с этой задачей, а с другой стороны, почему бы не согласиться – никаких материальных затрат, зато появится еще один источник и будет с чем сравнивать сводки армейской разведки, а это – дополнительный контроль. Поменьше будут врать, больше будет ответственности! Так решил Верховный и согласился, черкнув синим карандашом по абакумовскому документу.

Теперь Абакумову нужны были результаты – тогда сомнения Верховного развеются и он не пожалеет, что дал согласие, а, возможно, даже одобрит и отметит старание начальника «Смерша».

Не каждому историку удастся проникнуть в мотивы Его поступков: многое останется тайной! Он не любил раскрывать и объяснять своих намерений ни в больших делах, ни в малых, тем более, когда это касалось методов контроля за армией и совершенствования управления в созданной Им Системе. Поэтому предложение генерала Абакумова было рассмотрено незамедлительно. Здесь интересы Верховного совпадали с честолюбием Его верного слуги. Тому очень хотелось быть в руководстве армии не только опричником, но и боевым, равноправным генералом, самостоятельно осуществлять оперативную разведку, принимать участие в планировании боевых операций и делить лавры предстоящих побед!

Лепин отодвинул черную штору, прикрывающую на стене карту Западного фронта. Там обозначился громадный выступ, на котором расположились войска фельдмаршала Буша, который нацелился угрожающим клином прямо на их фронт и на фланги соседних фронтов.

Начштадив очертил указкой границы вражеского выступа и пояснил, что немцы не случайно стали готовить с весны сорок третьего года этот плацдарм для обороны. Языком штабиста, кратко и убедительно, пояснил, что плацдарм немцев неуязвим для авиации и танков. А сам выступ занимает площадь в несколько сот тысяч квадратных километров. Природа здесь не поскупилась на тысячи озер, болот, на сотни рек и речушек.

– Вот, к примеру, – и, ткнув указкой, он показал точку на карте, – здесь, в полосе фронта нашей дивизии – болотце небольшое, до сорока верст в окружности, а с ним рядом другое, чуть поменьше. Немцы отличные фортификаторы: они не пропустят такой возможности поставить на стыке десятка два дотов, дзотов, и тут наша пехота ляжет, а танки и тяжелая артиллерия не пройдут, увязнут – кругом топь, болота… Дороги строить по этим гиблым местам нам не под силу. Одна надежда, что предстоящее наступление будет вершить не только наш, но и другие фронты. Есть вероятность того, что в результате ударов двух-трех фронтов найдутся слабые места в их обороне, и это заставит Буша выставить резервы, а их у него немного. И будет «тришкин кафтан» – прикроет голову, ноги видно, но сколько веревочка не вейся, конец авантюре будет! Если бы мы имели сведения о противнике на сто километров в глубину, это бы избавило нас от ненужных жертв!

Только Лепин всегда с болью в голосе говорил о потерях. Другие командиры об этом никогда не думали – у них была одна забота: выполнить приказ и не важно, какой ценой! Лепина страшили неразведанные силы противника, а сведения о нем были куцые и скудные – по ним, как в тайге без компаса, к цели напрямик не прорвешься. А через четыре-пять часов наступления дивизия будет обескровлена. По тысяче убитых в час – вот та уготованная цена, когда не зная брода… А противник затаился: густо засеял минами поля; закопался вглубь ходами сообщений, лисьими норами, бесчисленными траншеями на случай артобстрела, ощетинился огневыми точками, сотнями минометов да орудиями всех калибров, искусно замаскированными в лесных чащах. И только дешифрованные карты разведавиации давали общее представление о мощной немецкой обороне, но и эти сведения могли годиться только для Генштаба и штаба фронта, а для дивизии они были малопригодны.

Глава XXV
СОТРУДНИЧЕСТВО ВЗАМЕН КАТОРГИ

Уже второй месяц Анджей Княжич находился во фронтовом учебном разведбате. Расположенный в бывшем имении, обнесенный колючей проволокой, оборудованный по внешнему периметру скрытыми постами наблюдения, прикрытый двумя зенитными батареями на случай воздушного десанта, учебный разведывательный батальон Западного фронта переживал пору обустройства, привыкая к новым условиям взамен Подмосковья, где квартировал долгое время.

Бывалые люди говорят, что человек привыкает ко всему, кроме холода! Прошло то время, когда Княжич, очутившись после госпиталя в батальоне связи, ходил, как ему казалось, по острию ножа, ожидая со дня на день полного разоблачения. Страх неизбежного ареста постепенно исчезал, окрепла уверенность в недосягаемости для «Смерша».

Правда, уже дважды очкастый, въедливый кадровик придирчиво опрашивал его о том, как он попал в госпиталь. И дважды очкарик настойчиво уточнял, почему тот не вернулся в свою часть. Княжич, еще будучи там, узнал от раненых, что во фронтовом госпитале, где он находился, действует приказ о том, что рядовой и сержантский состав при выписке может быть направлен в любую часть. Об этом знал и кадровик, но для порядка он аккуратно дважды выспрашивал все обстоятельства, надеясь, что Княжич ответит вразнобой, но Анджей вел себя уверенно и удостоверился, что это обыкновенная проверка сведений, вызывающих сомнения. Он был фаталистом и верил, что любовь к единственной, голубоглазой, спасет его. Она ждет, и он вернется к ней, а для этого он должен выжить!

Он понимал, что медленно, но неуклонно немцы проигрывают войну. Только об этом сейчас не думал, не отчаивался, у него было одно страстное желание – вырваться из плена смертельной опасности, а для этого нужна не просто осторожность, но и постоянное наблюдение за собой со стороны. Роль бывшего селянина-батрака, подкрепленная польско-белорусским акцентом, вызывала симпатию и снисхождение командиров. Так было и в батальоне связи, куда он попал сразу после госпиталя, и здесь тоже курсовые командиры, наставники и преподаватели симпатизировали ему, зная о его происхождении.

Ему оставалось только ненавязчиво показывать свою «малограмотность» и «наивность суждений».

Однажды, на занятиях немецкого языка он забылся и допустил непростительный промах: при переводе текста он, забывшись, непроизвольно, скороговоркой выпалил сложный оборот «плюсквамперфекта». Преподаватель, крепко обрусевший немец из коминтерновцев, внимательно и с удивлением посмотрел на него и, как показалось, стал внимательно присматриваться к тому на уроках. Княжич знал, что весь персонал «учебки» многократно давал подписки сообщать особисту о малейших признаках подозрительного поведения слушателей. Однако немец от природы был системным человеком – ему требовалось накопить два-три таких случая, чтобы сделать свои подозрения основательными. Анджей не дал ему такой возможности – судьба и на сей раз сохранила его от провала!

И во многом ему помог Бондарев, который просто горой стоял за своего протеже, отметая всяческие подозрения, доказывая ненужность дополнительных проверок и надеясь, что получит обещанный его шефом орден за подбор разведгруппы. Он пошел на служебный подлог, требуя от своих подчиненных только положительных сведений на проверяемых, а там, где были сомнительные данные, он сам составлял справки, ссылаясь на агентов и осведомителей, с которыми якобы беседовал. И продолжал делать все, чтобы защитить Княжича даже тогда, когда был получен запрос из учразведбата, насторожившего Сазонова. Бондарев хотел доказать своему шефу, что его политическое чутье выше инструкций «Смерша» по вопросам проверки лиц, привлеченных к негласному сотрудничеству с органами контрразведки.

Пока Сазонов принимал в оперативное обслуживание вновь поступавшие в дивизию части, а недовольный своим положением, затаивший злость и желание мстить Бондарев, сам того не ведая, способствовал провалу намеченной зафронтовой операции и продолжал творить служебный подлог, в это время ее величество судьба готовила неожиданный сюрприз. И надо было случиться, чтобы в это время майор Куракин, бывший доцент, германист, а теперь главный и авторитетный «спец» по розыску особо важной немецкой агентуры, провел несколько ночей в беседах с бывшим советником немецкого коменданта города Смоленска Сиверсом Яном Бенедиктовичем, белоэмигрантом, из дворян, сочувствующим идеям НТС[48] и даже способствующим образованию его отделения в Смоленске. По совокупности всех преступлений, совершенных бывшим советником, он, по мнению лубянских следователей, заслуживал высшую меру наказания –

расстрел: за измену Родине, сотрудничество с оккупантами, шпионаж, создание и участие в антисоветских организациях и другие преступления, предусмотренные статьей 58 Уголовного кодекса РСФСР.

Переведенному от полковника Туманова в Управление «Смерш» Западного фронта и уже с аттестацией на полковничью должность, Куракину открылись новые горизонты использования знаний по истории российско-германских взаимоотношений в дореволюционный период. В одной из ночных бесед майор Куракин, склонный к экскурсам в историю, выяснил некоторые сведения о родственной ветви подследственного, имевшей отношение к дипломатической службе Пруссии. И Сиверс был поражен: в отличие от напористых, но ограниченных следователей внутренней тюрьмы, сидевший перед ним военный контрразведчик оказался человеком высокой культуры, владел немецким и к тому же знал не только имена его дальних родственников, но также где, когда, за какие заслуги на дипломатическом поприще их отметила история. Бывшему советнику не было нужды скрывать свое сотрудничество с немцами. Он откровенно рассказывал все, о чем его спрашивали следователи, не запираясь и не уменьшая своей вины, поэтому его миновали все «прелести» тогдашней следственной части НКВД.

На материалах дела и после первых ночных бесед Куракин убедился, что обвиняемый Сиверс, ничего не скрывая, как на духу, поведал следствию о своей службе в комендатуре Смоленска, признал свою вину и терпеливо ожидал своей участи. Представители Центра решили свою задачу: получили признания подследственного, на их основании составили крепкое и основательное обвинительное заключение, – а теперь ожидали команды на отправку дела в Особое Совещание при НКВД СССР.

Сначала Сиверс не проявил интереса ни к беседе, ни к собеседнику. Ожидание своей участи и одиночная камера были причиной его депрессивного состояния. Но Куракин постепенно «разговорил» собеседника и теперь с уверенностью мог сказать, что бывший советник представляет собой ценный источник оперативных сведений о противнике. Так у Куракина родилась мысль о возможности его использования для выявления осевшей в тылу Западного фронта немецкой агентуры.

Находясь на службе у немцев, Сиверс всегда ощущал свою второсортность. Нет, им не помыкали и не оскорбляли, но он всегда чувствовал свое с ними неравенство, и это несмотря на расположение к нему самого коменданта. Немцы нуждались в его знаниях, советах по организации управления населением и городским хозяйством. В молодости, после окончания лицея, он

получил место помощника таврического губернатора по праву и торговле, а теперь его советы по организации частного предпринимательства, и особенно после Курской битвы, воспринимались устроителями «нового» порядка как запоздалое предписание гуманного врача обреченному больному. Они верили, что здесь, на востоке, только сила и экзекуции могут дать желаемый результат!

Сиверс, как и большинство думающих эмигрантов, считал, что Совдепию может сокрушить только более сильный хищник, и предполагал, что рано или поздно немцы дадут независимость новой России, но убедился, что это был мираж в пустыне. Казалось бы, что им стоило создать армию из русских пленных, но, как он понял из разговоров чиновников, приезжающих из министерства Розенберга по делам оккупированных земель, сам Гитлер и его окружение были против этой затеи. Отсюда – разочарование и неверие в устроителей «нового» порядка. Но лубянским следователям он ни слова не сказал об этом, не бил себя в грудь, говоря о своих давних антифашистских настроениях и о том, что был готов уйти к партизанам.

Куракин в отличие от настырных следователей не настаивал на новых признаниях Сиверса в добровольном служении врагу, не выуживал дополнительных свидетельств его вины, а, сохраняя деликатность, больше интересовался, какой круг вопросов могли решать в комендатуре сотрудники абвера, полевой жандармерии, полиции.

Сначала Сиверс ждал очередного подвоха, поэтому на все вопросы отвечал сдержанно и суховато, но постепенно он проникался симпатией к своему собеседнику. Его мягкий взгляд и уважительная манера обращения растопили лед недоверия бывшего советника, возникший ранее при общении с ретивым служивым людом этого строгого учреждения. Камера-одиночка сменилась приятным собеседованием по ночам под крепкий чаек с хорошими сушками. Говорили о многом, но майор ни разу не спрашивал и не уточнял причины, толкнувшие его пойти на службу к немцам.

Ночные беседы были полезны для обоих. Майор собрал хороший материал для розыскной работы: эти сведения были бы утеряны, они не интересовали следователей, им было важно одно – Сиверс признал себя виновным. А он за это время забыл о депрессии, пришел в норму и интуитивно почувствовал заинтересованность Куракина в его судьбе. Предчувствие его не обмануло: Куракин составил меморандум по материалам ночных бесед и заготовил многостраничный рапорт генералу Абакумову, где обосновал необходимость использования бывшего советника

агентом-опознавателем. Такая категория агентов в органах контрразведки возникла потому, что на всей оккупированной территории Союза и за его пределами немцы создали невиданное количество больших и малых центров по борьбе с организованным сопротивлением, а также учебных центров, где готовились десятки тысяч работников широкого профиля – от лагерных охранников, агентов-пропагандистов, до диверсантов-подрывников и штучных единиц по центральному террору.

Когда Хозяин получал сводки органов по дьявольской кухне противника, куда были вовлечены, в основном, советские люди, Он приходил в ярость! Как это могло случиться, ведь Он был любимым в народе, Он дал им конституцию, а миллионы бывшей беспросветной России, погрязшей в суеверии и церковной паутине, наконец увидели свет просвещения, получили образование, приобщились к культуре – и вдруг они изменили Родине и стали гитлеровскими пособниками! Их должна настичь кара возмездия – такова была Его воля! В конце войны он потребовал от союзников выдачи всех советских, кто сотрудничал с немцами, а накануне первого дня Победы над фашизмом, который встречала радостная Европа, он подписал Постановление Совнаркома о строительстве одной тысячи фильтрационных лагерей на сто тысяч каждый, по проверке военнопленных и лиц, угнанных в Германию. Историкам не удастся узнать, о чем Он говорил наедине с наркомом внудел, но Его указания были выполнены даже раньше указанного срока.

Война не заглушила у Него жгучий интерес к частным случаям предательства, мотивам и причинам добровольного служения «новому» порядку, и Он с интересом читал спец. сообщения НКВД о пойманных и разоблаченных коллаборационистах. Близкое окружение знало об этом и изредка подкидывало ему наиболее интересные истории предательства, особенно тех, его бывших, высокопоставленных подданных!

В планы Куракина входило добиться для обвиняемого Сиверса помилования и не допустить рассмотрения его дела в Особом Совещании. Ему нужно было позарез выйти на фарватер, минуя подводные камни бюрократической Лубянки, где без опытного лоцмана делать нечего. И если бы не рекомендация нынешнего начальника управления «Смерш» генерала Железникова, его рапорт так бы и блуждал по кабинетам кураторов до окончания войны. Перед отъездом в Москву Железников посоветовал ему при возникновении трудностей обращаться к ответственному лицу Секретариата «Смерша» – подполковнику Митрофанову, взяв для этого с собой пару фляжек спирта.

По своему обличью Митрофанов был незаметный, палевой масти, с внимательным взглядом и подозрительно небольшим румянцем на лице. Никто не знал, откуда и с какого времени он пришел в Наркомат, но это был настоящий лоцман на стремнинах Лубянки! Приходили и уходили большие и малые начальники – они и не пытались вникнуть в канцелярскую кухню внудел, а он, познавший все ее тонкости, манипулировал, запутывал прохождение бумаг и их оформление так, что никто, кроме него, не знал тонкостей их передвижения и полагались только на него. Он мог укрепить карьеру одних и утопить других!

Куракин широким жестом передал ему фронтовой подарок – две литровые фляги чистого спирта. Это решило судьбу его рапорта. Через пару дней, глубокой ночью он был вызван к самому Абакумову. Генерал как профессионал-практик хорошо разбирался в розыскной работе. Он в целом одобрил предложение Куракина и приказал сократить рапорт с десяти до трех страниц. И, глядя на майора, поучительным тоном, ярко и доходчиво объяснил, что советская власть никаких гарантий давать предателям не будет, а может только ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета об изменении обвиняемому Сиверсу меры пресечения в период выполнения им особо важного государственного задания. И дальше пояснил, что дело это не простое и может вызвать несогласие начальника следственной части, а приказать он ему сейчас не может, поскольку они с ним в разных ведомствах. И здесь, в Центре, Куракин понял, что переход «Смерша» из структуры НКВД в Наркомат обороны укрепил и повысил авторитет особистов в армии, но лишил единства с органами внудел, что порождало иногда ведомственные стычки. Но все обошлось благополучно; с генералом Абакумовым считались – он был близок к Хозяину и вел политический сыск от Генштаба до экипажа самолета, танка и последнего пехотинца.

Глава XXVI
НАДЕЖДЫ И ЧАЯНИЯ СИВЕРСА

Через несколько дней Куракин, довольный собой, оформлял документы уже не на обвиняемого Сиверса, а, согласно утвержденной легенде, – на Лукина, вольнонаемного контролера качества продуктов в частях Западного фронта, что давало ему возможность беспрепятственно посещать гражданские учреждения, склады и воинские подразделения. Теперь он был одет в офицерское обмундирование, но даже без офицерских погон его седые виски и манеры воспитанного человека внушали доверие случайным спутникам, в основном офицерам, летевшим на «Дугласе» до Смоленска.

Москва и Тушинский аэродром ушли в дымку весеннего утра. И оба они, теперь уже полковник Куракин и его ведомый, бывший белоэмигрант и немецкий пособник, а ныне по воле особистов временно освобожденный из-под стражи для выполнения их заданий, были нужны друг другу, как острый нож и ножны.

Куракину было о чем отчитаться перед начальством фронтового управления «Смерш». Он считал, что одержал маленькую победу, заинтересовав своим рапортом руководство «Смерша» и сумев вырвать Сиверса из цепких объятий Особого Совещания. Теперь они летели в штаб фронта, и им предстояло работать вместе. За все дни совместного проживания Куракин искренне привязался к своему «крестнику», находя в нем все больше достоинств. И, глядя на посвежевшее лицо своего спутника, он уже мысленно прокручивал сюжеты приложения его способностей на практике, в оперативных делах, чтобы тем самым добиться помилования этого, уже немолодого, но чем-то ставшего близким ему человека.

А бывший обвиняемый, сидя в жестком откидном кресле, закрыв глаза, думал о превратностях судьбы и о том, что он дал согласие майору на добровольное служение контрразведке. Сомнения в своей правоте по переходу на сторону Совдепии у него еще оставались, но угрызения совести по поводу того, что он сменил своих прежних хозяев, исчезали, как только вспоминалась позорная страница последних дней пребывания немцев в Смоленске при отступлении. И он спрашивал себя, где же эта хваленая немецкая аккуратность и обещания коменданта о надежных средствах эвакуации?!

Время отвода войск немцы держали в секрете. Уходили из Смоленска неожиданно, вечером, под грохот бомб и вой снарядов.

Ночью сбились с пути, головная машина безнадежно застряла в болоте, у второй отказал мотор. Пошли пешком проселочной дорогой. Группа беглецов – не больше двенадцати человек – с первых же шагов стала расползаться, раскалываться на отдельные группки. Первыми ушли трое самых здоровых и молодых мужчин: молча бросили свои ненужные чемоданы, одели рюкзаки и без слов свернули с проселка в лес, растворившись в нем. Они служили в городской полиции – уж они-то знали, что им грозит при встрече с советскими войсками. Потом незаметно отстал и скрылся из виду бывший бухгалтер смоленской управы. Единственная пожилая семейная пара – оба учителя еще с земских времен – осталась в лесничестве. Основное же ядро группы продолжало двигаться на запад в надежде уйти от встречи с краснозвездными войсками, «энкавэдэшниками» и пугающего возмездия. Цель была одна – выйти на единственное в этих местах шоссе, идущее в сторону Минска, и присоединиться к отступающим немецким войскам.

Вспомнил Сиверс и редактора оккупационной газеты «Русский голос», бывшего внештатного корреспондента газеты «Смоленская правда» Буйнова, прекрасного рассказчика, знавшего много историй о своем крае. Он частенько забегал на огонек к Сиверсу и увлеченно рассказывал о местных событиях, о вельможных личностях советского периода и разные легенды о их стиле руководства, привычках в быту и на службе. Это он поведал ему скорбную историю еще 30-х годов о прокладке шоссе Москва – Минск. Новым областным начальником НКВД был тогда назначен старший майор Наседкин[49], бывший областной начальник из Тулы. В это же время начались репрессии по всей стране. На территории области проживало около семи тысяч латышей, переехавших сюда в разное время – особенно много курляндских жителей изъявило желание переехать в наши края в период империалистической войны, когда немцы были под Ригой, и царское правительство материально помогало беженцам. Так в Смоленской области образовалась Латышская колония. Труженики они были отменные – честные и непьющие. Строительство возлагалось на Гушосдор[50], и Наседкин полностью отвечал за строительство магистрали. Вербовка вольнонаемных землекопов не удалась; платили на строительстве очень мало. Тогда Наседкин поехал в Москву и получил под предлогом укрепления западной границы разрешение на репрессирование взрослого населения латышей, поскольку они являются выходцами из враждебного буржуазного государства и в потенциале – враги советской власти! Сюда же он причислил служителей культа и мирян, активно посещающих церкви, а

также уголовников разных мастей. Их набралось больше десятка тысяч – они были осуждены и брошены на строительство Минского шоссе. Наседкин же за ударное выполнение правительственного задания был сначала награжден, а потом получил повышение – был назначен наркомом внудел Белоруссии.

Вот к этому шоссе и держала путь группа немецких беглецов, среди которых был Сиверс, когда они были взяты в плен танковым батальоном Красной Армии с десантом пехоты. Их выдала не только городская одежда, но и пожилой толстячок, служивший при оккупантах заведующим народным домом. Решив сразу повиниться, он стоял в стороне, рядом с молоденьким офицером, пальцем указывал на беглецов и что-то увлеченно рассказывал ему. Солдаты были, в основном, молодыми парнями в заляпанных грязью плащ-палатках, в ботинках с обмотками и мятыми полевыми погонами. Сиверс тогда не испугался этой встречи: впервые он увидел лица сыновей тех, кто выпихнул его из родного дома. А они рассматривали беглецов с любопытством и откровенным презрением. Потом их подвергли обыску. На войне все солдаты одинаковы по части пленных трофеев – считают себя единственными распорядителями их вещей и жизней. В результате все беглецы лишились часов, колец, бритвенных приборов, портсигаров, зажигалок, бумажников и прочей мелочи. Высокий, заросший черной щетиной кавказец, немного смущаясь, отобрал у Сиверса карманные часы, портняжный несессер и колоду карт в кожаном чехле. Старший лейтенант – политрук десантной роты – не позволил другой группе солдат произвести повторный обыск и со словами «дважды подряд овцу не стригут» прогнал их. В знак благодарности Сиверс подарил ему ручку-самописку, уцелевшую после первого обыска. Потом, почти перед самым порогом Лефортовской тюрьмы, с хамскими увертками, под предлогом обыска он был ограблен мелкой сошкой из надзирательского персонала.

Причем он молился за тех солдат, взявших его в плен: другим не повезло еще больше. Так, при въезде в село, куда их под конвоем доставили на сборный пункт, он увидел тех троих, которые первыми покинули группу. Они лежали ничком в кювете, рядом – их выпотрошенные рюкзаки. По коричневому, с желтыми ремнями, Сиверс опознал одного из трех, еще вчера живых и здоровых, а ныне не погребенных, лежащих под этим мелким осенним дождем. Где-то на краю села, выводя что-то веселое, играла гармошка. Жизнь шла своим чередом: у кого-то было короткое веселье, а кто-то лежал в кювете, подогнув ноги. Судьба этих трех несчастных не давала ему покоя. Кто распорядился их

жизнями – никто теперь не узнает. Да и откуда ему было знать, что уход немцев породил откровенный бандитизм, лжепартизанство среди бывших полицаев и примкнувших к ним разных темных личностей. Вооруженные, они сбивались в стаи, грабили и убивали всех, кто встречался на пути.

Новых привели и заперли в холодном сарае до следующего дня. Еще там, в сарае, холодной сентябрьской ночью Сиверс с горечью осознал свою ненужность в этом мире и поэтому во время следствия даже не пытался искать лазейку для оправдания своей службы у оккупантов и без сожаления готовился к высшей мере или «четвертному» каторжному сроку, что было почти то же самое, с прибавкой к его пятидесяти четырем годам. И, не терзаясь боязнью исчезнуть, он готовил себя к худшему. Встречу с Куракиным Сиверс принял за знак судьбы, хотя предложение оказать им помощь и выступать в роли разоблачителя тех, с кем он еще недавно встречался, сидел за одним столом, с кем вместе получал оккупационные марки, – переживал мучительно трудно. Все его существо протестовало против такого предложения. Воспитанный в классической гимназии, где презирались наушничество и фискальство, он ужаснулся той роли, какую ему готовил Куракин, и уверял того, что по складу характера он не охотник и у него могут возникнуть симпатии к теснимым и преследуемым. Куракин, тоже в прошлом гимназист, знакомый с кодексом чести тогдашнего юношества, терпеливо и настойчиво вел свои беседы, подтачивая застарелый романтизм Сиверса. А потом ознакомил бывшего советника с розыскными делами на бывших подручных абвера, полиции, полевой жандармерии, где были собраны материалы о сотнях замученных, убитых, о массовых экзекуциях в деревнях за то, что многие были недовольны установленными порядками, произволом, исходившим от оккупационных властей или их пособников. И Сиверс стал по-другому слушать своего собеседника, обнаружив, что тот проявляет сочувствие к несчастным жертвам. Куракин понимал душевное состояние своего заложника и без всякого нажима, постепенно знакомил его с достоверными сведениями о черных делах карателей.

Раньше Сиверс полагал, что подпольные силы Совдепии скоро выдохнутся, не имея поддержки среди населения. Но ошибся в своих предположениях, и не только он! Вся власть «нового» порядка многого не учла – просчиталась! Они считали, что, настрадавшись от гражданской войны, коллективизации, свирепых репрессий, народ этой страны, не любивший собственную власть и подчинившийся только ее силе, проявит покорность и согласие на новые порядки. Однако народ долго

присматривался к ним и понял, что хрен не слаще редьки, и решил, что будет жить хоть и горькой, но своей редькой. А когда военная фортуна улыбнулась Советам, и, поднявшись почти с колен, их армия стала медленно, но неуклонно теснить захватчиков, тогда, само собой, симпатии уже были на стороне хотя и не любимой, но своей власти! Да и Красная Армия ведь была им не чужая – почти из каждой семьи кто-нибудь служил в ней.

Хотя в народных глубинах были и те, кто не помышлял мириться с советской властью. У них были разные причины пойти против нее: одни ненавидели коммунистов за их жестокую власть, партийную охватность; другие – за наглую бюрократическую уравниловку, нищенскую оплату труда и откровенное вранье о счастливой жизни в стране труда; но больше всего среди них было тех, кто пострадал при раскулачивании, за чуждо-классовое происхождение и за другие прегрешения перед новыми законами. Часть из них добровольно пополнила ряды полиции, жандармерии, карательных отрядов и зондеркоманд и пустила немало кровушки своих сограждан; а теперь оставалось одно – идти с немцами до конца! Они знали, что им несдобровать при встрече с Красной Армией. Ходили слухи, что военные трибуналы частей получили приказ – к пойманным полицейским, карателям и активным пособникам немцев применять апрельский Указ от 1943 года – казнь через повешение.

Сиверс таким не сочувствовал: его возмущала их жестокость и беспощадность к забитому и бесправному сельскому люду, страдающему от поборов оккупантов, а по ночам – от хозяйничанья партизан. Совесть говорила ему, что он тоже был пособником и, определенно, мог бы избегнуть службы у оккупантов, но добровольно пришел, поддавшись соблазну рассуждений в кругу своих знакомых о создании новой России с помощью немцев. Свой приход к ним Сиверс считал самой большой ошибкой в жизни! Как ему теперь хотелось покаяться, выложить все, что было на душе, услышать слова сочувствия и заплакать, как в детстве на исповеди, горячими слезами раскаяния. Но, увы, он убедился в том, что здесь, в Совдепии (продолжая так называть ее по эмигрантской привычке), не осталось места ни духовнику, ни самому понятию покаяния. И, глядя на молодые лица попутчиков-офицеров – многим из них не было и сорока, – он понимал: они новая поросль – воспитанники новой власти. У них не возникнут сомнения в правильности выбранного ими пути, им будет неведомо покаяние, сострадание. Они уверовали в торжество коммунизма, солидарность трудящихся, гениальность своего Вождя и непобедимость их

армии! Как все для них просто! Не усложняя своей жизни накопленными человечеством понятиями о добре и зле, они разом отменили содержание запутанных вековых споров; пришли к ясной и понятной мысли – кто не с нами, тот против нас, и никаких колебаний! Просто и без затей! Выживают только те, кто согласен с нами, – другим нет и не будет места рядом! А все, кто сомневался и колебался, – они тоже будут за бортом.

Сиверс не принял бы такой философии. Поэтому у него не было зависти к их свободе и благополучию. Они шли своей дорогой и были довольны жизнью, не ведая другой. «Интересно, – подумал он, – если бы я раскрылся перед ними и признался, кто я есть? Скорее всего, они выбросили бы меня из самолета». Но рядом был его ангел-хранитель, он бы не допустил самосуда! Сиверс еще на аэродроме заметил, как трое старших офицеров многозначительно посмотрели на Куракина и его кожаный реглан без погон и зашептались, выражая на лицах уважение и почтительность. Они-то знали, что такое отклонение от формы одежды позволялось только особистам не ниже полковника и генералитету. Со времени ареста, тяжелого тюремного содержания и нудного следствия Сиверс видел вокруг только равнодушно-ненавидящие взгляды охраны, надзирателей, следователей. Раза два он мельком уловил в глазах часовых что-то похожее на выражение жалости. И только Куракин при первой же их встрече посмотрел на него другими глазами; в них было сочувствие.

Сиверс с благодарностью взглянул на своего хранителя – тот дремал, откинувшись в кресле, – и вспомнил подробности последних бесед с ним. Куракина интересовали в основном лица, ответственные за борьбу против партизан на Смоленщине, а особенно те, кто проявил особое рвение и отличился по службе за два года оккупации.

Сейчас Сиверсу казалось, что с той поры, как он стал служить у немцев, прошла целая вечность, но он ощутимо, до мелочей помнил события и окружавших его людей. Да и как можно было забыть его приезд в полусожженный Смоленск в начале сентября 1941 года и те глупые мечтания и надежды на возрождение новой России! Разочарование наступило позже. Сейчас вспоминать об этом было мучительно стыдно!

Осень первого года войны в Смоленске прошла в тревоге и волнениях. Сначала все радостно ждали падения Москвы, а потом медленно поползли слухи о временных неудачах вермахта под Москвой, и в подтверждение – эшелоны раненых потянулись на Польшу, дальше на фатерлянд, где торжественно, но с испугом встречали героев Восточного фронта. От верховного

командования было получено указание встречать эшелоны раненых с оркестром и цветами в любое время суток. Даже были доставлены самолетом искусственные цветы из Восточной Пруссии. И вся городская общественность, состоящая из десятка пожилых людей, трех переодетых чинов полиции, а также коменданта, городского головы со своим штатом подчиненных, держа в озябших руках букеты фальшивых цветов, терпеливо изображала трепетную встречу с защитниками цивилизации от варваров-большевиков, о чем так вдохновенно писала единственная газета оккупированного Смоленска.

Где-то в январе 1942 года у коменданта было расширенное совещание по выработке мер по предупреждению возникающих сил Сопротивления. Вот здесь впервые среди представителей абвера, гестапо и полиции Сиверс увидел стройного молодого человека с очень ровным пробором волос. На совещании почти все говорили по-немецки и только два больших чина из охранных отрядов полевой жандармерии – один русский, другой латыш – имели переводчиков.

Когда перешли к обсуждению тактики большевистского подполья, молодой человек, представленный комендантом как специалист по борьбе с диверсиями на транспорте, на очень правильном немецком, с небольшим славянским акцентом, языке кратко изложил установленные факты легализации подполья с использованием частного предпринимательства. А потом внес предложение: отныне все вновь организуемые предприятия, конторы, торговые точки и увеселительные заведения должны были подвергаться проверке полицией и регистрироваться по месту их расположения под поручительство местных управ. А выдача пропусков – аусвайсов – должна производиться только по списочному учету. Его внимательно слушали все присутствующие. Потом Сиверс много раз будет встречать обладателя этого приметного, ровного проборчика, подтянутого, энергичного юнца, среди важных персон, посещающих коменданта. Кто мог предположить, что впереди у него будет с ним роковая встреча! Этот молодой человек – специалист по борьбе с партизанами, заинтересовал Сиверса своей самостоятельностью и отсутствием раболепия перед чинами оккупационных властей. Сначала подумалось, что это «спец» из прибалтийских немцев; потом узнал, что его фамилия Лисовецкий – выходец из Восточной Польши, пользуется покровительством всемогущего майора Глюкнауза, вместе с которым они часто бывали в комендатуре.

Когда Сиверс рассказывал Куракину об окружении коменданта, то майора больше всего заинтересовала личность

Лисовецкого. Они долго говорили о нем, и Куракин тогда исписал несколько листов блокнота.

Самолет подлетал к Смоленску на небольшой высоте, опасаясь случайной встречи с «мессером»-охотником. За иллюминатором блеснула вороненой сталью петля Днепра, и через несколько минут под колесами «Дугласа» шуршала взлетная полоса аэродрома возле Красного Села.

Глава XXVII
ЗАВЕРШЕННЫЙ ПОДЛОГ

Только у начштадива Лепина была единственная большая карта всего переднего края обороны дивизии, с заштрихованной на ней синим цветом линией соприкосновения с противником и пометками разных цифр, понятных лишь штабным офицерам.

Многоопытный Лепин, получив указание из штаба армии на подготовку к заброске разведчиков, строго предупредил своих штабистов: ни одно движение на этом участке не должно выдать каких-либо намерений с нашей стороны. Всем фронтовикам давно было известно, что наблюдательная служба у противника была в большом почете – отличившиеся особыми результатами наблюдений немедленно отмечались наградами и отпусками. Как правило, эта служба велась с оборудованных, безопасных мест, с хорошей оптикой. Уж такой народ немцы – аккуратные и педанты! На батальонных постах у них сидели, в основном, старослужащие – ефрейторы, капралы. Цепко и настойчиво они следили за нашим «передком» и записывали в журнал любые изменения на нашей стороне. Там же у них было специальное подразделение связистов – они одновременно с наблюдением вели подслушивание наших телефонных переговоров на переднем крае.

Здесь надо было придумать, как обмануть противника, не дать обнаружить наши намерения, отвлечь его внимание ложной подготовкой к наступательной операции местного значения по улучшению наших позиций. Так в штабе дивизии родился план с загадочным названием «Аза». Начальник разведотдела – выдумщик и неисправимый романтик – предложил назвать отвлекающую операцию «Цыганка Аза», поскольку был наслышан о мастерстве цыганок отвлекать внимание, но Лепин для удобства в переговорах оставил только «Аза», и оно закрепилось. Исполнители операции, занятые подготовкой материальной базы, не были посвящены в истинные ее намерения и принялись за выполнение приказа. И вот уже взвод саперов вблизи от переднего края скрытно, в густом ельнике, за несколько дней, без шума вкопал в землю крепкий остов просторного блиндажа с тремя накатами из еловых бревен, искусно замаскировал и занялся внутренней отделкой. И начштадив, и Сазонов осмотрели со всех сторон блиндаж, который Лепин по-старинному назвал блокгаузом, и остались довольны. Было решено, что здесь перед заброской укроется разведгруппа и будут размещены саперы для

разминирования прохода и охрана.

Генерал Абакумов напористо, как «студебеккер» с тремя ведущими мостами по болоту, шел к своей цели: создать в своем ведомстве тактическую разведку, как можно быстрее получить первые результаты и одобрение Верховного.

О том, что Верховный дал согласие на создание тактической разведки под руководством чекистских органов, сотрудники Генштаба были осведомлены в деталях. Кое-кто из вольнодумцев считал, что это ненужная затея, но вслух об этом никто не говорил, а на собраниях и совещаниях они же громогласно одобряли это новшество.

Честолюбие главного особиста, стремившегося не только быть сыскным держимордой, а на равных делить лавры настоящих побед с войсковыми генералами, не затеряться в их толпе и отличиться как генерал, думающий о совершенствовании действующей армии для скорой победы, мог разгадать только сам Верховный и, посмеиваясь в усы, рассудить, что честолюбие, направленное на пользу дела, надо поддерживать, поощрять. И поддержал, но от поощрения воздержался, ожидая результатов.

А генерал Абакумов в это время дал указание собрать через агентуру и осведомление отзывы о том, как офицеры и генералы в частях действующей армии отнесутся к его, как он считал, плодотворной идее. И, соответственно, сам лично просматривал меморандумы из многочисленных агентурных сообщений. Но фронтовые особисты знали, понимали, чего хочет их высокое начальство, и составляли, в основном, положительные отзывы. Но каким-то образом в поток положительных оценок затесались и два других сообщения. Они поступили от Особых отделов, коих разделяли сотни километров, но были по смыслу одинаковые. Генерал еще раз прочитал их. По лексике, грамматике они были разные, но мысль в них была одна – особисты набьют себе шишек, пока наберутся опыта! А, кроме того, в одном подробно изложено, как собеседник агента – переводчик разведотдела мехкорпуса, старший лейтенант Нойман – рассказал, что у немцев разведка и контрразведка всегда находились в абвере, и, возможно, наше командование сочло необходимым для удобства соединить эти функции в одних руках. «Ты смотри, какой умник нашелся. Выходит, что мы скопировали у немцев эту перестановку!». – язвительно подумал генерал. И в специальной клеенчатой тетради, служившей кондуитной книгой для расследования проступков, записал распоряжение начальнику своего секретариата: «Взять в разработку Ноймана за разглашение секретных сведений». И будет еще долгое время после войны находиться на прицеле у всесильных органов бывший военный

переводчик Нойман – за то, что своим высказыванием навлек на себя гнев начальника «Смерша». Только где-то в середине 50-х годов снимут его с оперативного учета и выпустят из-под опеки Гэбэ. И вся-то жизнь не поймешь из-за чего была поломана: в партию не приняли, в горсовет депутатом не прошел, так и состарился учителем немецкого языка в библиотечном техникуме...

Почти никого не осталось, кто бы помнил те дни, когда возник Западный фронт, и судьбу его командующего, героя испанской войны, бритоголового генерала Павлова; начальника штаба, со строевой выправкой, симпатичного генерала Климовских и еще трех генералов, расстрелянных во внутренней тюрьме Лубянки по приговору Военной коллегии Верховного суда «за трусость, развал управления войсками, самовольное оставление позиций». Хозяину Кремля потребовались жертвы, чтобы свалить на них свою собственную вину за разгром Красной Армии, за просчеты, допущенные им же в советско-германских отношениях. Всем казалось, что это было давным-давно! И память о безвинно расстрелянных генералах (ведь согласно партийному закону «Вождь всегда прав» в нашем государстве!) сохранилась только у близких да родственников.

Теплая солнечная погода апрельских дней сменилась заморозками и пасмурными днями. В одно такое холодное утро многочисленное фронтовое воинстве узнало, что их Западный фронт стал именоваться 3-м Белорусским и приобрел нового командующего – генерала Черняховского. Приказ приняли к сведению. Радости и восторга по этому поводу среди фронтовиков не наблюдалось. Но работы у политработников прибавилось. Надо было все объяснить, растолковать, что новое название фронта обязывает всех совершенствовать ратное дело и политическую подготовку! И, не дай бог, если на политзанятиях кто-то из солдат не мог ответить на вопрос, какие должности занимает в настоящее время товарищ Сталин: Генеральный секретарь ВКП(б), Председатель Государственного Комитета Обороны, Председатель Совета народных комиссаров, Народный Комиссар Обороны и Верховный Главнокомандующий Красной Армии и Флота!

Смена командующего фронтом запомнилась тем, что совпала с улучшением фронтового пайка. Солдатский рацион стал добротнее за счет американских консервов. На дополнительный офицерский паек однажды выдали по несколько толстых плиток очень твердого, чуть горьковатого на вкус заморского шоколада. Многие его пробовали впервые в жизни.

Новый молодой, чернобровый комфронта на первом же

совещании отметил, что штаб фронта мало знает об обороне противника, и поставил задачу – исправить положение в короткий срок.

Генерал Абакумов уже получил задание Верховного – оказать помощь Черняховскому по сбору разведсведений и, в свою очередь, дал накачку главному особисту фронта – ускорить разведмероприятия на территории противника. Волна грозных указаний сверху докатилась, в свою очередь, до Сазонова, требуя от него: ускорить, выполнить, согласовать, доложить в указанный срок… Теперь получалось, что вся ответственность за подбор разведгруппы, проверку, переброску через фронт легла на его отдел. Задание по дополнительной проверке разведгруппы было почти выполнено: у четверых все было в порядке, а вот к пятому – сержанту Княжичу – были вопросы. Сам он объяснил, что после контузии не помнит, сколько дней был в санбате и когда был доставлен оттуда в полевой госпиталь. Но ответы были противоречивы, и Сазонов, чтобы ликвидировать все сомнения, решил провести опознание Княжича среди личного состава, где он до контузии проходил службу.

Преодолевая скрытое нежелание своего зама перепроверить Княжича, Дмитрий Васильевич подписал приказ о командировке Бондарева для проведения опознания. Воинская часть, где согласно документам служил Княжич, находилась в соседней, примерно в шестидесяти километрах, армии. Бондарев взял с собой в помощники покладистого сержанта Маркина и с недовольным лицом влез в двуколку с брезентовым тентом, сел на вязанку камыша и двинулся в путь – выполнять задание. В дороге он молчал и все думал о несправедливости судьбы – служить под началом такого тупого, политически близорукого человека, как Сазонов. Он и не утруждал себя размышлениями о том, как он будет выполнять задание, потому что с самого начала считал, что вся эта возня с дополнительной проверкой, опознанием – сазоновская блажь, его выдумка, а командировка придумана им, чтобы унизить майора и подвергнуть его дорожным неудобствам. Бондарев не был приспособлен к оперативной работе, которая состояла из множества рутинных дел, где требовалось обыкновенное терпение, быстрая реакция, хорошая память, желание узнать как можно больше, накопить эти знания, удержать в памяти и использовать их. Но он не обладал ни одним из этих качеств. Его служба в облисполкоме, общение с руководством области, партмобилизация в армию, неожиданное присвоение майорского звания в политотделе корпуса, а потом назначение в Особый отдел окончательно вскружили ему голову и убедили в исключительности его персоны.

Неудачный исход доносительства на Сазонова и выволочка, устроенная ему полковником Тумановым, обескуражили его, но ненадолго. Теперь он предавался мечтаниям, представляя себе, что вдруг он каким-то образом попадает на доклад к Члену Военного Совета армии, тот его внимательно выслушивает как бывшего политработника, задает много вопросов, интересуется, какие недостатки имеются в работе военной контрразведки на уровне дивизии, а он толково и убедительно докладывает, что у особистов не всегда принимаются правильные решения в силу отсутствия у руководящего состава опыта и достаточной политической подготовки. Генерал внимательно его слушает, делает какие-то пометки в блокноте, потом просит подкрепить конкретными примерами его высказывания. И тогда Бондарев после недолгих колебаний приводит в качестве примера поведение своего шефа и начинает перечислять его промахи по службе, объясняя это узостью его политического кругозора и отсутствием партийной принципиальности. В конце беседы генерал встает из-за стола, крепко жмет ему руку, благодарит за важную политическую информацию и намекает на то, что в ближайшее время им будет рассмотрен вопрос о повышении в должности майора Бондарева. Дальше этих благостных фантазий его воображение не шло, и он уносился в своем представлении смаковать на все лады, как Туманов и Сазонов примут известие о его повышении и как будут завидовать в дивизии его заслуженному продвижению по службе.

На второй день, проплутавши по бесчисленным дорогам второго эшелона, майор с помощником нашли ту воинскую часть, где когда-то служил Княжич. Напустив на себя важность, Бондарев беседовал с особистом этой части. Как оказалось, рота, в которой воевал Княжич, понесла тяжелые потери, и тот отбыл в полевой госпиталь. Если опрашивать всю роту и предъявлять фотокарточку на опознание, на это уйдет много времени, – и Алексей Михайлович, недолго думая, вписал в протокол показания нескольких солдат из списка роты, которые якобы опознали Княжича, и с «их слов» записал, что тот нес службу исправно, потом получил контузию и был отправлен в медсанбат. И, как считал Бондарев, этого было достаточно, чтобы закрыть вопрос о дополнительной проверке Княжича и больше к нему не возвращаться. Если бы он знал, какую мину замедленного действия он закладывает под свое собственное благополучие и чем потом заплатит за этот обман, он бы наказал своим детям и внукам не делать этого. Но вполне довольный собою и тем, что сумел обойти приказ Сазонова, он положил ему на стол протоколы опознания.

Глава XXVIII
РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

Обучение несложному, но смертельно опасному ремеслу армейского разведчика закончилось, и Княжич с группой своих однокашников прибыл к месту переброски через фронт. Их запрятали во вновь отстроенный блиндаж и только по ночам, разбившись попарно с саперами, они осваивали тропу для прохода в тыл к немцам. Место перехода было выбрано удачно: боевое охранение противника, его парные патрули, ночные дозоры не посещали этот угол, надеясь на густо усеянный минами участок между двумя узлами их обороны, спрятанными глубоко под землей. Команда саперов, подобранных по указанию полковника Лепина, состояла из самых умелых. В каждом из них сочетались качества остроглазого следопыта и хирурга с железными нервами и стальной выдержкой! Саперы знали, что найти мину, иной раз хитроумно упрятанную в землю и замаскированную пучком травы, старой листвой, корой, было труднее, чем обезвредить ее. Очень опасными были мины-«лягушки»: неосторожное движение – и та с небольшим хлопком выскакивала из-под ног и разрывалась на уровне живота, разила осколками не только того, кто коснулся ее, но и тех, кто был рядом с ним.

Руководил прокладкой тропы и отвечал за ее проводку в тыл к немцам известный во всей N-ской армии, единственный в ней тогда награжденный орденами Славы трех степеней – старшина Ибрагим Шейхаметов, из крымских татар, прирожденный разведчик. О его умении проникать к немецким блиндажам на расстояние вытянутой руки, бесшумно передвигаться по лесу, о способности видеть в ночной темноте солдаты сочиняли разные истории. Может быть, он действительно унаследовал от своих предков, совершавших набеги от Дуная до Дона, ту самую интуицию, с помощью которой они угадывали слабые места в обороне соседей, неведомым путем узнавали об их засадах и уходили от погони. Его звали «счастливчиком». Еще в начале войны он без потерь вывел штаб армии, минуя охваты и клещи вражеской мотопехоты. Начальник штаба поставил его во главе разведгруппы, и ему, действительно, везло. Шейхаметову принадлежала дерзкая идея – идти параллельным курсом на расстоянии двух-трех километров от передовых сил противника, которые двигались в дневное время по проселочным дорогам. Так штаб армии со своим хозяйством сумел выскользнуть из

смертельных объятий и присоединиться к отходящим частям Красной Армии. С той поры Ибрагим был закреплен за разведотделом как инструктор по вылазкам в тыл противника, но от офицерского звания отказался, ссылаясь на малограмотность и неумение командовать людьми. Он остался старшиной и был этим доволен.

Разведгруппа и саперы сразу признали командирство старшины Шейхаметова за его бесстрашные ночные вылазки к немцам, спокойный добрый нрав и готовность помочь ближнему. Стройный и гибкий, как речной тростник, даже в своем балахонистом маскхалате он выглядел красивым и мужественным.

Сержант Княжич все еще не верил, что через несколько дней окончится цепь его испытаний, и твердил про себя спасительную молитву. Ему казалось, что прошла целая вечность с того времени, как он стал сержантом армии государства, к которому он имел свой особый счет. Каждый раз, когда всплывала в памяти июньская расстрельная ночь в гродненской тюрьме, у него опять и опять закипала смертельная обида на тех, кто нарушил уклад его мирной жизни и объявил жестокую охоту на отца и его друзей только лишь за то, что они принадлежали к другому классу. Он не мог простить тем, кто расстрелял отца жаркой ночью и толкнул сына на путь служения немцам! Да, это они, немцы, спасли ему жизнь! Чаша весов качнулась в их сторону! А что оставалось ему делать?! – Вылечиться, уйти в подполье и воевать против них?! Но от одной мысли, что он оказался бы вместе с большевиками, его бросало в жар!

Заканчивались приготовления к переходу через фронт. Тропу прохода «обкатали» несколько раз, заучили все повороты, ложбинки, взгорки, овраги. Могли с закрытыми глазами проползти, пройти, пробежаться по ним. По вечерам из ближайшего блиндажа ветер доносил запах кофе, рядом проходит их парный дозор по своему маршруту, и изредка была слышна чужая речь. Все уже привыкли, что враг рядом, но были изучены его привычки, его сила и слабости, и он стал известен и понятен им, уже не представляя страшное и загадочное существо. Они принимали его как часть злых сил природы, и он им был не страшен.

За два дня до выброски разведгруппы на запачканном грязью «виллисе» к Сазонову приехал полковник Куракин в сопровождении пожилого штатского в офицерской форме, но без погон.

Дмитрий Васильевич был искренне рад приезду полковника. Они сели за стол, и Куракин представил Сазонову своего

спутника. Тот, поднявшись из-за стола, приятно улыбнулся, изящно склонил голову в старорежимном поклоне и назвал себя: «Ян Бенедиктович, – и, помедлив, добавил: – Лукин». На шестом десятке, Сиверсу трудно было привыкнуть к своей новой фамилии, но постепенно он свыкался с ней, как и со своим положением в «Смерше», офицерской формой и окружающими его лицами.

Сазонову понравилось в этом человеке все: приветливый взгляд светлых глаз, улыбка и этот поклон головой. Он напомнил ему детство, школу, строгого, но любимого учителя русского языка, бывшего словесника из кадетского корпуса, статного, с прямой спиной и такой же манерой здороваться – поклоном головы.

Лукин вышел из блиндажа погулять, и Куракин подробно рассказал о своем спутнике. История бывшего вражеского советника не убавила у Сазонова симпатий к нему, а, пожалуй, наоборот, – он проникся к нему уважением, узнав о его согласии на сотрудничество с фронтовой контрразведкой.

Рассказывая о злоключениях Сиверса, Куракин утаил подробности своего участия в его судьбе, не стал посвящать Сазонова в то, как ему удалось буквально выхватить важного подследственного из цепких рук Следственной части. Полковник был человек старого закала, и, приученный к скромности, он умолчал о том, как выиграл схватку на Лубянке. Сейчас Куракин занялся материалами проверки на всю разведгруппу. Сазонов дал ему распухший том наблюдательного дела. Прочитав заключительную справку по делу, как опытный розыскник, он заинтересовался Княжичем, внимательно читал страницу за страницей, изредка делая пометки в блокноте. Лицо его нахмурилось и вместо обычного приветливого приняло озабоченное выражение. Дмитрий Васильевич понял, что ему не избежать серьезного разговора с полковником, и терпеливо ждал развязки. Но он и не предполагал, что тот копнет на такую глубину по части проверочных мероприятий. Если честно говорить, откуда у Сазонова опыт по таким делам?! Вчерашний учитель, потом оперуполномоченный, запыливший мозги на краткосрочных курсах особистов примитивными знаниями и познавший это ремесло только на практике сослуживцев, ниже его на голову по образованию, полагавшихся в основном на свою интуицию и небольшой житейский опыт. У Куракина же была своя интуиция, основанная на университетском образовании. Кроме того, у него был еще и опыт проверочной работы фронтовых отделов. Почти без труда он обнаружил нестыковку, повтор мелких деталей в сообщениях осведомителей и

материалах опознания Княжича. Ему показалось, что исполнитель делает все, чтобы обелить проверяемого, но в силу своей деликатности не высказал своих предположений Сазонову.

В конце дня Куракин решил проверить готовность и боевое состояние разведгруппы. Они с трудом подъехали по искореженной лежневке и остановились в двух километрах от блиндажа. По узенькой тропинке через ельник Сазонов привел полковника и его спутника в штатском в убежище разведчиков, обитатели которого сидели за столом в ожидании ужина. В отсеке слабо светили два фонаря. Согласно созданной легенде Сазонов объявил о том, что к ним приехал интендант из управления тыла фронта для ревизии котлового довольствия.

Разведчики с любопытством разглядывали Лукина. Он сел с ними за стол, расспрашивая их, как было положено интенданту, о количестве и качестве провианта. Ян Бенедиктович давно уже усвоил эту роль, совершенствуя опыт общения с фронтовиками. Через несколько минут их скованность в присутствии малознакомого лица исчезла, и подавая друг другу пример, они стали и сами задавать вопросы, а один из них даже вспомнил, как у них в запасном полку на вопрос одного начальника-интенданта, хватает ли им положенного пайка, солдаты отвечали: «Хватает, даже остается!» – «А куда деваете остатки?» – «Съедаем!»

Разговаривая с ними, Лукин мучительно долго вспоминал, где он встречал одного из пяти сидевших за столом молодых людей, лицо которого показалось ему таким знакомым. «Не может быть, чтобы судьба занесла его сюда, в стан лазутчиков», – подумал он. И не желая показать своего особого интереса, не встречался с ним взглядом. И только раз, когда тот произнес одну фразу, Лукин сразу же вспомнил Смоленск, комендатуру, молодого человека с ровным пробором волос, его подчеркнутую независимость, отсутствие раболепия в обращении с высокими чинами оккупационных властей и их уважение к нему. Еще тогда Ян Бенедиктович отметил и похвалил мысленно его поведение. С немцами по-другому нельзя, иначе станут помыкать, невзирая на то, что ты им нужен! И будут обращаться на равных, если видят, как старший офицер из абвера с уважением беседует с владельцем проборчика, молодым человеком, и, подчиняясь стадности поведения, проявят вежливость и угодливость к обоим. Теперь он вспомнил его фамилию и польское происхождение. Несмотря на то, что на нем была военная форма, погоны сержанта, светлая полоска усов и ежик русых волос, можно было без труда опознать в нем смоленского знакомца. Место, исключающее их встречу, и ее внезапность могли бы поколебать уверенность Сиверса в том, что это Лисовецкий, но, когда их

глаза вдруг встретились, они узнали друг друга. Никто из них не выдал себя! Сиверс-Лукин даже прочел в его глазах: «Поступай, как хочешь, господь тебе судья». «Как на дуэли, – подумал Ян Бенедиктович, – только у меня пистолет заряжен, а тот безоружен». Он спокойно улыбнулся, как бы намекая ему: «Можешь не беспокоиться, я не выдам тебя!» Сказались романтика юношеских лет, дворянское воспитание, где честь и достоинстве превыше всего! «Да и какой ты мне враг, мы оба под ударом судьбы! Мне повезло: я встретил полковника, он освободил меня от каторги, потому что я не был замешан в адской кухне и на мне нет крови, ну а тебя они усердно ищут и жаждут встречи! У этого рабоче-крестьянского государства пощады не жди – их суд скорый, об этом ты лучше меня знаешь! Возьму грех на душу перед полковником, не доложу ему о тебе. Полагаю, что у «смершевцев» и так хватает работы. Жаль твоей молодости, – уверен, пойти на службу к немцам тебя заставили не иначе как роковые обстоятельства...» – с такими мыслями Сиверс распрощался со всеми, не надеясь когда-нибудь встретиться с Лисовецким.

На обратном пути Куракин был занят разговором с Сазоновым, а Ян Бенедиктович молча размышлял о своем поступке, чувствуя вину перед полковником. Час тому назад он мог бы стать героем, был бы отмечен по службе и мог бы надеяться на помилование. Но какой ценой – убийством совсем еще молодого и чем-то симпатичного ему человека! «Он – враг государства и системы, которым я не присягал; но ведь и государство не всегда гуманно поступает и возлагает на себя тяжкое бремя – распоряжаться жизнью человека», – рассуждал он, оправдывая свой проступок перед полковником. И еще, как глубоко верующий, он был убежден в неотвратимости «Аз воздам».

Глава XXIX
БЕГСТВО, ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ И РАСПЛАТА

Когда высокое начальство покинуло блиндаж, сержант Княжич глубоко вздохнул. Сиверса он узнал сразу и понял, что бывший советник из Смоленска состоит на службе в контрразведке. Кольнуло под ложечкой от волнения. Мелькнула мысль – почему он здесь?! И, подавив волнение и страх, он вновь приобрел спокойствие и приготовился к худшему. Только один раз они встретились глазами, и Анджей понял – старый смоленский знакомец сейчас не выдаст его. «Он мог быть моим отцом, – мелькнула у него мысль, – и, возможно, сидящий напротив тоже подумал: «Этот молодой человек мог быть моим сыном!» Он уберег меня в эту минуту, а что будет через час, ночью и завтра?» Анджей не доверял таким порывам чужой души и не был уверен, что Сиверс по дороге в беседе с особистами не выдаст его.

Ведь согласился же бывший советник работать на них не за красивые глаза, а за какой-то интерес, и неизвестно, на каких условиях. Все это было ему знакомо, и он сам не раз пользовался этими приемами, занимаясь выявлением партизанского подполья. И с откровенной циничностью и долей презрения к себе он подумал: «Судьба возмещает: тогда я был охотником, а сейчас идет охота на меня».

Сиверс дал ему шанс спасения, и он должен им воспользоваться! Главное сейчас – не допустить ошибки, продумать и просчитать все до мелочей и бежать этой же ночью.

После ужина к ним в отсек, как всегда, пришел старшина Шейхаметов. На него, кроме общего руководства по прокладке тропы и недопущению демаскировки намеченной вылазки, возлагались и другие обязанности: следить за внутренним климатом группы, не допускать ссор, вразумлять горячих и неуживчивых, но таких не было.

В этот вечер он собрался написать письмо брату, воевавшему в Прибалтике, поэтому взял лучший керосиновый фонарь и уселся у себя в отсеке, занавесив проем двери плащ-палаткой. Для него писанина была трудным занятием – грамоты было маловато, – и он составлял письмо вслух и не желал, чтобы окружающие знали о его слабости.

Проходя мимо отсека, Анджей слышал, как старшина

вполголоса наказывал своему брату беречь себя, не забывать родителей и своих сестер, которые остались в Крыму, в малолюдном местечке Ак-Мечеть. Он и предположить тогда не мог, что 9 мая 1944 года наконец-то с боями будет взят Севастополь, а через несколько дней по закрытому Указу Верховного Совета коренное население Крыма, крымские татары, – а их было несколько сот тысяч, – подвергнутся выселению в среднеазиатские республики. Правда, они поехали под конвоем в теплую погоду, а вот северокавказским народам и калмыкам повезло меньше – их везли в феврале, когда охрана в полушубках и тулупах тряслась от холода на тормозных площадках, а охраняемые насмерть замерзали в насквозь продуваемых товарных вагонах...

В роду Шейхаметовых две сестры были замужем за русскими. Начальник из НКВД, распоряжавшийся выселением в их поселке, сказал: «Если ваши мужья любят вас, то приедут к вам – на них высылка не распространяется. Они могут сделать это только добровольно!» Так и случилось, – оба они, отвоевав, поехали к своим женам и детям в добровольную ссылку. Старшину Шейхаметова тоже должны были отстранить от службы и отправить туда же, по этапу... Но старшина был любимцем генерала Бойко, к тому ж герой фронта, с тремя орденами Славы. Его чудом отстояли и только через год, из-под Кенигсберга он демобилизовался и поехал к своим родным.

Все это случится потом, а сейчас он, довольный тем, что сумел справиться с писаниной брату, дал о себе знать и наказал ему помнить о родителях, ушел отдыхать в свой отсек.

Анджей терпеливо дождался того времени, когда все его «однокашники» крепко заснули. Тогда он встал, прислушался: в блиндаже была тишина. Молоденький солдат-связист с телефонной трубкой в руках дремал, опустив голову на грудь. Оставалось миновать наружный парный пост. Все обитатели блиндажа ходили в нужник, сколоченный из березовых жердей. Идти к нему надо было по тропе, мимо наружного поста. Когда глаза привыкли к темноте, Анджей увидел светлячок цигарки и обоих солдат, стоявших на тропе, ведущей к белеющему домику. Он вычислил все заранее: через несколько минут их сменит другая пара, значит надо идти сейчас, и, показавшись им, ждать, когда этих сменят, тогда взять чуть правее и выйти на тропу, ведущую за передовую.

Чуть хлопнув дверью, чтобы не испугать постовых неожиданным появлением, в наброшенной на плечи шинели, он прошел мимо них, не задерживаясь. Через несколько минут, без всяких задержек, старая смена постовых ушла на отдых, а новая

пара, тихо разговаривая, удалилась от его убежища. Теперь путь был свободен.

Планом обеспечения операции «Аза» был предусмотрен ночной секретный пост вблизи разминированной тропы на случай выхода немецкой войсковой разведки в наш тыл. Анджей случайно услышал об этом от саперов, с которыми его группа обкатывала тропу прохода, но не знал, в каком месте пост стоит. Твердя молитву, полный решимости, он вышел на тропу, внимательно сверяя свой путь по приметам. Сейчас он сожалел, что помнит только те, которые служили ориентиром поворотов. Его глаза привыкли к темноте, но иногда Анджей терял направление тропы, тогда осторожно отступал назад и снова двигался на коленях. Первые сотни метров почти прополз. Этот участок саперы называли урожайным – он был густо напичкан минами. От напряжения Анджей взмок; сняв шинель, сделал из нее скатку, повесил через плечо и, опять на четвереньках, продолжил путь.

Первый раз он допустил ошибку, когда отклонился от тропы в сторону на несколько метров и, осторожно обшаривая старую траву, коснулся мины. Ее поставили в первый снег, и теперь она, когда снег растаял, легла в старую траву. Анджей только коснулся ее холодной эбонитовой поверхности и успел отдернуть руку – страх пронзил его, как стрела, пот залил глаза, руки затряслись и неуемная дрожь заколотила все тело. Так близко подойти к своему роковому концу и ощутить смерть своими руками! Он знал, что взрыв мины не всегда убивает солдата, но, представив себе, как, истекая кровью, с невыносимой болью в искалеченном теле будет медленно умирать, он заставил подавить в себе панический страх, который длился несколько минут и, напрягая зрение, стал ощупывать руками землю и опять находил новые мины. Ему казалось, что попал в заколдованный круг и выхода нет – кругом залегли безмолвные враги, они ждут, когда Анджей неосторожно наступит, надавит на коробочку и – тогда пропало все!

Казалось, что прошла целая вечность. Время шло, а он никак не мог выползти на тропу. Тогда Анджей заставил себя остановиться и несколько минут вспоминал, как и когда свернул с тропы. Потом снова и снова ползал по кругу, не находя пути к спасительной тропе.

Время шло, и все чаще приходили мысли: а вдруг кто-нибудь обнаружит его отсутствие, сразу организуют поиск и в первую очередь пойдут искать по тропе к линии фронта. Вот тут-то, пока он тычется во все стороны, как слепой щенок, они его и застукают. Он представил себе переполох в блиндаже и тех, кто

будет искать его. Но среди тех, кто остался там, на той стороне, не было таких умелых и отчаянных, чтобы идти в ночь по тропе, где каждый шаг в сторону подобен самоубийству. Все они будут ждать рассвета. Значит, у него еще есть время выбраться из ловушки, в которую сам же и угодил.

Вдруг он вспомнил старшину Шейхаметова. Да, этот может пойти в ночь по опасной тропе. Только он, с его звериной осторожностью и невесомостью легкого тела, мог быстро и бесшумно догнать беглеца. Анджей представил себе, как его схватят здесь, сидящего в окружении минного поля, и заставят идти с поднятыми руками, а потом испить чашу издевательств, ночных допросов, а потом – пулю в затылок! Все в нем заговорило против такого ужасного конца, и он в сотый раз ощупывал заколдованный круг. Наконец нашел выход на тропу и теперь стал осторожно продвигаться вперед. Еще несколько сот метров пути Анджей преодолел ползком, но вдруг услышал посторонний звук, который то затихал, то усиливался ритмично человеческому дыханию. Когда он подполз ближе, понял, что это был храп спящего человека. Под корневищем вывороченной столетней ели, лежавшей неподалеку от тропы, удобно устроившись, почивал первый секретный пост. Их никто не проверял, а они не верили в то, что ночью здесь, на минном поле, могут пройти немцы, и поэтому устроили удобную лежку; заваливались с вечера спать.

Теперь уже от поваленной ели рукой было подать до караульной тропы солдат вермахта, охранявших подходы к своим блиндажам, дзотам, упрятанным вдоль просеки леса.

Шейхаметов проснулся с чувством тревоги еще тогда, когда беглец плутал по тропе, натыкаясь на мины. Он взял фонарь и зашел к спящим разведчикам – среди них не было только Княжича. Он быстро обошел все отсеки, потом окрестности блиндажа, и его зоркий глаз смог обнаружить след сапога и примятую траву у начала тропы, ведущей к переднему краю. Старшина не мог понять одного, как мог такой человек, как Княжич, рискнуть выйти ночью на тропу и что могло заставить его пойти на смертельный риск?!

Он не объявил общей тревоги, не стал звонить Сазонову и, захватив с собой маузер, исчез в предрассветной темноте. Старшина лучше всех знал тропу перехода и мог с закрытыми глазами пройти по ней, не отклоняясь ни на один шаг. Гибкий и легкий на ногу, он скользил бесплотной тенью по тропе и был уверен, что нагонит беглеца, но его старания были напрасны. Их разделяло не больше ста метров, как вдруг впереди сиплый, лающий голос немецкого патрульного, как выстрел, прозвучал в лесной тишине: «Хальт! Хэндэ хох!» Старшина сначала замер, а

затем быстро пополз на голоса; мощный луч впереди него высветил стоявшего Княжича, без пилотки, со скаткой на плече. Из темноты вынырнул долговязый «фриц», уперся своим автоматом в живот Княжича и одной рукой обыскивал его. Потом свет пропал, и патрульные, разговаривая с Княжичем на немецком языке, скрылись в темноте.

Ибрагим не успел изготовиться к стрельбе, когда вспыхнул немецкий фонарь и осветил на короткий миг Княжича, старшина не был уверен, что его первый выстрел достигнет цели, а в противном случае – патрульные открыли бы огонь и тогда неизвестно, уцелел бы он от огня двух автоматов.

Вот при таких обстоятельствах неожиданно открылось предательство с отягчающими обстоятельствами, и, как снежный обвал, оно должно было породить лавину грозных последствий.

Ограниченный круг начальства фронтового управления «Смерш» знал, что эта незначительная по сложности и масштабам операция была прологом к созданию новой функции их ведомства – тактической разведки, и задумана их шефом – генералом Абакумовым.

Было раннее утро, и Сазонов с Куракиным по горячим следам вели дознание.

* * *

Первичный опрос всех, кто был в блиндаже: часовых, патрульных – ничего вразумительного не дал. Каких-либо зацепок, свидетельствующих о подготовке к бегству Княжича, не нашлось. Понимая важность случившегося, Куракин по закрытой связи доложил своему руководству о происшествии. Начальник фронтового управления «Смерш» предупредил Куракина: версию предательства Княжича не выпячивать на первый план и считать, что он ночью заблудился, случайно вышел на передовую и был захвачен немецким дозором. А для того чтобы гнев высокого начальства был смягчен, результаты расследования было решено направить как можно позже, когда острота восприятия случившегося уже пройдет.

Все понимали, что если генерал Абакумов узнает об истинной причине провала операции, то особистам не миновать разгромного приказа по их ведомству. Самое неприятное для руководства «Смерша» фронта – попасть в немилость к всемогущему шефу контрразведки. Тогда прощайте награждения, командировки в тыл для отдыха, распределение трофейного имущества и другие блага! Сазонову как представителю среднего

звена служебной лестницы не перепадало и части этих щедрот, но отвечать как исполнитель за персональный подбор разведгруппы, ее проверку и переброску в тыл противника он был обязан. И теперь все обернулось против него! Он был подавлен случившимся и еще раз убедился, что приходивший к нему во сне солдат-мародер с награбленными деньгами был для него предвестником беды.

Теперь все зависело от того, как и куда направит расследование Куракин. Для Сазонова оно могло закончиться отстранением от должности и разжалованием в младшие офицеры. Начались тревожные дни расследования. Полковник хотел установить: почему Княжич перебежал к немцам именно в ту ночь, после их приезда с Сазоновым и встречи с Лукиным. А тот, в свою очередь, очень смущаясь, поведал Куракину о своих сомнениях по поводу сходства Княжича с Лисовецким. Полковник не хотел бросать тень на своего подопечного, вывел его из-под удара и сосредоточился на материалах спецпроверки Княжича, имея при этом свое мнение. Постепенно, шаг за шагом, он все отчетливее уяснял для себя вину Бондарева: его подделки от имени осведомителей и письменный подлог, когда тот занимался опознанием Княжича по прежнему месту службы. Куракин запросил в помощь следователя, и начались допросы. Бондарев сначала юлил, не желая признавать своей вины, потом хотел все переложить на Сазонова, выгораживая себя малоопытностью в особистской работе, но опытный следователь постепенно подвел его к осознанию своей вины и убедил, что чистосердечное признание будет учтено и зачтется в его пользу.

Вскоре дело было закончено и направлено в трибунал с обвинением бывшего заместителя начальника Особого отдела в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Прокурор дивизии дал санкцию на арест, а партбюро отдела исключило его из партии. Когда пришли к начподиву Кузакову получать разрешение на исключение из партии коммуниста Бондарева, он долго вертел в руках его учетную карточку и, вспомнив тайный сговор с Бондаревым, ожидание того, что их усилия действительно помогут ему, начальнику политотдела, стать первым лицом у командира дивизии, отодвинув при этом влиятельного начальника штаба полковника Лепина, и то, как он унижался перед Ковалевым, когда ему была устроена очная ставка с Бондаревым, вслух он удостоил своего бывшего единомышленника одной фразой: «Так и надо этому авантюристу!»

В отделе Сазонова только и судачили о провинности Бондарева, и никто, кроме пожилого ординарца, не пожалел его!

Он, единственный, тайно молился, чтобы все окончилось благополучно для раба божьего Алексея! Сам же Бондарев, весь поникший от свалившегося на него несчастья и опухший от слез, безвылазно сидел в блиндаже.

Как ни откладывал Куракин свой доклад руководству о провале разведоперации, он вынужден был составить справку и указать истинные причины постигшей неудачи и целый абзац посвятил майору Бондареву, где лаконично, по-военному было изложено, что тот, встав на путь обмана, занимался фальсификацией оперативных сведений, грубо нарушая тем самым воинскую присягу и действующие приказы «Смерша». Вина его полностью установлена, и дело передано в трибунал. Согласно строгим чекистским традициям, там же предлагалось вынести майору Сазонову строгий выговор за слабый контроль в работе с подчиненными и предупредить его о неполном служебном соответствии!

Как и положено, перед отправкой такого документа руководству полковник ознакомил с его содержанием Сазонова и, глядя на него своими умными глазами, утешительно пояснил, что месяца через два-три все утихнет, забудется, выговор снимут. А пока нужно трудиться без ропота и обид! Дмитрий Васильевич согласился с его словами, понимая, что другой на месте Куракина, чтобы показать взыскательность перед начальством, мог бы и его вместе с Бондаревым загнать под трибунал! Но полковник поступил по справедливости – каждому досталось по заслугам.

* * *

Приближалось полное освобождение оккупированной территории западных областей, – в туманной дымке за Карпатами маячили упорные бои; со дня на день ожидалось открытие второго фронта нашими союзниками в Европе.

Ставка торопила с освобождением оккупированной территории, чтобы успеть с посевными работами, предписывала поскорее принять к оуновскому подполью карательные меры. В связи с выходом на земли других государств уже были подготовлены указания по выявлению немецкой агентуры, оставленной для совершения диверсий, фильтрации всех сограждан, оказавшихся на территории соседних государств, аресту активных коллаборационистов из числа иностранцев и оказанию помощи просоветски настроенным элементам. Предстояло много работы – и карающий чекистский меч должен

был быть острым и разящим!

Все эти события отвлекли генерала Абакумова от вмешательства в историю с Княжичем: опасения, что за провал операции будет большое кровопускание, не подтвердились, и все кончилось малой кровью. Бондареву это обошлось отправкой в штрафной батальон сроком на один месяц. Последний раз Сазонов видел его перед отправкой в трибунал, когда, в сопровождении вооруженного солдата, тот вышел из блиндажа и сел в повозку. Измятое от переживаний лицо и небрежно наброшенная на плечи шинель с оторванным хлястиком вызвали у Дмитрий Васильевича жалость. Он подошел, пожал ему руку, сказал несколько ободряющих слов, но тот только безучастно смотрел себе под ноги и, тяжело вздыхая, даже не удостоил его ответом.

Случилось так, что с приездом в штаб 3-го Белорусского фронта представителя Ставки командование решило провести разведку боем с использованием штрафников. Еще только забрезжил рассвет, а уже началась артподготовка. Канонада наших орудий всех калибров оглушила сидевших в траншее штрафников. Через их головы в мглистую тьму летели снаряды. Потом внезапно позади них, в лесочке, с воем полыхнули реактивные минометы. Все сидели, уткнувшись в колени, подавленные предстоящей схваткой с противником. Под конец артподготовки начался минометный обстрел лежащего перед ними большого поля с перелеском, за которым их ждала жуткая неизвестность. Когда мины стали черно-красными взрывами покрывать во всю ширину поле, по которому им предстояло под огнем пройти до первой траншеи немцев, сосед Бондарева – бывалый фронтовик, попавший сюда за избиение патрульного наряда, прислушался к взрывам мин и крикнул в ухо Бондареву: «Слышь, Алексей, как взрывы двоят!» Но тот так и не понял смысла его крика и остался сидеть на корточках, судорожно сжимая в руках винтовку.

Командование знало, что поле заминировано. За два дня до этого делалась попытка снять мины и сделать проходы, но потом отказались от этого, объяснив отказ демаскирующим фактором предстоящей операции. И с согласия представителя Ставки было решено подвергнуть поле минометному обстрелу, тем самым, как авторитетно утверждала своими расчетами саперно-инженерная служба, это препятствие будет ликвидировано в ходе боя за несколько минут.

Ответственные за эту операцию командиры на всякий случай подтянули заградительный отряд войск НКВД и поставили его впритык, позади штрафных частей. Отряд занял позицию;

выставил на треноги крупнокалиберные «ДШК», замаскировал их вместе со станковыми пулеметами и стал ждать команды открыть огонь по отступающим. Все знали, что здесь в атаку пойдут штрафники, а в них – люди, провинившиеся перед законом, командованием и страной! Все они осуждены трибуналом и должны смыть свою вину кровью! Поэтому какие еще для них могли создаваться условия для наступления – им и так дали возможность воевать с оружием в руках и оказали честь первыми пролить кровь за Родину и за товарища Сталина! И никто не пожалел их, хотя это были вчерашние друзья – фронтовые побратимы! Бездушный политический аппарат воспитывал всех в убеждении, что все осужденные – преступники, и отношение к ним было соответствующее – как к врагам народам.

Минометный обстрел поля продолжался. При близком попадании противопехотные мины детонировали, взрывались, и только старые вояки могли расслышать двойной звук взрыва. Но Бондарев не понял, о чем кричит ему сосед, и находился в состоянии, близком к обмороку. Командиры понимали состояние новичков и знали, что вывести их из оцепенения можно только пинком или ударом шомпола пониже спины. Алексей Михайлович не расслышал заливистый свисток ротного офицера и был поднят с колен пинком в зад. Но, поднявшись, он еще медлил выбираться на бруствер; получив жгучий удар шомполом по ягодицам, выскочил за своим соседом из траншеи и, не видя перед собой от страха ничего, держа винтовку впереди себя, шел в цепи наступающих прямо через березовый перелесок.

Трудно было скрыть от противника подготовку операции. Немцы ожидали и были готовы отразить атаку. Один из сюрпризов – минометный обстрел наступающих цепей в перелеске. Мины рвались наверху, едва задевая верхушки деревьев, поражая все живое на десятки метров вокруг!

Бондарева неожиданно ударило чем-то горячим повыше локтя в левую руку, которой он держал цевье винтовки. И та вдруг стала выпадать из правой руки. Тогда он хотел вновь подхватить винтовку левой, но с ужасом увидел вместо нее кровавый обрубок и упал на землю, лишившись чувств. Очнулся Бондарев в медсанбате от нестерпимой боли. Кто-то крепко перетянул ему жгутом предплечье все той же левой руки, жалкий остаток которой еще кровоточил, и из плоти была видна срезанная кость. От пронизывающей боли и увиденного он снова впал в забытье и пришел в себя позже, когда женщина-хирург сказала над ним кому-то: «Приготовить сыворотку и кровь», – а сама начала колдовать над остатком его руки. Так для Бондарева окончилась война и служба в армии.

Он долго лечился в тыловом госпитале под Москвой. За это время с него сняли судимость, вернули звание майора и наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. Потом пришел приказ – направлять старших офицеров на дополнительный отдых в санаторий, куда к нему дважды приезжала жена. И в мае сорок пятого Алексей Михайлович был комиссован.

С офицерским чемоданчиком в правой руке и зашпиленным пустым левым рукавом кителя, с орденом и золотистой колодкой тяжелого ранения Бондарев прибыл в родной город. Май того года для возвращающихся с фронта был благодатным: где бы они ни появлялись, их встречали, обнимали, целовали, как самых близких, приглашали за стол, угощали! У Алексея Михайловича даже появилась уверенность в том, будто он никогда и не был под трибуналом, а участие в бою в качестве штрафника было не с ним, а с кем-то другим!

Прошли годы. В родном городе на все торжественные официальные праздники его усаживали в президиум. Увечье выгодно отличало Бондарева от других участников войны, и он уже совсем не жалел, что потерял руку. А уцелевшей правой рукой по-прежнему, как и до войны, перебирал бумаги, писал справки, резолюции, и сотрудники его отдела по сохранности государственных секретов гордились им.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С того момента, как для Бондарева война закончилась, для многих других она длилась еще целый год.

Впереди еще была Белорусская операция, вошедшая в историю под кодовым названием «Багратион». Дивизия, в которой служили действующие лица этой повести, отличилась в боях и получила почетное звание «Оршанской». Начальник ее штаба, полковник Лепин, еще перед наступлением направил в соответствующую инстанцию рапорт, содержавший практические предложения по тактике преодоления обороны противника и особенно в полосе ее главного обеспечения, где группа «Центр» пыталась нанести нашим войскам тяжелый урон и остановить наступление.

Как бывший участник неудавшейся Восточно-Прусской операции 1914 года Лепин указывал на незыблемое прусское наследие тактических приемов обороны, а также их саперно-инженерные традиции. В ходе операции «Багратион» он был назначен начальником штаба армии. Когда взяли Кенигсберг, ему было присвоено звание генерала. Затем переезд на Дальний Восток, где предстояли бои с Квантунской армией. После капитуляции Японии генерал Лепин служил в Ставке вооруженных сил Дальнего Востока; потом долго работал в Институте военной истории.

А вот майор Сазонов был под Кенигсбергом демобилизован по указу о возвращении в народное хозяйство профессорско-преподавательского состава. Вернувшись к себе на родину, в маленький городок Калининской области, он стал работать директором средней школы.

Беглеца Лисовецкого, постепенно приходившего в себя у немцев в глубоком блиндаже, могли еще долго и с пристрастием проверять, не доверяя как перебежчику. Но названный им пароль, принадлежавший майору Глюкнаузу, был через полчаса подтвержден ближайшим штабом. А через три часа пути на мотоцикле по проселочным дорогам он лично встретил майора, как всегда франтоватого, по-прежнему сохранившего лоск штабного офицера. Затем была поездка с невестой в Гродно – там уже все опустело: умерли старый судья Иосиф Загурский и тетя Розалина. Причем абвер успел послать его со спецзаданием еще и в Югославию как «специалиста» по борьбе с партизанами, но к этому времени уже начались бои на границе рейха, а вскоре последовали разгром и полная капитуляция фашистской Германии. Из американского лагеря военнопленных его вытащил

какой-то представитель из правительства Миколайчика. И только в 1947 году польская община из Чикаго помогла ему перебраться в Америку. Он освоился там, выучил язык, окончил на деньги общины курсы и редактирует польский журнал, вспоминая о своем прошлом, как о скверном сне.

28 октября 2000 г.
Москва – Клязьма

notes

Примечания

1

ГлавПУ – Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

2

«Смерш» – название советской военной контрразведки в 1943—1945 годах (сокращение от «Смерть шпионам»).

3

Ст. 95 УК РСФСР (старого Кодекса) об ответственности за дачу ложных показаний или отказ от показаний.

СВГК – Ставка Верховного главнокомандования.

5

Абвер – военная разведка германских вооруженных сил.

6

Меки – меньшевики. Так называлась часть социал-демократической партии после ее раскола под руководством Плеханова, Мартова, Засулич.

ПНШ – помощник начальника штаба полка по учету личного состава.

8

РПД – ручной пулемет Дегтярева.

9

«Звездочка» – орден Красной Звезды.

10

ПФЛ – полевой фильтрационный лагерь, где проходили проверку в основном бывшие военнопленные Красной Армии.

11

ВНОС – подразделения воздушного наблюдения, оповещения и связи в составе войск ПВО.

12

СПО – секретно-политический отдел до 1946 г.; потом в составе МГБ СССР именовался 5-м управлением до 1954 г., когда был организован КГБ; при СМ СССР существовал как 4-е управление до 1961 г., но был ликвидирован и восстановлен как 5-е управление КГБ лишь в 1967 году, при Ю.В. Андропове.

13

Цырик – воин, солдат (*монг.*).

«ЗБЗ» – медаль «За боевые заслуги» (*фронт.*).

15

ГКО – Государственный Комитет Обороны, созданный в июле 1941 года.

16

ПФС – продфуражная служба в Красной Армии.

17

Командирский дополнительный паек, учрежденный ГКО в октябре 1941 года как месячная надбавка к солдатской норме питания, в который входило: до 1 кг сливочного масла, печенья, сахара, папиросы, 2—3 банки мясных консервов.

18

Гауптвахта – помещение при воинской части, где содержатся нарушители воинской дисциплины.

19

ГУКР «Смерш» – Главное управление контрразведки «Смерш» НКВД СССР до апреля 1943 года, после в составе Наркомата обороны до 1946 г. и в МГБ СССР 3-е Главное управление; с 1954 г. в КГБ СССР 3-е управление.

20

Аусвайс – пропуск в оккупированной зоне (нем.).

21

«Абверштелле» – периферийный отдел военной разведки вооруженных сил фашистской Германии.

22

«Судоплатовское хозяйство» – в период Великой Отечественной войны 4-е управление НКВД СССР было ведущим органом по диверсионно-террористической деятельности против фашистской Германии. Его начальник – генерал-лейтенант Судоплатов П.А. (1904—1996).

23

«Пся крев» – польское ругательство: «собачья кровь».

24

«От можа до можа» – в переводе с польского «от моря до моря».

25

Булак-Булахович – один из руководителей Белого движения в приграничье Северо-Западного края.

26

«Зондеркоманда Р» – антипартизанское подразделение, созданное при абвере в 1942 году.

27

Начподив – начальник политотдела дивизии.

Так назывался руководящий центр ОУН.

29

«ВЧ» – высокочастотная правительственная связь, исключавшая подслушивание противником.

30

Постановлением Наркома Обороны (им был И.В. Сталин с 19.07.41 по 1947 г.) органы военной контрразведки из НКО были переведены в состав НКВД. 14.04.1943 г. состоялся обратный переход Главного управления военной контрразведки «Смерш» в НКО. (Энциклопедия ВОВ. – М., 1985, с. 662.)

31

Мехлис Лев Захарович (1899—1953) – в 1937—1940 гг. начальник ГлавПУРККА. В 1942 г., являясь представителем Ставки ВГК на Крымском фронте, не обеспечил организацию обороны, был освобожден от занимаемых должностей. В 1942—1945 гг. – Член Военного Совета на шести фронтах. В 1940—50 гг. – нарком (мин.) Госконтроля СССР. – Энциклопедия ВОВ 1941—1945 гг. – М., 1985, с. 445.

32

Особое Совещание при НКВД СССР – внесудебный орган с упрощенным судопроизводством. Было отменено только 1 сентября 1953 года.

33

«Тройки» в составе прокурора области (края), начальника УНКВД, секретаря обкома партии или председателя Облисполкома существовали в 1936—1938 годах.

34

Под «чужим» флагом – прием, применяемый спецслужбами, когда вербовщику невыгодно указывать свою страну.

35

Смоленский партархив – при отступлении наших войск он был захвачен немцами в августе 1941 года и отправлен в Германию. Архив оказался в зоне оккупации американских войск и был вывезен в США в мае 1945 года. На его основе Р. Конквист написал книгу «Большой террор» в начале 70-х годов.

Шкирятов Ф.М. – председатель Комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) с 1934 по 1956 год.

37

Генерал Лукин М.Ф. (1892—1970) – командующий 16-й, 19-й, 20-й армиями, вел оборону Смоленска. Был ранен, попал в плен. Отказался от предложения генерала Власова о создании РОА (Русской освободительной армии). Освобожден в мае 1945 года американцами.

38

Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств. Создано 6.06.1922 г. при Наркомате просвещения; осуществляло политико-идеологический, военный, экономический контроль и цензорские функции в литературе и искусстве. Отменено по закону РФ в 1993 году.

39

ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли как форма кооперации крестьян до колхозного строительства.

40

МТС – машинно-тракторные станции. Возникли вместе с колхозами как государственные предприятия для обработки колхозных и совхозных земель.

41

Загоны – личные наделы земли, существовавшие до коллективизации.

42

Гай – легендарный герой гражданской войны. Его дивизия в 1918 году участвовала в боях против белых и освободила города Симбирск и Самару. Арестован в 1937 году, бежал из столыпинского вагона при этапировании, приговорен Военной Коллегией Верховного суда к расстрелу. В 1993 году «железная дивизия» еще находилась в составе Московского военного округа. (Личный архив автора.)

43

Соколовский В.Д. (1897—1968) командовал Западным фронтом (февр. 1943 – апр. 1944) в звании генерала армии. Взаимная неприязнь с Членом Военного Совета Мехлисом послужила их переводу на другие фронты по приказу Верховного Главнокомандующего. В 1946 году В.Д. Соколовский был назначен Главнокомандующим советскими войсками в Германии; маршал Советского Союза.

44

Ольга Чехова – жена великого русского актера Михаила Чехова; эмигрировала из советской России в 1925 году.

45

За выселение народов Северного Кавказа и калмыков орденом Суворова 1-й степени был награжден Л.П. Берия, 2-й степени – генералы Серов и Кобулов.

ПК – негласный контроль за перепиской органами ГБ подозреваемых во враждебной деятельности (*примеч. авт.*).

Завируха – метель (*белорус.*).

48

НТС – Народно-трудовой Союз. Политическая партия антисоветского уклона, созданная белоэмигрантами в 20-х годах, известная своими печатными органами в послевоенный период: «Посев», «Грани» и др.

49

Наседкин – старший майор госбезопасности; личность не вымышленная. Будучи наркомом внудел Белоруссии, в 1939 году был осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР за злоупотребление служебным положением и приговорен к расстрелу. Его сменил ставленник Л.П. Берия – Цанава Лаврентий (*примеч. автора*).

50

Главное управление по строительству шоссейных автодорог, находилось в системе НКВД, затем МВД СССР до 1954 года.